ктор Шкловский

*

Матерьял и стиль

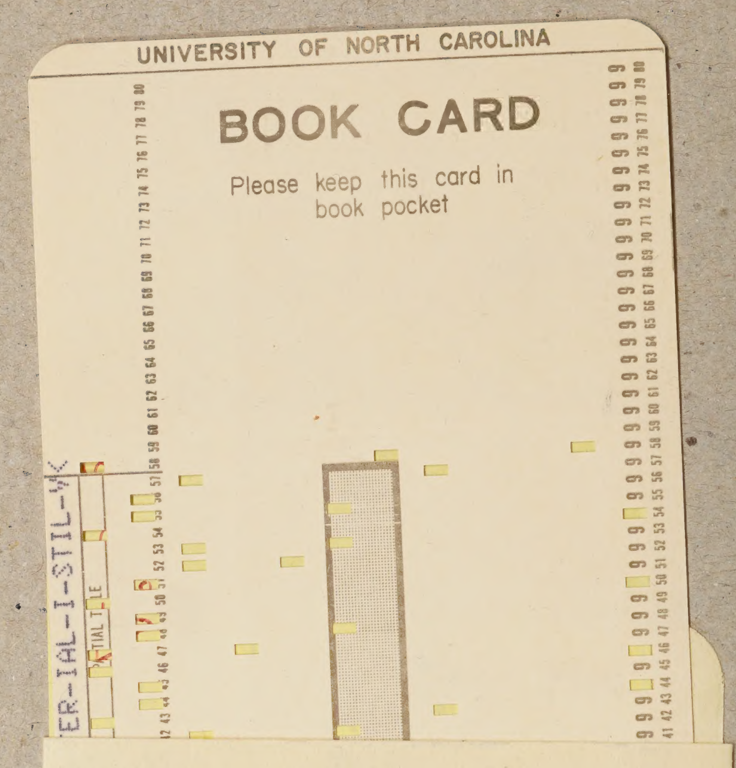
в романе

Льва Толстого

„Война и мир"

*

„Федерация"



UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
BOOK CARD
Please keep this card in book pocket



PG3365
.V65
S5


ИЗДАТЕЛЬСТВО ФЕДЕРАЦИИ
Ф

ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ

МАТЕРЬЯЛ И СТИЛЬ

В РОМАНЕ ЛЬВА ТОЛСТОГО

„ВОЙНА И МИР“

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ФЕДЕРАЦИЯ»
МОСКВА

Центральная полиграф. школа
ФЗУ им. тов. Борщевского,
2 Рыбинская, 3. Зак. № 3364
Главлит № А—18134
Тираж 3000 экз.



Юрию Тынянову

Приношу благодарность товарищам, помогшим мне в моей работе:

В. В. Тренину, с которым вместе мы прошли все этапы написания книги, Л. Я. Гинзбург, сделавшей для меня сверку Толстовского текста с Тьером, М. Никитину, просмотревшему Михайловского-Данилевского.

Юрия Тынянова, Осипа Брика, Бориса Эйхченбаума благодарю за ряд указаний.

Роману Якобсону привет.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В начале своей книги я должен сделать несколько оговорок. Эта книга — не юбилейная. Юбилей же обычно состоит в безотчетном прославлении и принятии писателя, изолированного от своей эпохи, как определенного эстетического целого. Это неправильно.

Толстой 60-х годов ближе связан с Боткиным 60-х годов, чем с Толстым 1910-го года.

Толстой создан своим временем, и он удачник из своей семьи.

Тентетников, по мнению Чичикова, в своей деревне мог бы писать историю отечественных генералов. Это было, очевидно, типовым или типообразным занятием ученого дворянина в деревне.

Гениальный Толстой эту книгу написал. Связь Льва Николаевича с его временем, с бесчисленными книгами, изданными, по словам Толстого, «иждивением правительства», увлекла меня, и я посвятил большую часть своей работы выяснению вопроса связи Толстого с его классом. Это увлечение об‘ясняется влиянием на меня нового, непривычного для меня материала. Менее отчетливо удалось провести мне в моей работе вопросы жанра.

Факт должен быть принят жанром. Здесь нет никакого идеализма, мы знаем, например, что в Англии работают старые машины; к качеству товара, производимого на них, привык потребитель, и хотя можно поставить новые машины, более продуктивные, но машины (жанр) не меняются. Попадая в литературу, факт глубоко деформируется в самой своей тематике, попадая в систему и окрашиваясь эмоциональным тоном ряда. Возьмем пример: Лев Николаевич Толстой свою еще неопубликованную целиком биографию начинает рассуждением о том, что ее можно написать раз-

личными способами, например, в стиле исповеди Руссо, и тогда это будет соблазнительная книга, и тут же упоминает о том, что первый раз он описал свое детство в стиле Стерна и Тепфера.

Еще неопубликованная Толстовская биография литературно очень высококачественна, но, конечно, большое умение автора в ней не освобождает его от изменения материала. Отрывок написан Львом Николаевичем с выделением деталей. Берется какая-нибудь деталь и проводится через большой отрывок, который ею как бы инструментируется. Целый отрывок жизни мальчика то уравнивается запаху орехов, то на первый план выводятся восхитительные мыльные пузыри на руках моющейся бабушки. Таким образом, и это последнее слово у Льва Николаевича о своем детстве является всего только последним словом его литературного умения.

Приведу еще пример. Мы все знаем знаменитый рассказ Толстого о «муравейных братьях и о зеленой палочке», где детская игра через ассоциации с масонством, отмеченная самим Толстым, доводится до какого-то благородного заговора в пользу мира.

У Бирюкова рассказ о «муравейных братьях» приводится дважды, при чем, вероятно, это об‘ясняется тем, что цитата не совсем выходила.

Приведу вторую цитату и обращаю внимание особенно на ее конец:

«Выражалось это чувство вот как: мы, в особенности я с Митенькой и девочками, садились под стулья, как можно теснее друг к другу. Стулья эти завешивали платками, загораживали подушками и говорили, что мы „муравейные братья“, и при этом испытывали особенную нежность друг к другу. Иногда эта нежность переходила в ласку, гладить друг друга, прижиматься друг к другу, но это было редко, и мы сами чувствовали, что это не то, и тотчас же останавливались». (П. И. Бирюков, Биография Л. Н. Толстого, т. I, стр. 94. Берлин. 1921.)

Это совершенно не так невинно, как можно подумать. И Толстой, со своей ранней сексуальностью, конечно, это понимал.

Разгадаем фразу: «Прижимались друг к другу».

...«В эту эпоху жизни совершенно постепенно, само собой, невольно появляется влечение к другому полу. Оно выражается в стремлении к прикосновению (напр., к об‘ятиям) без прямого участия половых органов уже до настоящей половой зрелости». Сборник «Сексуала педагогика». Берлинский Центральный Институт Воспитания. Москва. 1926 г., стр. 18.

Точно также и стегание молодым Толстым самого себя веревкой тоже может быть разгадано не как религиозное истязание, а как эротическое. И Лев Николаевич с громадной привычкой к анализу, конечно, знал эти две разгадки душевного состояния, тем более, что прямые ответы он мог бы найти у Руссо, но он написал свою книгу в определенном жанре и выбрал жанр как систему определенной деформации материала, не пожелав написать другую, соблазнительную книгу. Поэтому не нужно думать, что простая установка известных истин, например, указание на то, что Толстой был помещик, что Толстой был «военный», могли бы об'яснить Толстовское творчество. Здесь сказался спрос литературной истории, которая позволила некоторым чертам Толстовского характера осуществиться в литературе.

Тот материал, который привожу я, несколько противоречит основным Толстовским легендам, но он предварительно должен быть проверен на новом материале, еще неопубликованном. Это — одно из предисловий к 96-томному изданию Толстого, материал которого, к сожалению, мне, не по моей вине, неизвестен, и поэтому я предлагаю всю свою книгу только как материал для обсуждения.

Я думаю, что дневники Толстого покажут нам всю разницу между писателем и человеком и сложность закона стилевого превращения материала.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Л. Н. ТОЛСТОЙ В ЭПОХУ НАПИСАНИЯ «ВОЙНЫ И МИРА»

Тот человек, о котором я буду писать сейчас,— это не просто Лев Николаевич Толстой, а это — Лев Николаевич Толстой 60-х годов. Тот самый Толстой, от которого другой, позднейший Лев Николаевич, отказывался. И люди, которые уважают Льва Николаевича Толстого и безусловно его принимают, должны сказать себе, какого именно Толстого они принимают. Безусловно, принятый Лев Николаевич Толстой — явление более позднее.

Так делали либералы начала XX века. Еще Михайловский принимал Толстого только постольку-поскольку, и традицию его в своей статье восстанавливал Плеханов:

«Прежде, скажем, в эпоху покойного Михайловского, Толстого любили передовые русские люди именно только «отсюда и досюда». И это было гораздо лучше». (Г. В. Плеханов, Статьи о Л. Толстом, ГИЗ, Москва. 1923 г., стр. 7).

Итак напомним о времени.

Шло, так называемое, освобождение крестьян. В более далеком прошлом было Крымское поражение и восстание Польши. Сознание неустойчивости положения было общее в дворянском обществе.

Шли шестидесятые годы — время реформ под угрозой революции, уже не предчувствуемой, а твердо знаемой. Бакунин ждал ее на завтра... это было не верно. Но вот 24 июля 1860 года А. В. Головнин из села Гульки (нужно только предупредить, что этот Головнин вскоре стал министром народного просвещения) пишет:

«Признаюсь, что будущее кажется мне крайне беспокойным... Что же делало правительство в то же самое время,

для этих же мест взамен всех податей? Ничего для церкви, которая существовала народными приношениями (свечной сбор), ничего для народного просвещения, ничего для дорог, так как они находятся в том же положении, в котором они находились во времена нашего предка Рюрика. А так как каждая несправедливость всегда наказывается, то я уверен, что наказание это не заставит себя ждать. Оно настанет, когда крестьянские дети, которые теперь еще только грудные младенцы, вырастут и поймут все то, о чем я только-что говорил. Это может случиться в царствование внука настоящего государя...» (Писано в начале царствования Александра II.)

Вопрос о крестьянстве, о его революционном настроении был очень злободневен. Именно поэтому Л. Толстой о нем не писал. Он вытеснил предчувствие бунта изображением его подавления. Дворянин Ростов легко разогнал крестьян. Н. Ростов здесь идеальный исправник. Этот административный способ ликвидации беспорядков был отмечен, как дворянская и чиновничья мечта, еще Гоголем.

«На это полицеймейстер заметил, что бунта нечего опасаться, что в отвращение его существует власть капитан-исправника, что капитан-исправник, хоть сам и не езди, а пошли только на место себя один картуз свой, то один этот картуз погонит крестьян до самого места их жительства».

Фет — мировой судья — с горем рассказывает о том, как он быстрыми распоряжениями об аресте прекратил забастовку на железной дороге и как потом оказалось, что поступил он по закону неправильно. Дадим ему слово:

...«в 8 часов вечера, в чудесный июньский день, вошел уже к орловскому прокурору, которого застал за семейным чайным столом. Когда я вкратце изложил ему свое дело, он с воодушевлением воскликнул: «Вы поступили прекрасно, энергично и разумно!» и прибавил как бы про себя: «Но незаконно».

...Бегу к губернатору.

Орловским губернатором на этот раз был мой давнишний знакомый и приятель Лонгинов.

— Как я рад! — воскликнул входящий Лонгинов. — Садитесь, будем чай пить.

Я об'яснил ему дело.

— Прекрасно! — воскликнул он. — Общественное сооружение и явное сопротивление властям. Я обязан дать вам в помощь военную команду; на это прямой закон, я вам сейчас его покажу, — продолжал он, направляясь к книжной полке и снимая толстый том.

Порывшись некоторое время, он сказал уже минорным тоном: «А ведь я должен вам сказать предосадную вещь: команда высылается только в случае сопротивления при сборе казенных податей. А в данном случае я оказываюсь бессильным».

Дело кончается вздохом.

«Я отпустил их, и на другой день все рабочие с Золотаревской трубы разбежались». (А. Фет, Мои воспоминания, ч. II, стр. 150—152.)

Вот эта самая жажда непосредственного действия и выразилась в поступке Николая Ростова. Поэтому он так болезненно ощущался современниками, и современники связали Николая Ростова еще тогда с исправником (см. «Искра» 1869 г.; текст и рисунки М. Знаменского (Василия Курочкина).

Организационно это вылилось впоследствии в институт земских начальников.

Обычно говорят о том, что Лев Николаевич Толстой, несмотря на то, что он был помещиком, и крупным помещиком, смог создать «Войну и Мир». Это неверно.

Лев Николаевич именно поэтому и смог создать «Войну и Мир», т.-е. эта вещь создана особенностями его психики, его способа хозяйствовать, его манеры жить. Лев Николаевич Толстой — самый помещичий писатель. Другое дело, как были прочтены его произведения через много лет. Здесь мы попытаемся рассказать, что представлял собой в это время Лев Николаевич Толстой.

Прежде всего — Лев Николаевич не профессиональный писатель. Ко времени появления «Войны и Мира» Толстой переживал период литературного упадка. Вообще, он проходил в русской литературе стороною, но к шестидесятым годам этот писатель, которого всегда, упоминая, оговаривали как явление забытое, или как явление, не отмеченное критикой, этот писатель был забыт на самом деле. Лев Николаевич ревновал к своей литературной славе. Об этом он сам пишет так:

...«Репутация моя пала или чуть скрипит, — и я внутренно сильно огорчился; но теперь я спокоен, — я знаю, что у меня есть, что сказать, и силы сказать сильно; а потом, что хочешь, говори, публика». (Бирюков, Биография, т. I, стр. 347.)

Его тетка в том же периоде отмечает неуверенность Льва Николаевича. И совпадение этих двух показаний чрезвычайно характерно:

... «В эту зиму он приносил нам иногда кое-что из своих неизданных сочинений. Так, например, «Семейное счастье», «Три смерти» были впервые читаны у нас. Читал он плохо, застенчиво, — и благодушно выслушивал всякое замечание. Скрывал ли он свое самолюбие или его еще тогда не было, — кто может сказать?..

Всего вероятнее, что в то время он смотрел еще на себя, как на дилетанта-писателя, сам не ожидая, что из него выйдет. Иначе, как мог бы он беспрестанно увлекаться совершенно посторонними предметами»... (Толстовский Музей, т. I, стр. 14.)

Итак, пункт 1-й — писатель-дилетант, не профессионал.

Профессионализм Льва Николаевича — явление более позднее, чем начало работы над «Войной и Миром». В эпоху «Анны Карениной» Лев Николаевич уже профессионал. С этим моментом совпадает изменение его общественной установки и «роман» с Михайловским. Но в той своей части, в которой Л. Н. и является писателем, Лев Николаевич не просто писатель, а военный писатель, как оценивают его все современники. О Толстом, как о военном писателе, пишут самые разнообразные люди: Дудышкин, Сычевский и т. д. и т. д.

Лев Николаевич хотел даже издавать военный журнал, при чем чрезвычайно преувеличивал количественную значимость военного сословия. Для него военные — половина читательской публики.

В письме к Н. А. Некрасову, написанном Толстым, когда судьба его журнала уже решилась и об этом узнал и сам Л. Н., говорится, что «основная мысль этого журнала заключалась в том, что ежели не бо́льшая часть, то верно бо́льшая половина читающей публики состоит из военных, а у них нет военной литературы, исключая официальной военной литературы, почему-то не пользующейся доверием публики и потому не могущей ни давать, ни выражать направления нашего военного общества. Мы хотели,— пишет он,— основать листок, по цене и по содержанию доступный всем сословиям военного общества, который бы, избегая

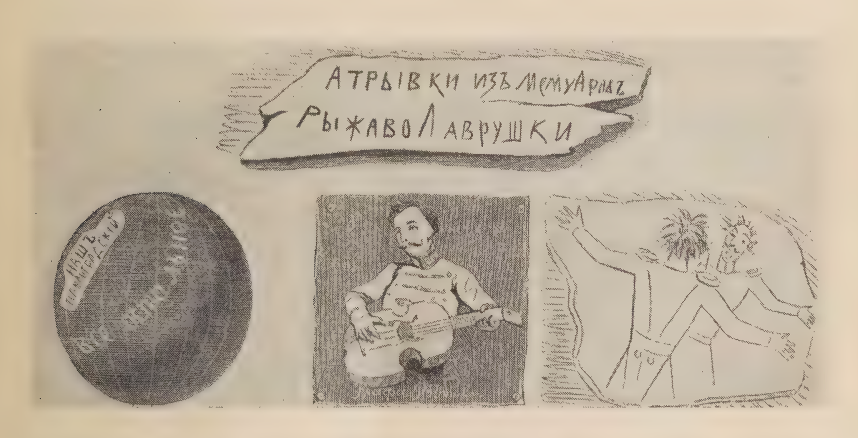


К стр. 13. Глава I.

Рисунок из журнала „Искра“ 1869 г. № 5. Карикатура относится к серии пародий на „Войну и Мир“—„литературно-рисовальное попурри М. Знаменского“ (Василия Курочкина). Рисунок восстанавливает традиционную, вытесненную Толстым тему бедности русской деревни. Под иллюстрацией в журнале был текст:

„Покончив с Москвою на время, хочу повести вас в деревню. Не бойтесь, настолько эстетику знаю, что чувство изящного я не нарушу—не патриот я, избушек мужицких показывать вам не намерен. Герои мои покрупнее.

PS. Разве уж выйдет случай такой, что барские ручки работы запросят насчет зуботычин—ну тогда и крестьяне на сцену!“



К стр. 15. Глава I.

Из того же журнала, того же автора, напечатана в № 15 за 1869 г. Карикатура любопытна использованием толстовского приема передачи через героя. Сам Толстой использовал Лаврушку для снижения Наполеона, карикатурист распространил Лаврушку-пересказчика на передачу Николая. Текст под карикатурой:

„Я так полагаю, „что весь мир разделен на два неравные отдела. Один—наш Павлоградский полк, а другой—все остальное“. С эфтим и их с—во граф Ростов согласны. А все в мире разделяется на три темпа. Сие последнее они от того говорят, что оченно к музыке пристрастны, и когда им в Москве удалось взять втору в терции высокой ноты, то в душе их тронулось что-то лучшее, что только было в душе их, и тут они подумали, что можно зарезать, украсть и все-таки быть счастливым.

Одначе мой барин Денисов поехал насчет правиянту переговорить и встретимши там чиновника правиянтского и там сейчас же, „как ты нас с голоду моришь?! „А... распротакой, сякой“, и начал катать. Тогда их отдали под суд, и они сделались через энто самое несчастными“.

всякого столкновения с существующими у нас военно-официальными журналами, служил бы только выражением духа войск». (Толстой—1850—1860. Редакция Срезневского. Изд. Академии Наук СССР. Ленинград, 1927 г., стр. 35.)

Тема Севастопольских рассказов сперва была темой для группы военных писателей, она выражала необходимость сословия писать. Стихотворение, вышучивающее русские неудачи, скомпрометировало имя Л. Н., и в журнале ему было отказано.

Элемент военности и сдвинул Толстого, вероятно, при выборе темы. Он хотел писать нечто историческое, при чем начал двигаться вдоль истории, от декабристов назад. От декабристов к преддекабристам, т.-е. к военным людям 12-го года и от 12-го года к 1805-му году с мотивировкой, что ему неудобно писать о победах, не написав предварительно о поражениях.

Отношение 12-го года к восстанию декабристов для Толстого не отношение причины к следствию, потому что у Л. Н. его офицеры за границей не реагируют на окружающий мир. Николай Ростов разделяет всю вселенную на Павлоградский полк и на все остальное, что резко осмеивали карикатуристы. Это деление неверное для эпохи Л. Н. Толстого.

Обычно упрекают Л. Н. в том, что он сделал людей 12-го года слишком сложными, что они слишком много знают. Об этом много писал Константин Леонтьев.

Это верно, отчасти потому, что люди «Войны и Мира»— это люди Крымской кампании, берущие реванш в истории. Но с другой стороны — герои Толстого проще своих исторических прототипов: беднее и глупее.

Скромный Радожицкий — артиллерист, выигравший своей батареей сражение и знающий об этом, — сложнее Тушина. Радожицкий не имеет крепостных крестьян, но он не такой маленький забитый человек; он читал Шиллера, Гете, он понимает, как бедна Россия, и, возвращаясь обратно домой, чувствует если «не гнев, то сострадание».

Лев Николаевич эти моменты взаимоотношения русских с заграницей вытеснил из своего романа, и поэтому Денису Да-

выдову у него незачем вспоминать о Тугендбунде и нечего с ним спорить, он его не заметил. Тут нужно сказать, что Васька Денисов любопытнейший пример толстовского снижения. Денис Давыдов, переписывающийся с Вальтер-Скоттом, теоретик партизанской войны, друг Пушкина, скептик в истории (смотрите его отношение к легенде «О девице-кавалеристе»), этот Денис Давыдов не принял бы в свою компанию Ваську Денисова.

Итак, выбор темы 12-го года был подсказан не только реваншными соображениями Льва Николаевича, но и явно военными интересами. Формулирую еще раз: «Войну и Мир» писал писатель-дилетант, он же военный писатель. Это был человек отдельный от своей эпохи, правда, живущий в ней, но отдельно, со своей отсталой группой. И ему человек с купеческими интересами, Боткин, должен был многое об'яснять в смысле происходящего.

Иностранец с острым взглядом по карточке замечал отличие Толстого от современных ему писателей:

...«На одном портрете 1856 года он изображен среди группы писателей—Тургенева, Гончарова, Островского, Григоровича, Дружинина. Рядом с их непринужденными фигурами, он поражает своим аскетическим, грубым видом, костлявым лицом, впалыми щеками, угловато сложенными руками. Он стоит в офицерской форме позади этих писателей, и кажется, что он скорее сторожит этих людей, чем принадлежит к их компании: так и кажется, что он собирается отвести их обратно в тюрьму» (Сюарес, Толстой, 1899 г.)

Постоянные ссоры Тургенева с Толстым — это ссоры людей, которые живут одновременно, но как будто бы принадлежат к разным эпохам.

Перед смертью профессиональный писатель И. Тургенев обратился к Толстому с профессиональным трогательным призывом — писать.

Мы знаем холодный остраняющий ответ Толстого в словах, сказанных им через много лет.

«Почему великий писатель земли русской? Почему не воды? Я никогда этого не мог понять!» (Лев Толстой в последние годы его жизни, стр. 202.)

Итак, отставной военный небольшого чина вернулся в свое имение. Для нас Лев Николаевич — граф и большой писатель

и поэтому мы воспринимаем его как помещика, крупного по быту, но житье в имении Толстых было гораздо тише. Пустели дворянские усадьбы. Брат Льва Николаевича, Николай Николаевич, жил совсем скромно среди диванов с ситцевой обивкой и мух и мешал свой салат железным ножем, черня его окисью железа. Сергей Николаевич жил в Пирогове, и там было запустение.

Гораздо позднее, осматривая Ясную Поляну, хитрый Розанов точно определил отношение быта Льва Николаевича Толстого к тому быту, который описывал граф Толстой.

«Я еще раз посмотрел на пустые, далекие от великолепия комнаты. Здесь не стала бы танцевать Анна Каренина». (В. Розанов, Поездка в Ясную Поляну, стр. 286.)

Братья Толстые жили дружно. Они ездили друг к другу в желтой коляске. Откуда эта коляска? Мы знаем. Она описана в первом томе Бирюковской биографии как карета бабушки. Желтая она была потому, что тогда (во время бабушки) других не было. (Бирюков, Биография, том I, стр. 28.)

Эта же коляска описана Фетом:

...его желтая коляска, запряженная тройкою серых, нередко останавливалась перед нашим крыльцом.

Не могу пройти молчанием этого экипажа, которого никак не могу в воспоминании отделить от прелестной личности его владельца. Хотя мы и называли этот экипаж коляской, но это была скорее большая двуместная пролетка без верха, но с дверцами, повешенная на четырех полукруглых рессорах. Коляска эта явилась на свет в те времена, когда желто-лимонный цвет был для экипажей самый модный и когда экипажи делали так прочно, что у одного, даже многолетнего поколения не хватало сил их из‘ездить. Блестящим примером тому могла служить наследственная Никольская коляска, у которой все четыре рессоры самым решительным образом подались вправо, так, что левые колеса вертелись на виду у седоков, тогда как правые были скрыты надвинувшимся на них кузовом, и кучер сидел на козлах не против коренной, а против правой пристяжной. Раза с два приходилось мне впоследствии проехать с Н. Н. Толстым в этой коляске на почтовых под самую Тулу и обратно, и не было примера утраты малейшего винта или гайки. Я как-то заметил Н. Н., что его коляска — *эмблема бессмертия души.* С тех пор

братья Толстые иначе ее не называли». (А. Фет, Мои воспоминания, ч. I, стр. 238.)

Эта коляска не случайна. Она изображает отсталость быта, выключенность отдельных участков России из ее общего хода. Фет — помещик вновь заводящийся, когда едет мимо железной дороги, едет на таком же мастодонте:

«В виду возможности переезда по летнему пути, я еще с осени купил старинный четвероместный дормез, каких при железных дорогах и менее выносливых лошадях теперь уже не делают, — с раскидными постелями, с большим зеркалом, выдвигающимся на место передних стекол, со всевозможными туалетными приспособлениями и ревербером для ночного чтения. К счастью нашему, нам приходилось ехать по Тульско-Орловско-Харьковскому шоссе, и доведенные до изнеможения почтовые были в состоянии везти четверкой громоздкую, но легкую на ходу карету без затруднения». (А. Фет, Мои воспоминания, ч. I, стр. 325.)

Такая коляска, таким образом, была как-будто гербом определенной культурной группы, и тут, конечно, сказывалась и старомодность вкусов и отсутствие денег, тем более, что к коляскам не было и хомутов.

«Но вот обед кончился, и я попросил слугу приказать запрягать.

— Да, да, всем запрягать! — восклицал граф, — тройкой долгушу, и мы все вместе пятеро поедем вперед, а ваш тарантас за нами.

Прошло более часу, а экипажей не подают. Я выбежал в сени и, услыхав от слуги обычное: «сейчас!», на некоторое время успокоился. Однако через полчаса я снова вышел в сени с вопросом: «что же лошади?» На новое: «сейчас» я воскликнул: «помилуй, брат, я уже два часа жду! Узнай, пожалуйста, что там такое?»

— Дьякона дома нет, — горестно ответил слуга. Я не без робости посмотрел на него.

— Извольте видеть, их сиятельства приехала сюда четверкой, а тут когда нужен коренной хомут, то берут его на время у дьякона, а сегодня, как на грех, дьякона дома нет». (А. Фет, Мои воспоминания, ч. II, стр. 76.)

Впоследствии быт Льва Николаевича изменился. Ясная Поляна разбогатела, но во многом она осталась музейной усадьбой, местом, где сохранился неизменный помещик. И многое, что кажется в Толстом новым и происшедшим в ре-

зультате какого-то кризиса, на самом деле является антикварным и об'ясняется как остаток старого, случайно закрепленного быта, фон которого изменился.

Вокруг этого быта, вокруг усадьбы жили крестьяне, с которыми, в сущности говоря, не знали, что делать. Фет все время и ищет землю без крестьян и в результате купил такую. Толстой в письмах пишет ему об этом же, предупреждая его:

...« Я уверен, что вы будете отличный хозяин. Но дело в том, что̀ вам купить? Ферма, о которой я говорил под Мценском, далеко от меня и, сколько я помню, продавалась за 16 тысяч. Больше ничего о ней не знаю. А есть рядом со мною, межа с межой, продающееся имение в 400 дес. хорошей земли, и к несчастью еще с семидесятью душами скверных крестьян. Но это еще не беда, крестьяне охотно будут платить оброк, как у меня, 30 рублей с тягла; с 23 тысяч—660 и не менее, ежели не более, должно получиться при освобождении». (А. Фет, Мои воспоминания, ч. I, стр. 316.)

Вопрос острый. Конечно, Лев Николаевич готов решить вопрос так: освобождение крестьян без земли, и тут происходит любопытнейшая история. Приведу цитату—кусок проекта Толстого.

...« Пускай только правительство скажет, кому принадлежит земля. Я не говорю, чтобы непременно должно было признать эту собственность за помещиком (хотя того требует историческая справедливость), пускай признают ее часть за крестьянами или все даже. Теперь не время думать об исторической справедливости и выгодах класса, нужно спасать все здание от пожара, который с минуты на минуту обнимет. Для меня ясно, что вопрос помещикам теперь уже поставлен так: жизнь или земля. И признаюсь, я никогда не понимал, почему невозможно определение собственности земли за помещиком и освобождение крестьян без земли? Пролетариат! Да разве теперь он не хуже, когда пролетарий спрятан и умирает с голоду на своей земле, которая его не прокормит да и которую ему обработать нечем, а не имеет возможности кричать и плакать на площади: «Дайте мне хлеба и работы». У нас почему-то все радуются, что мы будто доросли до мысли, что освобождение без земли невозможно и что история Европы показала нам пагубные примеры, которым мы не последуем. Еще те явления истории, которые произвел пролетариат, произведший революции и Наполеонов

не сказали свое последнее слово, и мы не можем судить о нем, как о законченном историческом явлении. Бог знает, не основа ли он возрождения мира к миру и свободе». (Л. Н. Толстой, Избр. произв., вступительная статья, стр. 12.)

Здесь Лев Николаевич поднимается до пророческих предсказаний. Может показаться странным: человек, так уважающий пролетариат, в то же время настаивает на освобождении крестьян без земли, и откуда Л. Н. был известен «Коммунистический манифест»? Лев Николаевич «Коммунистический манифест» мог знать через Анненкова, а спор шел такой: левые требовали освобождения крестьян с землей. Правые пугали левых пролетариатом (возможность возникновения пролетариата) и даже одно время запугали их.

В правых журналах поэтому печатались социалистические статьи, чему удивляется Евгеньев-Максимов.

Таким образом «левость» Толстого диалектически самая правая.

Это легко понять, учтя диалектику политических требований и то, что, так называемые, левые и правые все время перемещаются в зависимости от изменения интересов класса.

Самого левого фланга, фланга коммунистического, который утверждал бы, что обезземеление крестьян и пролетаризация их в большом плане выгодны на территории России, в русской литературе не существовало. Но Л. Н., полемизируя с левыми, становится еще более левым и защищает обезземеливание крестьян (в пользу помещика) высокой ролью пролетариата. Здесь есть бессознательная ирония.

Итак, хорошо было бы иметь поместье без крестьян.

В комическом плане эту дворянскую мечту дал Салтыков-Щедрин в сказке «О глупом барине». Пришлось остановиться на отрезках и на полупролетаризированном крестьянстве. «Анна Каренина», а также «Хозяин и работник» в очень большой степени посвящены вопросу о том, как же устроить взаимоотношения между, так называемым, вольно-наемным рабочим и помещиком (Осип Брик). Но в этот период это временное равновесие было еще не достигнуто. Крепостное право осталось мечтою, и Толстой в своем послесловии к «Войне и Мир» хотел дать бой по вопросу о крепостном праве.

Крепостнические выходки впоследствии были выкинуты. Вот что пишет об этом Грузинский:

«Выкинуты были и две выходки в начале, затронувшие горячий тогда (в начале 60-х годов) вопрос о злодействах старых помещиков и о 19 февраля; мы сохранили оба места, как очень характерные для тогдашнего настроения Толстого. Усиленное подчеркивание в обществе и в печати ужасов крепостного права и погоня за демократичностью стали так легки, безопасны и модны, что нередко вырождались в шаблон и дешевую фразу, бьющую на популярность. Все это так претило своеобразной натуре Толстого, что вызывало его по духу противоречия на выставление себя помещиком и аристократом еще больше, чем он был на самом деле. В конце V отрывка он об'ясняет, почему в «Войне и мире» действуют графы и князья. Это об'яснение возникло из того же духа противоречия и высказано в других черновиках (по иному, случайному поводу — кутеж у Анатоля) значительно подробнее, резче и решительнее. Толстой там открыто признается в любви к высшим классам и с бравадой предупреждает читателя, что еще есть время захлопнуть книгу и об'явить автора идиотом, ретроградом и Аскоченским».

Грузинский утверждает, что в своем предисловии, неопубликованном, Толстой хотел казаться более консерватором, чем он был. Это неверно, потому что Л. Толстой не напечатал эту свою заметку, а запросил сперва мнение Бартенева. Ответ Бартенева неизвестен. Вероятно, однако, что именно он удержал Л. Толстого от слишком резких выпадов.

Работа Л. Н. над вариантами «Войны и Мира», браковка некоторых, уже готовых кусков об'ясняется той же невозможностью выговориться до конца и тем, что определенные бытовые положения крепостного права были настолько уже выяснены в общественном мнении, что дать их в повышенном тоне было невозможно. Сам Л. Н. отрицает правдивость обычной картины крепостного права.

«Изучая письма, дневники, предания того времени, я не находил всех ужасов этого буйства в большей степени, чем нахожу их теперь или когда-либо. Ежели в понятии нашем составилось мнение о характере своевольства и грубой силы того времени, то только оттого, что в преданиях, записках, повестях и романах из того времени до нас наиболее доходили выступающие случаи насилия и буйства. Заключить о том, что преобладающий характер того времени было буй-

ство, так же несправедливо, как несправедливо заключил бы человек, из-за горы видящий одни макушки деревьев, что в местности этой ничего нет, кроме деревьев. Есть характер того времени, (как и характер каждой эпохи,) вытекающий из большей отчужденности высшего круга от других сословий, из царствующей философии, из особенностей воспитания, из привычки употреблять французский язык и т. д. И этот характер я старался, сколько умел, выразить». («Русский архив», 1868 г., вып. III.)

Но Толстому пришлось для такого отрицания фактов подправить кое-что в своих работах; в частности, он выкинул крепостную любовницу старика Болконского, потому что крепостная любовница и ребенок, отправленный в воспитательный дом, были уже закреплены в сознании как нечто осужденное.

Это нельзя было ввести, это снизило бы и скомпрометировало бы Николая Болконского.

«Он прошел в кабинет и написал письмо в воспитательный дом облагодетельствованному им чиновнику о приеме в воспитательный дом младенца девицы Александры, на письмо, написанное твердым, деловым, крупным почерком, положил деньги, 100 рублей, которые сам достал из сундука и, хлопнув в ладони, кликнул Петрушку, а Петрушка—Якова.

Александра была горничная княжны, младенец был сын князя. Это был уже пятый, и все они были отправлены в воспитательный дом, а мать возвращалась назад. Все знали это, но князь делал вид, как будто этого не было, и все делали такой же вид, и, когда возвращалась Александра, все сомневались, в самом ли деле это все было. Дети у Александры начали рожаться 1½ года после вдовства князя».

Александра заменена француженкой Бурьен.

Здесь видно колебание расчета на читателя.

По Салтыкову-Щедрину мы знаем обычный ключ такого отправления младенца в воспитательный дом, где поступок (бытовой) приписан Иудушке в качестве одного из тягчайших обвинений.

Крепостная любовница была и у Андрея Болконского, и предполагалось дать к ней ревность Сони, но это было вытеснено потребностью идеализации быта.

Хозяйство же Николая Ростова — идеальное помещичье хозяйство — это то самое хозяйство, которое хотел бы вести

и не смог вести Николенька Нехлюдов, он же граф Лев Николаевич Толстой. Современники чувствовали этот крепостнический тон вещи Л. Н., и сравнительно невинные замашки старика Болконского были точно отмечены в статьях Навалихина и Пятковского.

Для окончательного принятия романа в литературное сознание понадобился Страхов, который дал к нему комментарии и подыскал ключ обличительства, под которым, хотя бы условно, можно было ввести Л. Н. в общий ряд. Это переключение на другой тон, разгадка другими значениями, этот, так сказать, перевод — обычная черта русской публицистической критики. Заслуга Страхова перед Толстым поэтому была очень велика, и Страхов навсегда гордился тем, что он разгадал «Войну и Мир».

Пока еще не было ни «Войны и Мира», ни Страхова, Л. Н. не был счастлив. Он жил в своем имении, но время Николая Ростова прошло, и кругом появились разночинцы. Л. Н. вытеснил их из своего романа, хотя его упрекали, как я покажу это в следующей главе, даже в отношении 12-го года.

В 60-х годах было хуже. У Льва Николаевича от этого времени в неопубликованных вещах сохранились несколько характеристик разночинцев и их роли, при чем разночинцев мы видим здесь в двух видах: чумазый и, условно говоря, интеллигент. Чумазый Шкалик дан Львом Николаевичем настолько резко, что и в ненапечатанном произведении он был зачеркнут.

...«Но каково же видеть Алешек и Куприяшек, успешно разрабатывающих незаслуженную нищету и невинную простоту народа, которые одни причиною их удачи, их спекуляций. Алешки и Куприяшки, не в том, так в другом виде, всегда будут существовать, но разве не от помещиков зависит ограничить круг их преступной деятельности?». (Л. Н. Толстой, Из «Романа русского помещика», стр. 31.)

Реагирует на этого человека Л. Н. необычайно по-Ростовски. Я здесь не хочу обличать Л. Н. (это было бы смешно), но я говорю о том материале, который лег в основу взаимоотношений героев в «Войне и Мире», и о том материале, который был впоследствии поглощен художественным методом, т.-е. о том, что намерения Л. Н. Толстого в «Войне и Мире» не были осуществлены.

Дворянская агитка не удалась. И со Страховым и без Страхова литературное произведение, созданное определенной политической установкой, воспринимается вне той обстановки, и ей наслаждаются те самые люди, против которых был направлен удар. И только с этими оговорками я решаюсь привести нижеследующую цитату:

«—Помилуйте, васясо, — отвечал Шкалик, снимая шляпу и отступая, — мы люди маленькие, темные.

Минутное волнение изобразилось на лице Шкалика при виде больших рук Николеньки, которые, выскочив из карманов и сделав грозный жест, энергично сложились за спиной. Казалось, руки эти напрашивались на другое употребление». (Л. Н. Толстой, Избранные произведения. Из «Романа русского помещика», стр. 32. ГИЗ, Москва. 1927.)

Разночинный интеллигент изображен Л. Н., может быть, еще с большим презрением, но меньшей ненавистью. Этот тип, со всеми его обычными заболеваниями, с его судьбою, был известен Л. Н. через редакцию «Современника». Конечно, у Л. Н. разночинец снижен, он всего только подпольный адвокат, но некоторые черты сходства с высшим типом, вероятно, были ценны Льву Николаевичу и были им подчеркнуты в отрывке.

«—В сочинении такого рода бумаг для безграмотных людей и состояли с незапамятных времен его средства к существованию в то короткое время года, в которое он не пил запоем, или, как, смягчая это выражение, говорили о нем,— не бывал болен.

Мы не беремся решать вопроса, действительно ли существует эта болезнь, к которой особенно склонен известный класс русского народа, но скажем только одно: по нашему замечанию, главные симптомы этой болезни составляют беспечность, бесчестный промысел, равнодушие к семейству и упадок религиозных чувств, общий источник которых есть полуобразование». (Л. Н. Толстой, из «Романа русского помещика», стр. 42.)

Итак, почти в осажденной усадьбе, среди угрюмых и грозных крестьян, которые, по словам Тургенева, уже тогда были готовы повесить помещика, дав ему только с гостями допить чай, среди ненавистной буржуазии,—вот в этой деревне, которую никак нельзя было очистить от крестьян, жил Лев Николаевич. У него от земли и крестьян уже оста-

лась только земля. Тут замечательно отношение к земле: отношение это совершенно не пейзажное. Л. Н. о своей Ясной Поляне говорил следующее:

«Без своей Ясной Поляны трудно могу себе представить Россию и мое отношение к ней. Без Ясной Поляны я, может быть, яснее увижу общие законы, необходимые для моего отечества, но я не буду до пристрастия любить его». (1858 г.) (Л. Н. Толстой, Избр. произв., стр. 7.)

Еще лучше он писал об этом в письме к Фету:

«Друг — хорошо; но он умрет, он уйдет как-нибудь, не поспеешь как-нибудь за ним; а природа, на которой женился посредством купчей крепости или от которой родился по наследству, еще лучше. Своя собственная природа. И холодная она, и несговорчивая, и важная, и требовательная, да зато уж это такой друг, которого не потеряешь до смерти, а и умрешь — все в нее же уйдешь». (А. Фет, Мои воспоминания, ч. I, стр. 369.)

«Природа по купчей крепости» — вот формулировка Л. Н. Толстого.

Положение Толстого было очень тяжелое, и исход как будто бы был один; и Тургенев верил только в выкуп.

Многое мог об‘яснить Толстому Боткин, человек иного — купеческого мира. Но Толстой не принимал об‘яснения.

Боткин писал:

...«Вас приводит в недоумение новый путь, который приняла наша журнальная беллетристика; — но разве вы забыли, что Россия переживает первые дни после Крымской войны, ужаснувшей ее неспособностью, безурядицей и всяческим воровством» (Толстой. Памятники творчества и жизни, 4, стр. 48.)

Оторванностью от окружающих, заключенностью в свое собственное хозяйство и об‘ясняется очень любопытная черта в быте Л. Н. и его общества. Л. Н. все изобретает, это лучше всего видел со стороны Кнут Гамсун:

«Война и Мир», «Анна Каренина» — более великих произведений в своем роде никто не создавал. И нет ничего удивительного в том, что впечатлительный коллега даже на своем смертном одре просил великого писателя создать еще больше таких произведений. Но против чего я по своему разумению восстаю, так это против тщеславной попытки великого писателя сочинять философию, мышление. Вот это-то и искажает его положение в позу. Один крестьянин из Гудбрандсдаля размышлял всю свою жизнь, и все только о нем

и говорили, какая у него хорошая голова. Между прочим он самостоятельно выдумал часы, которые показывали время зараз на все четыре стороны. Однажды он был в горах и вез домой сено для скота, и вот тогда-то он выдумал эти часы». (Гамсун, В сказочной стране. СПБ. 1910, т. III, стр. 564.)

Действительно в среде Л. Н. до всего додумывались сами. Вот, например, размышление Тургенева о часах:

«Однажды проснувшись оба в ночной темноте, мы как-то разболтались, и, вероятно, вследствие вопроса: «который час?» Тургенев вдруг стал экзаменовать меня насчет причины, заставляющей двигаться часовые механизмы. На ответ мой, что в часах с гирями движущей силой является тяготение, а в карманных — стремление насильно закрученной пружины развернуться до прежнего нестесненного положения, — Тургенев с хохотом воскликнул:

— Ах, какой он вздор говорит! Раскройте, батюшка, любые часы, и вы увидите прыгающий маятник, движимый волоском. Этот-то волосок посредством маятника и заставляет двигаться часы.

Напрасно старался я доказать Тургеневу, что его волосок выходит причиною самого себя. На это он возражал, что такою же причиной самого себя является и моя пружина; и я только тогда успел заставить его замолчать, когда обратил внимание на то, что незаведенные ключем часы продолжают упорно стоять, не взирая ни на какое раскачивание маятника». (А. Фет, Мои воспоминания, ч. I, стр. 267.)

Сам Фет, который здесь так благоразумно об‘ясняет все Тургеневу, не избежал этой болезни. Он изобретал велосипед, которым был заинтересован и Лев Николаевич.

...«Интересен мне очень «Заяц». Посмотрим, в состоянии ли будет все понять хотя не мой Сережа, а 11-летний мальчик. Еще интереснее велосипед». (Фет, Мои воспоминания, 1848—1889, ч. II, стр. 48.)

Еще раньше, когда Л. Н. начал заниматься музыкой, он начал музыку сначала, начал все изобретать:

Определение музыки.

...«Музыка есть совокупность звуков, поражающих нашу способность слуха в трояком отношении: 1) в отношении пространства, 2) в отношении времени, 3) в отношении силы.

Слово «музыка» имеет троякое значение: 1) оно означает факт, и в этом случае определение оной предыдущее, 2) музыка есть наука, и в этом случае это есть знание законов,

по которым соединяются звуки в трояком отношении, 3) музыка есть искуство, посредством которого соединяются звуки в сих трех оношениях. Есть четвертое значение музыки — значение поэтическое. Музыка в этом смысле есть средство возбуждать через звуки известные чувства и передавать оные». («Толстовский Ежегодник» 1913 года. О музыке, стр. 13.)

Он изобретал физику, как мы видим из переписки со Стасовым. Правда, письма Л. Н. об этом нет, но ответ Стасова достаточно убедителен:

«Мне кажется, я понимаю вашу мысль, бесценный Лев Николаевич, и даже готов согласиться, что она справедлива, но прибавив, что она не доказана и что ее очень трудно доказать. Вы называете тяжестью то, что обыкновенно называется массою; может быть, это действительно одно и то же, но это тожество еще не выведено».

Это стремление все сделать самому создавало у Л. Н. не только собственную педагогику, но и собственную арифметику, собственную геометрию и собственный способ доказывать Пифагорову теорему, правда, взятый от браминов, но чрезвычайно сложный и хороший только тем, что он иной: доказательство вдвое длиннее обычного и мало понятно даже для знающего геометрию.

В хозяйстве Л. Н. изобрел способ кормить свиней, и все время, и каждый день, изобретал собственную нравственную систему. В этом есть деревенское недоверие к чужой мысли и деревенская замкнутость.

Из этого недоверия, в конце концов, родилась трагическая тема Лескова «Загон»: рассказ о России, которая сидит во тьме, гордясь тем, что ей, будто бы, не нужны плуги, избы с трубами и многие другие простые и необходимые вещи.

Но творчеству Л. Н. Толстого, всей его изобретательности принесли пользу недоверчивость и свежесть писательского глаза — невключенность его в обычную систему восприятия. Л. Н. в своем творчестве — человек из деревни, рассказывающий и пересказывающий чужую жизнь.

В этой атмосфере иначе звучали литературные традиции, и Гулливер Свифта попал у Л. Н. Толстого в перевоплощение.

Если Гулливер переживал английскую политическую жизнь, как бесконечно уменьшенную, и смеялся над капель-

ными интересами лилипутов, пересказывал великанам интересы английского парламента, как будто бы становясь на его сторону, рассказывал английскую всечеловеческую жизнь лошади, то у Льва Николаевича лошадь с остатком прежней мотивировки рассказывает человеческую жизнь. Эта лошадь не включена в систему человеческих отношений, так же как Левин не включен, сидя в деревне, в товарооборот мира. Ей не нужна культура, так же как Левину не нужны пути сообщения. Лошадь не доверяет человеческой жизни. В конце рассказа, как я говорил об этом в своей работе «Искусство как прием», лошадь умирает, но прием ее переживает. Толстой и без лошади, способом недоверия к человеческим словам, рассказывает бессмысленность их жизни.

Холодной лошадиной иронией пропитаны строки «Войны и Мира».

Прием, созданный при определенной мотивировке, отделился от него и спокойно пересказывает историю — область наибольшей традиционности тогдашнего мышления. Конечно, прием пересказа не общ для «Войны и Мира»; он не распространяется на Александра I, на бал и на помещичью деревню.

В «Анне Карениной» он распространится еще дальше и перейдет уже на пересказывание и симпатичных Толстому сцен. Он сумел к тому времени уже отделить прием от его первоначального тембра.

Прошло время. Время шло быстрее, чем Л. Н. Толстой. Время развивалось, развивало свои отношения и, разрушив быт барина, начало разрушать быт мужика. Изменилось и восприятие Л. Н. Толстого со стороны читателя. Смысл многих моментов, их историческая значимость была утрачена, они стали орнаментальны: значимость их изменилась. Чрезвычайно любопытно, что для трудолюбивого Михайловского Л. Н. Толстой в 40 — 60-х годах кажется либералом.

Так, менее трудолюбивый, но более талантливый Суворин оценивал статьи Белинского о Грибоедове как статьи либерала в то время, когда они были именно статьями консерватора.

Изменению разгадки Толстого, может быть, способствовало изменение всей экономической обстановки времени. Любопытно отметить, что в этой статье, в этом самом разделе, Н. Михайловский защищает кустарные промыслы и право делать крестьянами карандаши, не подвергаясь капиталистической конкуренции («Записки Профана»).

Левое народничество Толстого, к которому с таким справедливым недоверием отнеслась Ортодокс, это—явление изменения не столько писателя, сколько читателя.

ГЛАВА ВТОРАЯ

КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛА,

КОТОРЫМ РАСПОЛАГАЛ Л. Н. ТОЛСТОЙ ПРИ НАПИСАНИИ РОМАНА «ВОЙНА И МИР»

«Везде, где в моем романе говорят и действуют исторические лица, я не выдумывал, а пользовался материалами, из которых во время моей работы образовалась целая библиотека книг, заглавия которых я не нахожу надобности выписывать здесь, но на которые всегда могу сослаться».

Так написал Лев Николаевич в «Русском Архиве», отвечая своим критикам.

В настоящее время мы знаем список книг, которыми пользовался Л. Н. в это время. Список этот я привожу в конце книги.

Как видите, это количество книг приблизительно на две полки — количество не очень большое. Для сравнения нужно сказать, что в имении Дениса Давыдова было книг по истории Наполеона собрано до полутора тысяч томов. Мнение, что Л. Н. имел очень большое количество материала на руках, это мнение теперешних исследователей; во время написания романа оно не было распространено.

«Искра» поместила при выходе романа карикатуру, где изображался Лев Николаевич Толстой с источниками, при чем среди источников был роман Загоскина «Рославлев» и книга «Леонид» Рафаила Зотова. Как мы теперь знаем, обе эти книги действительно находились в библиотеке Толстого, при чем здесь нет ничего странного. «Рославлев» нравился и А. С. Пушкину, который писал о нем князю Вяземскому следующее:

«То, что ты говоришь о «Рославлеве» — сущая правда; мне смешно читать рецензии наших журналов; кто начинает с Гомера, кто с Вальтер-Скотта; пишут книги о романе, которого ты оценил в трех строчках совершенно полно, но к

ВОЙНА и МИРЪ.



Рис. А. М. Волкова. Глава II. 1868, № 16.

Литературные источники и художественные оригиналы, послужившие автору материалами при создании эпопеи.

(гр. Л. Н. Толстой)

которым можно прибавить еще три строчки: что положения, хотя и натянутые, занимательны; что разговоры, хотя и ложные, живы и что все можно прочесть с удовольствием (итого 3 строки ½.)». (Соч. Пушкина, изд. «Просвещение», том VIII, Письма, стр. 262.)

Пушкин даже писал вещи, полемизирующие с «Рославлевым», вернее, он хотел дать действиям героини Полины другую мотивировку. И «Рославлева» мы действительно должны считать в числе основных источников «Войны и Мира», что нельзя сказать про «Леонида» Рафаила Зотова. Все это будет выяснено в особой главе. Но уж одно упоминание этих романов показывает нам на некоторую старомодность начитанности Толстого. Лев Николаевич и здесь был человеком отдельным от своего времени; его оценка источников расходилась с общепринятой. Вот, что он пишет:

«Часто, изучая два главные исторические произведения этой эпохи, Тьера и Михайловского-Данилевского, я приходил в недоумение, каким образом могли быть напечатаемы и читаемы эти книги? Не говоря уж об изложении одних и тех же событий самым серьезным, значительным тоном, с ссылкам на материалы, диаметрально-противоположные один другому, я встречал в этих историках такие описания, что не знаешь, смеяться ли или плакать, когда вспомнишь, что обе эти книги единственные памятники той эпохи и имеют миллионы читателей».

Действительно, мы видим, что Л. Н. широко пользовался цитатами Михайловского-Данилевского и вел по нему историческую линию своего романа. Гораздо меньше он пользовался Тьером.

Что же представляет собой Михайловский-Данилевский?

Михайловский-Данилевский — официальный военный историк, манера писания которого, казалось, уже устарела для Кутузова и Сергея Глинки.

«Михаил Ларионович Кутузов зорким глазом высмотрел способность его соображать обстоятельства и предлагать их. Увлекаясь живостью воображения, нынешний историограф 1812 года употреблял иногда пышность слога восточного. А Кутузов говорил: «Это лиризм! Это ода! Где дело — там простота, там ясность». Простой намек такого судьи стоит целой риторики, даже и аристотелевой, которая также попала в Лету мифическую». (С. Глинка, Записки, стр. 68-69.)

Денис Давыдов в письме к Пушкину упрекает Михайловского-Данилевского в грубых выходках против Наполеона.

...«Но неужели нельзя хвалить русских войск без порицания Наполеона? Это порицание причиною того, что все сочинение отзывается более временем 1812 года, слогом Сергея Глинки, когда ненависть к посягателю на честь и существование нашей родины внушала нам одни ругательства на него, чем нашим временем, когда вражда к нему забыта и гений его оценен бесспорно и торжественно. Эти все выходки Данилевского для чего? Он оттого похож на тех французов, которые при вступлении нашем в Париж, навязав веревку на шею бронзовой статуи великого человека, тащили ее с вершины колонны на мостовую». (Соч. Д. Давыдова, т. III, стр. 210.)

Сравните здесь более поздний отзыв генерала А. Липранди:

...«В рассматриваемом мною сочинении («Описание Отечественной войны 1812 года») находится много разных мест, в которых, по моему мнению, допускаются слова и выражения неверные, преувеличенные или натянутые, выходящие из размеров беспристрастного исторического повествования: даже встречаются нередко фразы и целые картины, едва ли приличные эпохе происшествий, названных автором мировыми событиями, каковыми они и были действительно. Вообще к Наполеону, к его маршалам и ко всему его войску автор питает какую-то непримиримую злобу и ожесточение, выражая это почти на каждой странице словами вовсе недостойными ни важности истории вообще, ни тем более истории, для составления которой само правительство предоставило все способы и средства». (Замечания на некоторые выражения, встречающиеся в «Описании Отечественной войны 1812 года», СПБ. 1855 г., стр. 195.)

Белинский упоминает Михайловского-Данилевского два раза очень лестно, но каждый раз совершенно в тех же самых выражениях, и, вероятно, эти выражения были принужденные.

...«Воспоминания о графе Милорадовиче, статья нашего военного Тита Ливия и Плутарха, генерала Михайловского-Данилевского отличается сколько занимательностью содержания, столько и мастерским изложением»... (Статья «Сто русских литераторов»).

Вяземский записывает о Михайловском-Данилевском следующий анекдот.

«Какое несчастье пошло у нас на баснописцев,— говорит граф Сакен.—Давно ли мы лишились Крылова, а вот теперь

умирает Данилевский». (Собр. соч. П. А. Вяземского, т. VIII, стр. 112.)

С легкой иронией говорит о Михайловском-Данилевском сам Толстой в рассказе «Набег».

...« — И чего вы не видали там? — продолжал убеждать меня капитан. — Хочется вам узнать, какие сражения бывают? Прочтите Михайловского-Данилевского «Описание войны»— прекрасная книга: там все подробно описано — и где какой корпус стоял и как сражения происходят.

—Напротив, это-то меня и не занимает,—отвечал я». (Лев Толстой, Набег, т. II, стр. 6.)

Михайловский-Данилевский—чрезвычайно устаревший писатель для времени написания Толстым романа. Несмотря на то, что он был писатель официально утвержденный, понадобилось написание новой истории, написанной генералом Богдановичем. Правда, Толстой ругает и Михайловского-Данилевского и Тьера:

...«Приведу только один пример из книги знаменитого историка Тьера. Рассказав, как Наполеон привез с собой фальшивых ассигнаций, он говорит:

«Relevant l'emploi de ces moyens par un acte de bien-faisance digne de lui et de l'armée française, il fit distribuer des secours aux incendiés. Mais les vivres, étant trop précieux pour être donnés à les étrangers, la plupart ennemis, Napoléon aima mieux leur fournir de l'argent et il leur fit distribuer des roubles papier».

Здесь Толстой упрекает Тьера за то, что тот в высоком стиле рассказал о распространении фальшивых ассигнаций Наполеоном, но это толкование строки вчитано Толстым в строки Тьера по наущению Михайловского-Данилевского, потому что из прямого смысла строк Тьера не получается положительное утверждение о распространении фальшивых денег. Это утверждение категорически отрицает Богданович, за что Липранди резко напал на историка.

Мнение о негодности текста работы Михайловского-Данилевского — общее. Вот что пишет о нем военный историк Витмер:

«По нашему мнению, Тьер и Михайловский-Данилевский не единственные и даже не главнейшие произведения этой эпохи. Мало того, оба эти писателя, включая сюда и графа Сегюра, — писатели наиболее красноречивые, но едва ли не наименее достойные веры из всех, описавших войну 1812 г.» ...

Дальше А. Витмер перечисляет пятнадцать главных исторических трудов на иностранных языках по войне двенадцатого года и кончает так:

«На русском — Ермолов, Батурин и, наконец, Богданович, сочинение которого, вместе с Шамбре и Бернгарди, может, по справедливости, считаться главным источником для изучения эпохи двенадцатого года». (Витмер, 1812 год в «Войне и Мире», стр. 7.)

В газете «Голос» под инициалами М. Б., которые правильно раскрыты Владимиром Владимировичем Трениным, как подпись самого Богдановича, мы находим следующее:

... «Мы не станем защищать ни Тьера, ни Данилевского, к трудам которых автор относится с таким презрением и которые действительно были баснописцами в истории; однакож полагаем, что оба они пользовались лучшими и более обильными материалами, нежели те, которые послужили для сочинения «Войны и Мира». Не сомневаемся также и в том, что библиотека их по исторической части богаче и дельнее, нежели та, которая образовалась во время работы графа Толстого. Каким образом эти историки пользовались своими материалами — это иной вопрос». («Голос» № 129 за 1868 г., статья М. Б., За и против.)

Как видите, две строчки Толстого вызвали раздражение историков. Отзыв Витмера об этом звучит издевательством:

«Владея целой библиотекой материалов (стр. 523, ссылка на «Русский Архив»), автор называет двумя «главными историческими» произведениями этой эпохи Тьера и Михайловского-Данилевского и, приходя в недоумение, каким образом могли быть напечатаемы и читаемы эти книги, тем не менее прилежно изучает их, будучи, по видимости, вполне убежден, что лучшего нигде и ничего найти невозможно...

Напрасно также не вывел автор, из нелепостей, встречаемых у Тьера и у Михайловского-Данилевского, заключения о том, что писатели эти не «главные» для изучения этой эпохи.

Впрочем, гр. Толстой, вероятно, потому не пришел к такому простому умозаключению, что, по его мнению, это не только главные, но и единственные памятники той эпохи». (А. Витмер, стр. 4-5.)

Толстой имел те книжки, на которые ему указывал Витмер, т.-е. у него были на руках Богданович, Ермолов и т. д.

Почему же он воспользовался материалом Михайловского-Данилевского? Вероятно, это вызвано тем, что всякий пи-

сатель деформирует материал, включая его в свое построение, и он выбирает материал не по принципу достоверности, а по принципу удобства материала.

Место в «Войне и Мире», в котором указывается, что Наполеон думал написать на всех богоугодных заведениях «Дом моей матери» — заимствовано Толстым из совершенно недостоверного источника.

«Все радуются морозам в Москве, ибо улицы завалены мертвыми телами, коих не хоронят.

Еще сказывал мне офицер, бежавший из Москвы, что прекрасный дом графа Разумовского, на Гороховом Поле, с садом сожжен, а равно домы всех присутствующих в комитетах и многих других. Также сожжен театр.

На всех домах богоугодных заведений Наполеон написал: «Maison de ma mère», также и в сумасшедшем доме; не знают, что он сим разуметь хочет.

Церковь и кладбище раскольников целы, потому что они встретили французов с хлебом и солью и просили пощады.

Преосвященный Платон, узнав о взятии Москвы, умер апоплексическим ударом в церкви, в Вифании». («Русский Архив» 1866 года, стр. 789. Выписка известий из Москвы от 18 сентября.)

Неправильности известия о смерти Платона явные; преосвященный Платон не умер, а уехал из Москвы, очень недружелюбно провожаемый населением, и скончался не 18 сентября, а 11 ноября. Кроме того, перевернув страницы «Русского Архива», мы через две страницы («Русский Архив» печатается в две колонки) получаем опровержение ряда сообщений, причем это опровержение дается тем же анонимным автором. Оказывается, что дом графа Разумовского на Гороховом Поле цел.

«Краткая записка оставшимся в целости зданиям в Москве.

От Никитских до Тверских Ворот — восемь домов; от них вниз до Охотного Ряда — большая часть строений целы. Равно Малая Дмитровка, Кузнецкая, Лубянка, часть Сретенки, Мясницкая, Покровка, Воспитательный дом, Шереметева странноприимный дом, вся почти линия от Тверских до Покровских Ворот, также по левой стороне от них, около Харитония в Огородниках, на Гороховом Поле и дом графа Разумовского остались целы» (стр. 798).

Таким образом, сообщение о «матери Наполеона» взято Львом Толстым из источника, сомнительность которого была для него явна. Но оно корреспондировало с условным типом француза, данным Львом Толстым. Поэтому он в корректуре еще усиливает это место.

...«В том месте, где Наполеон думает, что он посвятит богоугодные заведения своей матери, после слов нет просто: à ma mère, надо прибавить думал он, как думали все французы, непременно приплетающие mère, и ma pauvre mère ко всем тем обстоятельствам жизни, где они хотели быть патетичны». (Н. Апостолов, Л. Толстой и П. Н. Бартенев, стр. 178. Толстой. Памятники творчества и жизни. Москва. 1920.)

Таким образом, все сообщение сводки чрезвычайно подозрительно. Я не проверил только первого, хотя и утверждение о морозе 18 сентября тоже чрезвычайно подозрительно.

Но это место необходимо Толстому потому, что сентиментальный француз, думающий о своей матери, уже был введен Толстым как протекающий образ и был закреплен в мыслях француженки m-elle Бурьен.

«M-elle Bourienne в этот вечер долго ходила по зимнему саду, тщетно ожидая кого-то и то улыбаясь кому-то, то до слез трогаясь воображаемыми словами pauvre mère, упрекающей ее за падение». (Толстой, «Война и Мир», т. I.)

Место, взятое из плохо проверенного источника, попало в полосу наибольшего благоприятствования.

Впоследствии, рассматривая появление Пьера на Бородине в штатском костюме, мы покажем, как исторический намек, опираясь на литературную традицию, развертывается в целую картину, причем данное положение реализуется до конца, и «штатский» человек оказывается «человеком в штатском».

Я должен сделать оговорку: «Война и Мир» для Толстого полная и безусловная удача, поэтому мы не судим Толстого и не упрекаем его в чем-нибудь, а только выясняем обстановку этой удачи. Но так как у нас часто относятся к литературным произведениям как к историческим источникам, не учитывая деформирующей силы художественной формы, всей механики творчества и первоначальной целевой установки

автора, то нужно дать несколько указаний на то, что историческим источником или средством для познания по истории двенадцатого года «Война и Мир» ни в коем случае служить не может.

В следующих главах я выясню, каким способом пользовался Толстой тем материалом, который у него был на руках.

Сейчас же я приведу только пример деформирующей силы определенного положения: Гете указывал (в разговоре с Эккерманом), что у Шекспира в «Макбете» леди Макбет оказывается одновременно и имеющей детей и не имеющей детей, причем один раз неимение детей нужно было для характеристики чудовищной женщины, а другой раз—имение детей нужно было для контраста.

...«Когда леди Макбет подбивает своего мужа на убийство, то говорит: «Я кормила грудью детей». В дальнейшем развитии действия, когда Макдуфф получает известие о гибели своей семьи, он с дикой яростью восклицает: «У него нет детей». Эти слова Макдуффа противоречат словам леди; но Шекспир об этом не заботился. Он заботился о силе каждой данной речи, и как леди Макбет, чтобы придать своим словам больший вес, должна была сказать: «Я кормила грудью детей», так ради той же цели Макдуфф говорит: «У него нет детей». Вообще не следует понимать в слишком уж точном и мелочном смысле слово поэта или мазок живописца». (Разговоры Гете, собранные Эккерманом, т. I, стр. 340.)

Точно так же у Льва Николаевича Толстого Наполеон, сидящий перед портретом римского короля (своего сына),—итальянец, и тот же Наполеон через несколько страниц, ждущий депутацию бояр, оказывается типичным французом.

Толстой, конечно, знал историю Наполеоновских войн, но ему нужно было доказать в описании Бородина, что Бородино было не похоже ни на какое другое сражение, и он дает изумление Наполеона перед упорным сопротивлением русских и перед тем, что так долго не решается судьба сражения.

...«Прежде, после двух-трех распоряжений, двух-трех фраз, скакали с поздравлениями и веселыми лицами маршалы и адъютанты, об'являя трофеями корпуса пленных, des faisceaux de drapeaux et d'aigles ennemis, и пушки и обозы, и Мюрат

просил только позволения пускать кавалерию для забрания обозов. Так было под Лоди, Маренго, Арколем, Иеной, Аустерлицем, Ваграмом, и так далее, и так далее. Теперь же что-то странное происходило с его войсками» (стр. 310—311.)

Вот как на это реагирует историк:

... «Под Иеной и Аустерлицем, действительно, почти так было; но так не было ни под Лоди, ни под Маренго, ни под Арколе, ни под Ваграмом.

Под Лоди дело ограничивалось простым форсированием переправы во время преследования армии Болье, не имевшим никаких решительных результатов.

...Под Ваграмом так же, ни множества трофеев, ни корпусов пленных взято не было... Что же касается до Маренго и Арколе, то под Маренго Наполеон с самого начала даже потерпел поражение, то-есть, после упорного боя, принужден был начать отступление...

... Наконец, сражение при Арколе было одним из самых неудачных в продолжение всей военной карьеры Бонапарта.

После сказанного нельзя не сделать предположения, что автор составил себе понятие о сражении при Арколе по банальным гравюрам, а о Лоди, Ваграме и Маренго по историческим... романам французских борзописцев. Мы далеки от того, чтобы упрекать в этом художника; но зачем же с такими познаниями напускать на себя вид человека в деле компетентного, судьи непогрешимого?» (А. Витмер, 1812 г. в «Войне и Мире», стр. 107—109.)

Конечно, возможно возражение, что Л. Н., не имея многих книг у себя дома, мог читать их в библиотеке; но вот выписки из его собственных сообщений о пребывании его в библиотеке.

1864 г. 2 декабря.

...«Сегодня утром я диктовал немного Тане, читал книги для романа и перебирал бумаги из Архива, которые, по протекции Сухотина, они приносят на дом. Но несмотря на богатство материалов здесь или именно вследствие этого богатства, я чувствую, что совсем расплываюсь, и ничего не пишется». (Письма графа Л. Н. Толстого к жене, стр. 29.)

1864 г. 7 декабря.

...«Я ужасно нравственно опустился эти последние три дня; ничего не делаю, даже не с‘ездил в библиотеку, куда мне нужно, ни к Каткову переговорить о романе, а с утра до вечера шляюсь по комнатам и уныло слушаю невеселые, 50-е шуточки Александра Михайловича». (Там же, стр. 33.)

1864 г. 8 декабря.

...«В Архиве почти нет ничего для меня полезного. А нынче поеду в Чертковскую и Румянцевскую библиотеки». (Там же, стр. 36.)

1864 г. 8 декабря.

«Завтра намерен итти в Румянцевскую публичную библиотеку, а вечером дома и писать». (Там же, стр. 39.)

1866 г. Вторник, 15 ноября.

«После кофе пошел в Румянцевский музей и сидел там до 3-х, читал масонские рукописи, очень интересные. И не могу тебе описать, почему чтение нагнало на меня тоску, от которой не мог избавиться весь день. Грустно то, что все эти масоны были дураки». (Там же, стр. 61.)

1866 г. Среда, 16 ноября.

«С утра пошел в Румянцевский музей. Чрезвычайно интересно то, что я нашел там. И второй день не вижу, как проходят там 3—4 часа. Это одно, чего мне, кроме Берсов, будет жалко в Москве». (Там же, стр. 62.)

Может быть, Лев Николаевич еще несколько раз был в библиотеке, но самое характерное в его цитатах это то, что Лев Николаевич не видит, «как проходят 3—4 часа». Это изумление перед четырехчасовым пребыванием два раза в библиотеке показывает, что для человека библиотека непривычна.

Относительно сбора материала Львом Николаевичем Толстым специально мы имеем одно показание:

«Во время печатания этого произведения Л. Н. заходил в Чертковскую библиотеку. Однажды он попросил меня разыскать все, что печаталось о Верещагине, который в двенадцатом году был отдан Растопчиным народу на растерзание как изменник. Помню, я собрал множество рассказов об этом событии, газетных и других, так что пришлось поставить особый стол для всей этой литературы. Л. Н. что-то долго не приходил, а когда пришел и я указал на литературу о Верещагине, то он сказал, что читать ее не будет, потому что в сумасшедшем доме встретил какого-то старика, очевидца этого события, и тот ему рассказал, как это происходило». (Из книги «О Толстом». Статья Н. П. Петерсона «Из записок бывшего учителя», стр. 261.)

Как видите, Лев Николаевич не использовал предложенный ему материал; может быть, это произошло оттого, что Лев Николаевич боялся изобилия материалов, как он писал:

«Именно вследствие этого богатства, я чувствую, что совсем расплываюсь, и ничего не пишется».

Материал, полученный Толстым от сумасшедшего старика, вероятно, остался им неиспользован или использован в вариантах. Нужно отметить, что вообще варианты у Льва Николаевича Толстого более похожи на его биографические источники и на литературные параллели, чем то, что он оставил в окончательном тексте своего романа.

Я сделаю небольшое отступление. Толстой пользовался не только не очень большим материалом, но он пользовался материалом традиционным.

Книжка И. Р. (Ильи Радожицкого) «Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 год» была источником и для Толстого и для Загоскина. Сегюр просто введен Загоскиным как действующее лицо. Взрыв Долоховым—Фигнером порохового погреба в Москве есть в книге Радожицкого, есть он у Рославлева, есть у Толстого, но только в забракованном варианте. Поэтому, может быть, изустный рассказ сумасшедшего старика и дал какие-то черты убийства Верещагина, которые мы не находим в романе, но то, что мы читаем в каноническом тексте, разлагается на тот печатный материал, который находился в руках у Толстого в его небольшой библиотеке. Даже деталь — синий цвет шубы Верещагина — могла быть взята Толстым у Загоскина. Работает же описание убийства Верещагина не историческим материалом, а художественным приемом, найденным Толстым во время писания романа и годящимся для обновления даже небольшого и ненового материала. Прием вытеснил у Толстого в романе материал, и материальность романа чем дальше, тем более иллюзорна. В следующих главах этот вопрос будет подробно разработан; остановимся также на выяснении, какую работу выполняют детали, вносимые Толстым в его произведение.

Легенда о большом количестве находившихся в распоряжении Толстого материалов об‘ясняется, во-первых, его собственным добросовестным заблуждением, потому что он думал, что пятьдесят названий — это много, а во-вторых — тем, что людям, пишущим о Толстом, хотелось снабдить его

всеми хорошими качествами, и они не столько его описывают, сколько хвалят, поэтому и возникают совершенно необоснованные легенды.

У Гусева в книге «Толстой в расцвете художественного гения» (стр. 48) есть следующее место:

«Драгоценнейшим материалом для своей работы считал Толстой газеты 1812 года. Он много хлопотал, чтобы где-либо достать их себе в деревню, но безуспешно. Наконец, в «Московских Ведомостях» появилось об'явление такого приблизительно содержания: «За 2000 рублей серебром желают приобрести полный экземпляр «Московских Ведомостей» со всеми к ним приложениями. Доставить на Тверскую в номера Галяшкина». Неизвестно, имело ли успех это об'явление».

Об'явления этого не существует; во всяком случае при перелистывании «Московских Ведомостей» оно не обнаружено, несмотря на то, что просмотрены и год, и два, и три.

Все утверждения Гусева основаны не на об'явлении, а на заметке об об'явлении, которую мы и приводим:

КАК ПИСАЛАСЬ «ВОЙНА И МИР»[1]

(Маленькая историческая справка).

Как внимательно относился Л. Н. Толстой к собиранию материала для романа «Война и Мир», можно судить отчасти по следующему случаю.

За год или за два до появления в свет этого романа было напечатано об'явление приблизительно следующего содержания:

«За 2000 рублей серебром желают приобрести полный экземпляр «Московских Ведомостей» со всеми к ним приложениями. Доставить на Тверскую в номера Галяшкина (теперь это дом Фальц-Фейна)».

Я показал тогда эту публикацию А. Н. Плещееву и от него я узнал, что «Ведомости» за 1812 год требуются для гр. Л. Н. Толстого, который пишет роман «Война и Мир». (Н. Бочаров, «Русское Слово» 1903, 28/VIII, № 237.)

Из него мы видим, что как-будто бы когда-то было какое-то об'явление (не найденное). Адрес указан фантастический: не Толстовский и не Берсовский; но самое главное, что у Тол-

[1]«Русское Слово», 1903 г. 28 августа, № 237.

стого до издания «Войны и Мира» не было двух тысяч серебром. Вот приблизительно характеристика его денежных дел:

1866 г. 27 сентября.

«Я занимаю 1000 рублей у Перфильева и потому буду богат и куплю и шапку, и сапоги, и все, что велишь. Знаю, что ты рассердишься на то, что я занимаю. Не сердись, я занимаю затем, чтобы это первое время зимы быть свободным и нетревожимым денежными делами, и с этой целью намерен эти деньги беречь как можно и иметь их только на то, чтобы знать, что есть деньги, чтобы расчесть невыгодного и лишнего человека и т. п.» (Письма Л. Н. Толстого к жене, стр. 52.)

Этих рабочих, которых нужно было рассчитывать на занятые деньги и которые получали в год (женщины) 12 рублей, их то все-таки было трудно рассчитать. Итак, у Толстого к этому времени таких денег не было, но если бы они и были, как они были у него после напечатания романа, то Лев Николаевич вряд ли бы направил их на покупку газеты, комплекты которой, очевидно, могли быть материалом не только для «Войны и Мира», но и для истории восемнадцатого — девятнадцатого веков.

Семнадцать тысяч книг Толстовской библиотеки — главным образом книги дареные, а при покупке книг разговор был другого характера. Приводим другой пример. Страхов покупает несколько книг и пишет следующее:

5 февраля 1876 г. Петербург.

«С книгами, которые я Вам раньше послал и теперь посылаю, Вы можете поступить, как угодно. Хотите — оставьте их у себя, хотите — пришлите назад. Юм французский стоит 1 р. 50 к.; Юм английский — 1 р.; Бэкон — 3 р. Из прежних книг, если Вам не нужен Григорьев (со всеми непристойностями, которые я, помню, вписал), то пришлите при случае». (Толстовский Музей, Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, 1870—1894 гг., стр. 76.)

Через десять дней Толстой возвращает ему книги:

15 февраля 1876 г. Ясная Поляна.

«Очень благодарен Вам, дорогой Николай Николаевич, за присылку книг, денег, статьи и за письмо. Юма французского я пришлю назад, если Вам не неудобно». (Толстовский Музей, Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, 1870—1894 гг., стр. 77.)

Таким образом, возвращение книги ценою в полтора рубля все-таки стоило двух строк письма.

В другой раз Толстой заказал Страхову пословицы Даля; к сожалению мы имеем не письма Толстого, а ответы Страхова. Вот первый отрывок:

17 октября 1877 г. Петербург.

«Пословицы оказываются делом нелегким. Даль продается по 15 рублей, так как все издание разошлось. Оказывается, что это одни из самых любимых русскими читателями книг и за бесценок их не купишь. Издание Заикина считается хорошею книгою; я заплатил в магазина 1 р. 50 к.». (Письма Н. Н. Страхова Л. Н. Толстому, стр. 133.)

Как видите, книга не была куплена, и только через два года она была прислана Толстому по более дешевой цене.

8 мая 1880 г. Петербург.

«Послал я Вам также Даля и Садовникова — простите, что поздно — ни за что не хотел платить за Даля 15 или 20 рублей и заплатил 3. Ваших денег у меня, впрочем, довольно; от Стасюлевича придется получить больше 50 (на этот раз немного), да вашей азбуки я продал на 12 рублей». (Письма Н. Н. Страхова Л. Н. Толстому, т. II, стр. 255.)

Таким образом, расход в 12 рублей заставил задержать высылку книг на два года, — это об'ясняется тем, что книга нужна была не непосредственно в работу; но и тогда, когда нужна была книга для написания романа, то разговор шел не о сотнях, а о десятках книг. Список книг, составленный Стасовым для Толстого, как материал к истории Петра Великого, обнимает всего тридцать одно название, причем очень скоро Толстой получает от своих музейных друзей полужалобу.

...«Стасов немного сетует на вас, но не велел мне сказывать, а все-таки просил написать, что будто бы Пыпин мне говорил о трех любопытных для Вас вещах...

...«Вы видите, как усердно гробокопатели (такое у нас им прозвище) предлагают Вам свои услуги; предчувствую, что они останутся Вами недовольны — Вы не так цените их сокровища, как они желали бы». (Толстовский Музей, Письма Н. Н. Страхова Л. Н. Толстому, 1878 г., т. II, стр. 178—9.)

Таким образом, мы видим, что «Война и Мир» основана на сравнительно небольшом историческом материале, причем этот материал своеобразно подобран.

Мое мнение, что Л. Н. нужен был прежде всего материал для оспаривания. Ему нужен был человек, точка зрения которого на описываемую эпоху вызвала бы у него протест; на это мельком указал Бороздин:

... «Для Толстого Тьер имел значение по некоторым фактическим данным, самое же освещение событий французским историком, быть может, являлось одним из побудительных мотивов к тому, чтобы взглянуть на эти события прямо с противоположной точки зрения». («Минувшие годы» № 10, октябрь, СПБ. 1908 г., стр. 87.)

Михайловский - Данилевский — официальный лгун — был удобней как раздражитель, чем умный Богданович; может быть, Толстого оттолкнул от Богдановича, с другой стороны, его некоторый скептицизм. Толстой по тематике своей был реставратором. Восприятие войны двенадцатого года человеком, писавшим книгу в 1856 году, было для Толстого слишком современно; не годилось для него и восприятие 20-х годов, потому что оно слишком реально. Нужны были 40-е годы, годы наибольшей героизации событий, время написания книг о войне Михайловским - Данилевским.

Мнение об исторической достоверности «Войны и Мира» современниками не поддерживалось. Обыкновенно при этом приводят Норова; но Норов был очень умный человек, который обиделся на Толстого стилистически. Ему показался неправильным реалистический подход к героям двенадцатого года [1].

«Эти сословия в романе графа Толстого суть не что иное, как Панургово стадо, где по мановению Растопчина плешивые вельможи и старцы и беззубые сенаторы, проводившие жизнь с шутами и за бостоном, поддакивали и подписывали все, что им укажут...

...Еще остались дети тех плешивых старцев-вельмож и беззубых сенаторов, которые также теперь беззубые и плешивые, но которые помнят, как их отцы и матери посылали их еще юношами одного на смену другого, когда первый возвращался на костылях или совсем не возвращался, положив свои кости на поле битвы, и как их отцы, хотя плешивые, но помнившие Румянцева и Суворова, сами становились во главе ополчений. Их имена остались еще и

---

[1] Это же место было отмечено князем Вяземским в его статье «Воспоминание о Бородинской битве».

останутся в наших летописях в укор их насмешникам. Там можно также прочесть, что делали тогда толстые откупщики и узкобородые с желтым лицом головы, кричавшие: и жизнь и имущество возьми, Ваше Величество!» (А. С. Норов, Война и мир, 1805-1812, стр. 33—34.)

Норов обиделся, так сказать, жанрово; для него нужно было писать так, как говорил Константин Леонтьев.

...«Во времена Аустерлица и Березины—в чужую душу слишком далеко не углублялись (разве из практических целей, чтобы кто-нибудь «не подвел бы»); если замечали у кого-нибудь прыщик, то в созерцание его, вероятно, не находили долгом современности погружаться; Гоголя еще не читали; и сам Гоголь (т.-е. малороссийский средней руки дворянин) не стал бы и писать тогда о «Шинели» и «Мертвых душах», а, вероятно, писал бы оды о каких-нибудь «народовержущих волканах» и, познакомившись с генералом Бетрищевым, не стал бы описывать подробно, как он «умывается», а воспел бы его храбрость в стихах...

В этом роде:

«Восстань, бесстрашный вождь, Бетрищев благородный».

...Не этот ли неверный «общий дух», не эта ли, слишком для той эпохи изукрашенная и тяжелая в своих тонкостях «манера» Толстого возбудила покойного Норова, как очевидца, возразить Толстому так резко и... вместе с тем так слабо? Не умели русские люди того времени ни так отчетливо мыслить, ни так картинно воображать, ни так внимательно наблюдать, как умеем мы. Силой воли, силой страсти, силой чувства, силой веры—этим всем они, вероятно, превосходили нас, но где же им было бы равняться и бороться с нами в области мысли и наблюдения!» (К. Леонтьев, О романах Л. Н. Толстого. Анализ, стиль, веяние. СПБ. 1911 г., стр. 107.)

Гораздо серьезней возразил Толстому князь Вяземский, которому чрезвычайно не понравился следующий кусок Толстого:

... «А в каком виде представлен Император Александр в те дни, когда Он появился среди народа своего и вызвал его ополчиться на смертную борьбу с могущественным и счастливым неприятелем? Автор выводит его перед народ—глазам своим не веришь, читая это—с «бисквитом, который Он доедал»:—«Обломок бисквита, довольно большой, который держал Государь в руке, отломившись, упал на землю. Кучер в поддевке (заметьте, какая точность во всех подробностях) поднял его. Толпа бросилась к кучеру отбивать у

него бисквит. Государь подметил это и (вероятно, желая позабавиться) велел подать себе тарелку с бисквитами и стал кидать их с балкона»...

Если отнести эту сцену к истории, то можно сказать утвердительно, что это—басня; если отнести ее к вымыслам, то можно сказать, что тут еще более исторической неверности и несообразности. Этот рассказ изобличает совершенное незнание личности Александра I. Он был так размерен, расчетлив во всех своих действиях и малейших движениях, так опасался всего, что могло показаться смешным или неловким, так был во всем обдуман, чинен, представителен, оглядлив до мелочи и щепетливости, что, вероятно, Он скорее бросился бы в воду, нежели бы решился показаться перед народом, и еще в такие торжественные и замечательные дни, доедающим бисквит. Мало того, он еще забавляется киданием с балкона Кремлевского дворца бисквитов в народ,—точь-в-точь как в праздничный день старосветский помещик кидает на драку пряники деревенским мальчишкам! Это опять карикатура, во всяком случае совершенно неуместная и несогласная с истиной. А и сама карикатура—остроумная и художественная—должна быть правдоподобна. Достоинство истории и достоинство народного чувства, в самом пылу сильнейшего его возбуждения и напряжения, ничего подобного допускать не могут. История и разумные условия вымысла тут равно нарушены...

Не идем далее: довольно и этой выписки, чтобы вполне выразить мнение наше». (Кн. П. А. Вяземский, Воспоминания о 1812 годе. «Русский Архив», 1869 года, выпуск I, стр. 192.)

В раздражении Вяземского есть какое-то ощущение оскорбленного хорошего тона; причем, в заметке Вяземского мы видим личный вызов Толстому. Вяземский требует доказательств. Толстой утверждал, что «везде, где у него есть исторические лица», он пишет на основании документов. Толстой вызов принял и написал Бартеневу, в журнале которого «Русский Архив» была напечатана цитируемая статья Вяземского, следующее письмо:

1869 г. февраль 6. Я. П. *(На отдельном листке.)*

...«В напечатанном в № Р. А. мною об'яснении было сказано, что везде, где в книге моей действуют и говорят исторические лица, я[1] не выдумывал, а пользовался[2]

[1] Зачеркнуто: «нигде».
[2] Зачеркнуто: «памятниками».

известными материалами. Князь Вяземский в № Р. А.[1] обвиняет меня в клевете на характер И [императора] А [Александра] и в несправедливости моего показания. Анекдот о бросании бисквитов народу почерпнут мною из книги Глинки, посвященной Государю Императору, страница такая то». (Толстой и о Толстом, сборник 4, Москва, Издание «Толстовского Музея», 1928. Письма Л. Н. Толстого к П. И. Бартеневу. Прим. М. Цявловского).

Затем идет второе письмо:

(1869. Конец февраля—начало марта. Я. П.)

«Петр Иванович! Сделайте милость, напечатайте в «Р. А.» мою заметку. Мне необходимо это. Ежели вы не нашли того места, то только потому, что не брали в руки. Записки Глинки посвящены (кажется, Государю) 1-го ратника ополчения. Пожалуйста, найдите и отпечатайте. У меня на беду и досаду пропала моя книга Глинки. И напечатайте поскорее, чтобы вышло вместе с 5-ым томом. В №... К [князь] В [Вяземский] не указывает, на основании каких материалов или соображений сомневается в справедливости описанного мною случая о бросании Государем бисквитов народу. Случай этот описан там-то так-то. Пожалуйста, любезный Петр Иванович, потрудитесь взглянуть в книгу эту и напечатайте это. Очень меня обяжете. Ваш Л. Толстой».

Ответ Бартенева на это письмо не сохранился. Переписка обрывается, потому что места о бисквитах у первого ратника московского ополчения—Сергея Глинки — нет, Толстой сделал то, что в типографском деле называется «подхватить строку», когда одна фраза составляется из двух. А есть у Глинки вот что:

... «Благовест продолжался. Государь двинулся с Красного крыльца. Двинулось и общее усердие. На каждой ступени, со всех сторон, сотни торопливых рук хватали за ноги Государя, за полы мундира, целовали и орошали их слезами. Один кричал: Отец! Отец наш! Дай нам на себя наглядеться! Другие восклицали: Отец наш! Ангел наш!

...« На Красном крыльце во время государева обеда происходил непрерывный прилив и отлив народа. Государь обращал взоры к зрителям и дарил их улыбкою приветливою. Июля 13-го, Петр Степанович Валуев, находясь в числе приглашенных к обеду и привыкнув говорить с Государем

[1] Зачеркнуто: «на основании личного знания характера императора Александра».

голосом сердечным, сказал: «Государь, смотря на вас и на народ взирающий на вас, скажешь, что общий отец великого семейства народа русского вкушает хлеб-соль среди радостной, родной своей семьи». (Сергей Глинка, Записки о 1812 годе, стр. 14—15.)

Вкушение хлеба-соли реализировалось в следующую картину:

...«За обедом государя Валуев сказал, оглянувшись в окно:

— Народ все еще надеется увидать ваше величество.

Обед уже кончился, государь встал, доедая бисквит, и вышел на балкон. Народ, с Петей в середине, бросился к балкону.

— Ангел, батюшка! Ура! Отец!..—кричали народ и Петя; и опять бабы и некоторые мужчины послабее, в том числе и Петя, заплакали от счастья.

Довольно большой обломок бисквита, который держал в руке государь, отломившись, упал на перила балкона, с перил на землю. Ближе всех стоявший кучер в поддевке бросился к этому кусочку бисквита и схватил его. Некоторые из толпы бросились к кучеру. Заметив это, государь велел подать себе тарелку с бисквитами и стал кидать бисквиты с балкона. Глаза Пети налились кровью, опасность быть задавленным еще более возбуждала его, он бросился на бисквиты. Он не знал зачем, но нужно было взять один бисквит из рук царя и нужно было не поддаться. Он бросился и сбил с ног старушку, ловившую бисквит. Но старушка не считала себя побежденною, хотя и лежала на земле: старушка ловила бисквиты и не попадала руками. Петя коленкой отбил ее руку, схватил бисквит и, как будто боясь опоздать, опять закричал: «ура!» уже охрипшим голосом». (Толстой, Война и Мир, т. III, стр. 74.)

Толстой ссылается на место правильно, потому что в этом месте есть «государев обед» и есть «хлеб-соль», и поэтому не нужно искать какого-то другого места. Если бы оно было, то издатель «Русского Архива», в то время интересовавшийся двенадцатым годом, несомненно нашел бы; но этой сцены даже произойти не могло, потому что Александр I в момент наступления Наполеона не был популярен.

...«На слова Нелединского, который смотрел довольно мрачно на совершающиеся события и на последствия, которыми могут они отозваться в России, великая княгиня с живостью возразила ему: «Но однакоже брат мой любим народом».—

«Конечно, — отвечал Нелединский, — государь любим, но любовь поддерживается доверием, а доверие рождается от успехов». (Соб. соч. кн. П. А. Вяземского, т. VIII, стр. 70.)

Об этом же свидетельствуют и записки графа Ф. В. Растопчина:

...«Простой же народ казался равнодушным, потому что не допускал и мысли о том, что Наполеону можно будет войти в Москву». (Записки гр. Растопчина о 1812 г. «Русская Старина» 1889 г., т. 64, стр. 670.)

Конечно, эта непопулярность увеличилась после сдачи Москвы, и самый факт назначения Кутузова указывает на подорванность положения Александра I. Но для Толстого Александр I — идеальный монарх, что равняется идеальному помещику; и он вчитал в сцену собственное свое содержание, разгадал исторический материал на основании собственного своего социального словаря, реализовав фразу Сергея Глинки о вкушении хлеба-соли по-помещичьи. Вяземский, знающий настоящее положение дела, оттого и говорит в таком резком тоне.

«Война и Мир» вообще носит на себе черты одновременно модернизирования героев и их архаического идеализирования.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЧТО ИМЕННО ВЫТЕСНЯЛ ТОЛСТОЙ

ИЗ ТОГО МАТЕРИАЛА, КОТОРЫЙ БЫЛ У НЕГО НА РУКАХ

Материал, находившийся во время написания «Войны и Мира» на руках Л. Н. Толстого, подвергался им систематической обработке.

Через несколько недель работы над Толстым и его источниками вы, почти наверное, можете указать, какой кусок из источника может войти в произведение Толстого и какой нет. Это делается не только на основании знания Толстовского текста.

Мне пришлось просмотреть Толстовские материалы и сделать пометки для себя; причем я выписывал тот материал, на который Толстой обратил внимание, а не только тот, который он должен был выписывать. Эти пометки при проверке в Толстовском музее с пометками Толстого в очень большой степени оказались совпадающими.

Наиболее простой вопрос — об использовании Толстым материала — это вопрос о системе пропусков. При разрешении этого вопроса мы одновременно сталкиваемся с вопросом о том, как воспринимался двенадцатый год до Толстого. Я напомню читателю отношение к двенадцатому году и к Кутузову — Пушкина. Пушкин высказывался о Кутузове вскользь, он выдвигал другую фамилию — Барклая-де-Толли в следующих стихах:

О вождь несчастливый! Суров был жребий твой:
Все в жертву ты принес земле тебе чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчаньи шел один ты с мыслию великой... и т. д.
И тот, чей острый ум тебя и постигал,
В угоду им, тебя лукаво порицал...

Пушкину пришлось в этих стихах самому сделать пропуск, который восстанавливается Анненковым следующим образом:

Вотще! Преемник твой стяжал успех, сокрытый
В главе твоей,— а ты, не признанный, забытый
Виновник торжества, почил,— и в смертный час
С презреньем, может быть, воспоминал об нас.

(Соч. и письма А. С. Пушкина. Изд. „Просвещение“, т. II, стр. 551.)

Официальная критика отметила резкими выпадами заметку Пушкина, и ему пришлось извиниться в «Современнике», в своей известной заметке «Об‘яснение» (о стихотворении «Полководец».[1]

Программу отношений к двенадцатому году писателя из дворян 20-х годов мы имеем в зашифрованных строфах Пушкина, которые восстановлены Морозовым в отрывке из десятой главы «Евгения Онегина» (политической), сожженой 19 октября 1830 года и записанной особым шифром. До нас дошли только первые четверостишия 14 строф, черновики двух строф и черновое начало строфы, которою, по всей вероятности, Пушкин и прервал писание десятой главы:

I

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.

II

Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Бонапартова шатра.

III

Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?

IV

И чем жирнее, тем тяжеле;
О, русский глупый наш народ,
Скажи, зачем ты в самом деле
. . . .

[1] Ср. «Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово», 1827 — 1832. Академия Наук, Труды Пушкинского дома, выпуск XLVIII, 1927, г. стр. 128.

Здесь мы не видим никакого увлечения Александром; правда, здесь образ Александра, плешивый, несколько анахроничен; т.-е. в 12 год передвинут более старый Александр, но пораженчество Пушкина сказывается здесь совершенно ясно в словах: «О, русский глупый наш народ, зачем же ты на самом деле...» Пушкин определенно воспринимает двенадцатый год как поражение. Как поражение воспринимает двенадцатый год и современник Л. Н. Толстого, но придворный дворянин более высшего класса, чем Лев Николаевич, — Алексей Толстой.

64

Царь Александер первый
Настал ему взамен.
В нем слабы были нервы,
Но был он джентельмен.

65

Когда на нас в азарте
Стотысячную рать
Надвинул Бонапарте,
Он начал отступать.

66

Казалося, ну, ниже
Нельзя сидеть в дыре,
Ан, глядь, мы уж в Париже,
С Louis le Désiré.

(«Русская Старина» 1883 г., ноябрь, стр. 493.)

Двенадцатый год был темой официальной, и легенда о том, что Бородино было победой, вернее степень доверия к этой легенде, явилась как бы реактивом для определения почтительности граждан. Сами же государи при путешествиях заграницу называли себя, когда они путешествовали инкогнито, графами Бородинскими.

Известные реакционные статьи В. Белинского были написаны на две темы: одна содержит анализ критических статей Менцеля, а другая — посвящена Бородинской годовщине и воспринимает Бородинскую годовщину как победу; причем в комплекс Бородинской победы попадает и прославление самодержавия. Любопытно, что эти две, почти одновременно написанные, статьи имели разную судьбу. Твердо запомни-

лась статья о Бородинском сражении, а статья о Менцеле почти позабыта, и мы не видим, как на нее реагировали. Разность резонанса этих статей об‘ясняется чрезвычайной точностью значения отношений к Бородинскому сражению.

Конечно, мы можем сказать другое, что у Пушкина есть стихотворение «Бородинская годовщина», но это стихотворение относится к разряду, называемому князем Вяземским «шинельных», причем тут «шинельность» нужно понимать не в смысле простой солдатской службы, а гораздо более обидно — это хождение по домам в шинели с выпрашиванием подачек.

Любопытно отметить, что «Бородинская годовщина» Пушкина связана «со взятием Варшавы», и вообще в литературном сознании эпохи Польша и Франция находились в паре. Я думаю, что это об‘ясняется не только тем, что поляки сочувствовали Наполеону. Польский вопрос издавна решал судьбу национализма в России; на польском вопросе потерял свою популярность Герцен, и раскололось так называемое либеральное русское общество. Пара — Польша и Франция—встречаются в стихах в первом номере «Сына Отечества».

...«Их сочинил покойный Иван Афанасьевич Кованько, лишь только пришло известие о взятии Москвы. Они оканчивались следующим куплетом:

Побывать в столице—слава,
Но умеем мы отмщать:
Знает крепко то Варшава,
И Париж то будет знать.

(Н. И. Греч, Записки о моей жизни. СПБ., изд. Суворина.)

Не менее важно отметить отношение к польскому вопросу и Толстого.

...«Что вы думаете о польских делах? Ведь дело-то плохо! Не придется ли нам с вами и с Борисовым снимать меч с заржавленного гвоздя?» (А. Фет, Мои воспоминания, ч. I, стр. 418.)

Тут все интересно, начиная с терминологии. Почему меч? Для артиллериста меч не такой обязательный символ, а вернее это именно символ и символ условный, а не оружие. Может быть, можно определить общественное настроение, в кото-

ром была создана «Война и Мир», как настроение, создавшееся после польского восстания; причем Л. Н. Толстой, уже переживший послекрымское похмелье, разочарованно теперь реставрирует те представления, которые были разрушены Крымом.

Война двенадцатого года — это как бы крымская кампания, но удачно совершенная, причем Толстой сам сознает сказочность своего пересказа. В своей «Яснополянской школе», которую Борис Михайловнч Эйхенбаум чрезвычайно удачно определил как литературную школу Толстого, Л. Н. так рассказал будущее содержание своего романа «Война и Мир»:

«Немец, мой товарищ, стоял в комнате. — А, и вы на нас, — сказал ему Петька (лучший рассказчик). — Ну, молчи! — закричали другие. Отступление наших войск мучило так слушателей, что со всех сторон срашивали об'яснений — зачем? И ругали Кутузова и Барклая: — Плох твой Кутузов. — Ты погоди, — говорил другой. — Да что ж он сдался? — спрашивал третий. Когда пришла Бородинская битва и когда в конце ее я должен был сказать, что мы все-таки не победили, мне жалко было их: видно было, что я страшный удар наношу всем. — Хотя не наша, да и не ихняя взяла! — Как пришел Наполеон в Москву и ждал ключей и поклонов, все загрохотали от сознания непокоримости. Пожар Москвы, разумеется, одобрен. Наконец наступило торжество — отступление. — Как он вышел из Москвы, тут Кутузов погнал его и пошел бить, — сказал я. — Окорячил его! — поправил меня Федька, который, весь красный, сидел против меня и от волнения корчил свои тоненькие черные пальцы. Это его привычка. Как только он сказал это, так вся комната застонала от гордого восторга. Какого-то маленького придушили сзади, и никто не замечал. — Так-то лучше! Вот те и ключи, и т. п. — Потом я продолжал, как мы погнали француза. Больно было ученикам слышать, что кто-то опоздал на Березине, и мы упустили его; Петька даже крикнул: — Я бы его расстрелял, зачем он опоздал. — Потом немножко мы пожалели даже мерзлых французов. Потом, как перешли мы границу, и немцы, что против нас были, повернули за нас, кто-то вспомнил немца, стоявшего в комнате. — А, вы так-то? то на нас, а как сила не берет, так с нами? — и вдруг все поднялись и начали ухать на немца так, что гул на улице был слышен. Когда они успокоились, я продолжал, как мы проводили Наполеона до Парижа, посадили настоящего короля, торжествовали, пировали, только воспоминание крымской войны

испортило нам все дело.—Погоди же ты,—проговорил Петька, потрясая кулаками, — дай я вырасту, я же им задам! Попался бы нам теперь Шевардинский редут или Малахов курган, мы бы его отбили...—Больше не будет? — Нет.— И все полетели под лестницу, кто обещал задать французу, кто укорял немца, кто повторял, как Кутузов его окорячил. «Sie haben ganz russisch erzählt» (вы совершенно по-русски рассказывали),— сказал мне вечером немец, на которого ухали,—«Вы бы послушали, как у нас рассказывают эту историю. Вы ничего не сказали о немецких битвах за свободу!» (Sie haben nichts gesagt von den deutschen Freiheits Kämpfen.)

Я совершенно согласился с ним, что мой рассказ не была история, а сказка, возбуждающая народное чувство». (Л. Толстой. Собр. сочин., т. XIII, ред. Бирюкова, «Яснополянская школа» за ноябрь и декабрь месяцы.)

Теперь, сделавши эти предварительные замечания, перейдем к вопросу, что вытеснил Толстой из своих материалов.

«Хамово отродье» — картина русского быта — Ушакова Василия Апполоновича, — так назывался рассказ о двенадцатом годе, напечатанный в третьем томе «Сто русских литераторов». Содержание этой повести следующее: дворовый воспитывается вместе с барчуком, переносит от него всякие издевательства, но не ссорится с ним, потом становится его лакеем, поворовывает у барина, становится чиновником, богатеет, дает взаймы барину деньги, в результате, покупает барское имение, оставляя своего друга барина пожизненным управляющим без отчета. После этого, он держит в своем имении свою бывшую барыню, но крестьяне бунтуют против помещика из своей среды, и подьячий вынужден просить ее уехать из своего имения. Дворянка уезжает, увозя с собой икону божьей матери и проклинает Вязьмина. В исполнение этого самого проклятья сын Вязьмина при вступлении Наполеона в Россию переходит на сторону наполеоновских войск и гибнет при отступлении.

Слова «хам», «хамское», «хамово» чрезвычайно пестрят в этом отрывке. Любопытно отметить, что среди действующих лиц Ушаковского рассказа есть Шельме, тот самый Обер-Шельме — торговец модными товарами, который попал к Толстому в «Войну и Мир»; правда, вероятно, не из этого источника, а из Жихарева. Из рассказа, может быть, Толстому

неизвестного, мы видим возможность такого представления русского разночинца — он во время двенадцатого года переходит на сторону Наполеона, и вообще видим, что классовый вопрос и вопрос о новых соперниках дворянства в двенадцатом году в России чрезвычайно обострился.

Возьмем Рафаила Зотова, роман которого «Леонид или некоторые черты из жизни Наполона» находился в библиотеке Толстого. Основной герой — Леонид-дворянин, но дворянин, только-что получивший дворянство. Дворянин из семинаристов. Его так и ругают «семинаристом».

«А угрюмый твой товарищ, которого мы прозвали семинаристом» (стр. 4). — Этот Леонид, участвуя в сражениях, потом поставлен перед необходимостью перейти на сторону Наполеона и, правда, не сражается против русских, но находится у Наполеона во французской форме в Москве. Леонид кончает тем, что он становится бароном, графом, и эта его выслуга утверждается, наконец, Бурбонами.

Таким образом, и для Рафаила Зотова, который не был крупным писателем и поэтому сам не мог придумать ничего чрезвычайно изысканного или необыкновенного, — и для Рафаила Зотова вторжение Наполеона в Россию было моментом, обостряющим взаимоотношения разночинца с дворянством, возбуждающим какие-то надежды разночница на выдвижение.

Как известно, у Л. Н. в «Войне и Мире» разночинцев как-будто совсем нет. На это указывали Льву Николаевичу уже его современники. Например, у Анненкова:

... «И в самом деле, почти непонятно, как мог автор освободить себя от необходимости показать рядом со своим обществом присутствие элемента разночинцев, получавшего все большее и большее значение в жизни». (П. Анненков, Воспоминания, стр. 383.)

Эти упреки (на которые впоследствии Л. Н. Толстой ответил и довольно резко) были в то время всеобщи. Приведу еще одну цитату:

«Между всеми этими личностями, прилично говорящими пустяки или неприлично болтающими свысока о «важных материях», мы не нашли ни одного человека, который мог бы

назваться представителем тогдашней русской интеллигенции».[1] (Пятковский. «Неделя» 1868 г.).

У Льва Николаевича на это был ответ и ответ очень резкий, что он этих разночинцев не знает и знать не хочет, но их знала история, и впоследствии мы увидим, что знал о них и Л. Н. Толстой, но они существуют в его произведении в скрытом виде. Разночинцы — это Сперанский и Наполеон. Художественно они связаны у Л. Н. тем, что у обоих белые руки; причем белые руки не заслуженные, не дворянские. Эти белые руки сравнены с белым цветом лица мужика или солдата, который долго сидел в комнате.

Сперанский в эпоху Толстого был совершенно злободневная фигура и злободневная именно как разночинец. На появление книги барона Корфа о Сперанском, по которой и построен образ Сперанского у Толстого, Чернышевский написал рецензию, в которой подчеркивает поповство, разночинство Сперанского.

«Сперанский был сын священника, как известно читателю, по-просту сказать — был бурсак или попович. Барон Корф справедливо выставляет очень рельефным образом это обстоятельство, которому принадлежало значительное влияние на судьбу Сперанского». (Н. Г. Чернышевский, Собр. соч., т. VIII, стр. 294.)

Но куски, которые вырезывает Чернышевский из книги барона Корфа, конечно, совершенно другие, чем куски, взятые Львом Николаевичем Толстым. Чернышевский берет героического Сперанского и рассказывает о том, как Сперанский явился на вызов своего начальника-самодура не в форме, а в роскошном фраке серого цвета с кружевными манжетами, чем поразил самодура, который ждал увидеть трепещущего подьячего, а не элегантного молодого человека:

...«Сперанский много наслышался о грубом и запальчивом нраве нового своего начальника...

Обольянинов, когда Сперанский вошел, сидел за письменным столом, спиною к двери. Через минуту он оборотился и, так сказать, остолбенел. Вместо неуклюжего, раболепного, трепещущего подьячего, какого он, вероятно, думал увидеть, перед ним стоял молодой человек очень приятной наружности,

---

[1] Отзыв этот нашел сочувственный отклик в журнале «Библиограф» 1869 г., № 1, стр. 9-10 (не отмечено в толстовской библиографии).

в положении почтительном, но без всякого признака робости или замешательства и при том, что, кажется, всего более его поразило, не в обычном мундире, а во французском кафтане из серого грограна, в чулках и башмаках, в жабо и манжетах, и завитках и пудре, — словом в самом изысканном наряде того времени... Сперанский угадал, чем взять над этой грубою натурою. Обольянинов тотчас предложил ему стул и вообще обошелся с ним так вежливо, как только умел». (Барон М. Корф, Жизнь графа Сперанского, т. I, стр.52-53.)

Чернышевский в скрытом виде утверждает, что в основе тенденция деятельности Сперанского была революционна:

...«Приверженцы политических людей, при жизни их, стараются обыкновенно выставлять за клевету мнение противной партии о целях и стремлениях деятелей, защищаемых ими. Сами эти люди часто принуждены бывают говорить в таком же смысле. Оно так и бывает нужно, чтобы успокоить общество и выигрывать время. Но очень часто историк находит, что государственный человек действительно имел отчасти те стремления, какие приписывались ему врагами. Сперанского называли его враги революционером. Характеристика, взятая нами из книги барона Корфа, показывает, что этот отзыв врагов Сперанского не был совершенно безосновательною клеветою». (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 300.)

Сперанский и Наполеон связаны у Толстого одинаковостью акцента, одинаковостью черты, которая их соединяет. Для современника они были связаны ближе: и Сперанский и Наполеон (хотя Наполеон был из каких-то полудворян) были выскочками, людьми нового класса; и читая отрывок из мемуаров Сперанского, просто находишь совпадения с мемуарами Наполеона.

В Наполеоне тогдашних русских дворян — правящий класс — поражала незаконность власти, причем вопрос о цареубийстве был поставлен при Наполеоне на повестку дня.

Весь «Леонид» Зотова основан на том, что Леонид работает при Наполеоне, спасая Наполеона от кинжалов немецких революционеров, так как личность миропомазанника — священна. Встретившись до этого с Наполеоном в бою, Леонид не решается в него стрелять по той же причине.

У однорукого генерала Скобелева, который приготовил для Белинского сухой каземат в Петропавловской крепости

и был вообще добряком, у этого военного писателя, в его переписке «Инвалидов» есть такое место: во время Бородина пленный генерал под страхом штыков об‘являет себя неаполитанским королем. На это Скобелев дает сентенцию о том, что для русского солдата каждый венценосец священен. Положение действительно было трудно. Мюрат в качестве миропомазанника выглядел не традиционно. Но мысль об убийстве Наполеона в то же время являлась революционной и по методу и по об‘екту. Сознание охранителей двоилось.

Мысль об убийстве Наполеона проходит через записки Радожицкого; попадается в снах Фигнера; она является темой неоконченного романа из наполеоновской эпохи Пушкина, где Полина хотела быть Шарлотой Корде. Причем русский цензор зачеркивает эту попытку на убийство, хотя бы и незаконного, но царя.

Приведу отрывок из статьи С. Венгерова: «Русская Шарлота Корде»:

«Когда Наполеон стал направляться к Москве, Полина с родными уехала в деревню. Здесь она лихорадочно, с отчаянием глубочайшим следила за ходом военных событий, т.-е. за наступательным движением Наполеона, которое ей, как и всем, казалось не губительным, а победоносным. Целые часы проводила она, облокотясь на карту России, рассчитывая версты, следуя за быстрым движением войск. Странные мысли приходили ей в голову. И вот она однажды об‘явила подруге «о своем намерении уйти из деревни, явиться в лагерь».

Так печаталось до сих пор подчеркнутое место...

...В подлинном пушкинском тексте Полина не в русский лагерь вздумала отправиться, в подлинном тексте она вот что собиралась сделать (подчеркиваю исчезнувшее из существующих изданий):

...«Однажды Полина мне об‘явила о своем намерении уйти из деревни, явиться во французский лагерь, добраться до Наполеона и там убить его из своих рук». (Собр. соч. Пушкина, изд. Брокгауз и Ефрон, т. IV, СПБ. 1910, стр. 558-9.)

Эта линия несовершонных цареубийств, как мы знаем, заканчивается тоже несовершонной попыткой Пьера Безухова, но колебания по этому вопросу об‘ясняются нелегитимистской природой власти Наполеона Бонапарте.

Наиболее подробный анализ противоречия мы видим в одной книге, написанной по свежему следу двенадцатаго года:

...«Никакая история не представляет нам другого примера, чтоб кто-нибудь, даже из величайших государей, мог столь самовластно располагать чужими коронами и венчать ими других по собственному своему произволу.

В самом деле, что может быть непостижимее вопроса, может ли тот раздавать короны, кто сам не имеет оной? Бонапарте в личности своей заключает только все государственные титла, начиная от простого земледельца до фельдмаршала или верховного консула. Но императорское достоинство или власть на королевские дипломы и привилегии не входят в круг государственных достоинств к его особе: следовательно, все действия, которые клонятся к личности одних только монархов, не принадлежат ему. Они должны разрушиться по законам политики, принятым всеми державами: они должны быть признаваемы ничтожными, потому что не принадлежат к сфере действий, предписываемых чистою философиею». (Дух Наполеона Бонапарте или Истинное и беспристрастное изображение всех его свойств, ч. II, СПБ. 1813 г.)

И Толстой совершенно точно и строго последовал за этой схемой, всюду, шаг за шагом оспаривая титулы принцев и королей, окружающих Наполеона, и не просто как титулы, а как титулы, им незаконно принадлежащие.

В этом отношении Л. Н. тоже оказался архаичным по своей природе. Это является причиной того, что весь Наполеон и вся французская линия не рассказаны Толстым, а пересказаны; пересказаны принципом остранения, так что стилистическое построение мест с французами иное, чем стилистическое построение мест с русскими. Сегодняшний читатель ощущает в этом чисто художественный прием. Особенно заметна двойственность отношений Толстого к власти Наполеона и Александра I там, где оба императора встречаются вместе и где реагирует на них простой и квадратный Николай Ростов. Но в вопросе о легитимизме Толстого мы установили, что этот его легитимизм является как бы реставрацией отношений к Наполеону известной части общества. В отношении же идеализации двенадцатого года Толстой, во всяком случае, с современниками двенадцатого года имеет

мало общего. У нас сохранился план драмы из эпохи двенадцатого года, написанный Грибоедовым.

Я привожу его конец:

«СЕЛО ПОД МОСКВОЙ.

Сельская картина. Является М. (ополченец-офицер из крепостных). Всеобщее ополчение без дворян (трусость служителей правительства — выставлена или нет, как случится).

Отделение III.

Зимние сцены преследования неприятеля и ужасных смертей. Истязание R. и поседелого воина. Сей юноша показывает пример, и оба умирают героями. Подвиги М. Множество других сцен.

Эпилог.

ВИЛЬНА.

Отличия, искательства; вся поэзия великих подвигов исчезает. М. в пренебрежении у военноначальников. Отпускается во-свояси с отеческими наставлениями к покорности и послушанию.

СЕЛО ИЛИ РАЗВАЛИНЫ МОСКВЫ.

Прежние мерзости. М. возвращается под палку господина, который хочет ему сбрить бороду. Отчаяние... самоубийство». (А. Грибоедов, т. I, стр. 262, Акад. Библиот. Рус. Писат.)

Вот этот самый план и является как бы планом того, что выбрасывал Лев Николаевич Толстой из своей книги. Грибоедов говорит: 1) ополчение без дворян, 2) недовольство крестьян, 3) злоупотребление в ополчении, 4) истязание французов и прочие мерзости.

У Льва Николаевича все это до такой степени вытеснено, что, вообще, появление декабристов или настроение декабристов в конце романа совершенно ничем не обоснованы.

Потому что и отношение к России и отношение к загранице у Толстого совершенно другое, чем у современников двенадцатого года, более элементарное.

Мы будем приводить только тот материал, который находился у Льва Николаевича под руками, т.-е. сознательно пропущенный.

Из письма Волковой Толстой заимствовал подробность о «штатском» человеке во время Бородина; рядом с этой за-

меткой, чрезвычайно усиленной Толстым, в романе находится следующее место:

21-го января.

«У нас много нового, милый друг. Во-первых, генерал Титов прибыл с тридцатью тысячами ополченцев. Войско это ведет он в Малороссию. Двенадцать тысяч солдат, родом из Пензы, порядочные бунтовщики; стоит того послышать, как Титов о них отзывается.

...Про своих солдат он говорит: «Это бунтующие бунтовщики». Разумовский его иначе не называет, как начальником бунтовщиков. В сущности, его должность весьма неприятная: ему приходится командовать двенадцатью тысячами солдат, которые подняли бунт и не хотели итти в поход, говоря, что у них не обрита борода и их не приводили к присяге, значит, они не настоящие солдаты. Если бы государь нуждался в войске, то велел бы об‘явить рекрутский набор, говорят они, а в ополчение государственных крестьян не берут, значит, все это выдумка помещиков, которые хотят выдать их французам, и что указ вовсе не от государя, а от их же начальников. Эта история происходила в ста верстах от нас, на границе Пензенской губернии. Пришлось высечь кнутом триста главных мятежников да сотни две прогнать сквозь строй; наконец, принуждены были выстрелить в них картечью, причем пало человек пятьдесят. После этого бунтовщики двинулись, но до сих пор видно, что у них недоброе на уме. Эти молодцы ограбили два города, сожгли несколько деревень и даже имели намерение перерезать своих начальников и помещиков. Эта разбойничья шайка находится теперь в нашем городе, и мы от нее избавимся лишь через три дня. Я желаю, чтобы они ушли подальше: пока они в нашей губернии, я не успокоюсь, хотя за ними и следует батальон регулярного войска и четыре пушки». («Вестник Европы», 1874 г., август, № 8. Из письма М. А. Волковой к В. И. Ланской.)

У Ильи Радожицкого в описании Бородина мы видим, что ратники эти и под Бородиным не сражались. У Толстого, правда, нет упора на то, что они сражались, но ополченцы у Льва Николаевича находятся в Бородине в патриотическом настроении и хотят навалиться на Наполеона «всем народом». Такая фраза существовала, но она принадлежит не ополченцам, а Багратиону и взята Л. Н. следующим образом. Он взял у Михайловского-Данилевского письмо Багратиона к Аракчееву, отрезал конец, просто, из соображений компактности, из середины взял фразу «навалиться всем народом»

и передал ее народу. Багратион только хотел, чтобы народ так говорил, Багратион хотел «раздразнить чернь».

Ратники ополчения на Бородине сражаться не могли уже потому, что их не решались вооружить.

Приведу свидетельства:

1. Ополчение не сражалось.

«Кутузов, не надеясь на стойкость ополчения, оставленного в первоначальном своем составе, по причине недостатка времени на размещение его по полкам, приказал ему заняться перенесением раненых из средины битвы и доставлением их в подвижные больницы, помещенные в тылу сражавшихся войск. Этою благоразумною мерою он усилил армию нашу всеми теми солдатами, которые без того непременно ослабили бы боевые силы ее». (Денис Давыдов, Переписка с Вальтер-Скоттом.)

2. Ополчение не было вооружено, хотя в Москве оружие было.

Из письма Наполеона к Александру I:

...«Я считаю невозможным, чтобы с вашими правилами, вашим сердцем и светлым образом мыслей Вы допустили такие неистовства, недостойные великого монарха и великого народа. Когда увозили из Москвы пожарные трубы, оставили в ней 150 орудий, 70.000 новых ружей, 1.600.000 патронов, великое множество пороха, селитры, серы, и проч.». (Михайловский-Данилевский. Описание отечественной войны 1812 г., т. III, стр. 59, СПБ. 1840.)

Выписка из артиллерийской ведомости:

...«В Москве оставлено русских и иностранных пушек 156, более 80.000 ружей, карабинов, штуцеров, пистолетов, в том числе половина негодных, слишком 60.000 белого оружия, 20.000 пуд. пороха, 27.000 ядер, гранат, бомб, брандкугелей». (Михайловский-Данилевский, op.cit., т. III, стр. 373.)

Богданович в своей истории выражает изумление тому, что оружие не было роздано ополченцам, которые были вооружены пиками. Ответ на недоумение Богдановича мы можем иметь в записках Сергея Николаевича Глинки:

...«Не сносясь с смоленскими помещиками, и я, по взятии Смоленска, подал графу Растопчину записку о вооружении охотничьих дружин по уездам Московским, и, излагая, что, начиная от Гжатской пристани, оттуда, по обеим сторонам, тянутся с небольшими промежутками леса, эти лесные дру-

жины могли бы сильно тревожить Наполеона. Граф сперва согласился, а потом сказал: «Мы еще не знаем, как повернется русский народ. Мое дело выпроводить теперь дворян из уездов московских». (Записки Сергея Глинки. СПБ. 1895 г. Изд. журн. «Русская Старина», стр. 255.)

Ополчение сражаться не хотело, споря, как мы видели в первом пункте, о бородах.

Этот спор о бородах пензенского ополчения имел свой смысл: бороды было приказано не брить вот почему:

«При этом отдано было в приказе по армиям, чтобы «принимать воинов ополчения не яко солдат, постоянно в сие звание определенных, но яко на время предоставивших себя на защиту отечества. А по сему воины ополчения московского одежд своих не переменяют, бород не бреют и, одним словом, остаются в прежнем их состоянии и, по исполнении сей священной обязанности, возвратятся в домы свои». (Т.-е. останутся крепостными: солдаты, у которых бороды брились, от крепостного состояния освобождались). (М. Богданович, «История отечественной войны 1812 г.», т. II, стр. 241.)

Таким образом, представление об энтузиазме всех классов населения совершенно неверное; можно говорить о некотором энтузиазме купцов. Например, мы знаем, что крестьяне не везли провизию в русскую армию, и поэтому получались такие картины:

...«Вчерась из Калуги прибыл обоз с сухарями, которые велено принять в наш полк; лошаденки так изморены, что чуть плетутся, а на подводчиках синие кафтаны, шелковые кушаки, пуховые шляпы! Вот мы и ну их расспрашивать. Что ж вышло? Настоящие хозяева кто захворал, кто из страха бежал, так, чтобы не остановить дела, с сухарями поехали купцы». (Подарок товарищам или переписка русских солдат, изд. Скобелевым. Письмо XII, стр. 69—70.)

Любопытно отметить, что после написания «Войны и Мира» мысль о народном единодушии двенадцатого года стала общей. Не очень элементарно думающий Михайловский (народник) говорит о единстве интересов населения 1812 года как о чем-то само собой разумеющемся.

Другого мнения был Растопчин. Приведу конец его последней афиши:

...«Ведь опять и капитан-исправники и заседатели везде есть на месте. Гей, ребята! Живите смирно да честно, а то

дураки, забиячные головы кричат: «Батюшка, не будем». (Растопчинская афиша 1812 года, стр. 54.)

Неверно и представление, которое дает Лев Николаевич о народной войне. Прежде всего, как мы видим у Давыдова, нельзя сказать, чтобы ненависть к Наполеону среди крестьян была всеобщая. Были даже попытки устроить восстание против помещиков. Приведу показания Дениса Давыдова.

...«К славе нашего народа, во всей той стране известными и истинными изменниками были одни дворовые люди отставного майора Семена Вишнева и несколько крестьян. Первые, соединясь с французскими мародерами, убили своего помещика. Ефим Никифоров убил с ними отставного поручика Данилу Иванова, а Сергей Мартынов, указывая неприятелю на известных ему богатых поселян, убил управителя села Городища, разграбил церковь, вырыл из гробов прах помещицы этого села и стрелял по казакам. При появлении моей партии в этой стороне, все первые разбежались и скрылись, но последнего мы захватили 14-го числа. Эта добыча была для меня важнее двухсот французов; я немедленно рапортовал о том начальнику ополчения и решился его примерно наказать.

21-го я получил повеление расстрелять преступника; тотчас было мною разослано по всем соседним деревням об'явление, чтобы крестьяне собирались в Городище. Четыре священника ближних сел были туда же приглашены; 22-го поутру преступника исповедали, надели на него белую рубашку и привели под караулом к самой той церкви, которую он грабил с врагами отечества. Священники стояли перед нею лицом в поле, на одной черте с ними взвод пехоты. Преступник был поставлен на колени, лицом к священникам, за ним народ, а за народом вся партия, полукружием. Его заживо отпели. Надеялся ли он на прощение? Укоренилось ли в нем безбожие до высшей степени, или им овладело отчаяние, но во все время он ни разу не перекрестился. Когда служба кончилась, я велел поклониться на четыре стороны, а отряду расступиться, он же продолжал глядеть на меня глазами неведения; наконец, я приказал отвести его далее и завязать глаза: при этом он затрепетал; взвод подвинулся и выстрелил разом. Тогда моя партия окружила зрителей, в числе коих, хотя и не было ни одного изменника и грабителя, но были, однако, ослушники начальства. Имея список виновных, я стал выкликать их по одиночке и наказывать нагайками». (Денис Давыдов, Дневник партизанских действий, 1812 г., стр. 59-61.)

Итак, вы видите, что за помощь французам крестьяне расстреливались. Что же делал Давыдов за то же самое с помещиками?

...«На рассвете избу мою окружили просители; более двухсот окрестных крестьян пали к ногам моим с жалобой на Масленникова, говоря: «Ты увидишь, кормилец, его село. Ни один хранц (т.-е. франц или француз) до него не дотронулся, потому что он с хранцами же грабил нас и посылал все в Вязьму — всех разорил, ни синь пороху не оставил».

Я велел Масленникову оправдываться, но он не мог ничего другого представить, как то, что крестьяне эти — изменники, бунтовщики, разбойники, мошенники и проч.; все эти прозвища не были ими заслужены и не могли оправдать его самого. Я, возвыся голос, сказал: «Глас божий—глас народа!» При этом, разругав его в выражениях весьма сильных, я избавил его от заслуженного им телесного наказания. Совесть меня упрекала в том, что я не наказал старого Масленникова, но признаюсь, не имея верных документов, я не смел в одно и то же время брать на себя роль и судьи и палача, хотя руки у меня сильно чесались». (Денис Давыдов, op. cit., 92 — 93.)

Убийство русских партизан русскими же было явление самое обыкновенное; причем Давыдов об‘ясняет это тем, что крестьяне путали формы. Об‘яснение это не вполне удовлетворительно:

...«Даже места, в которых еще не было неприятеля, представляли нам немало препятствий. Общее и добровольное ополчение поселян преграждало нам путь. В каждом селении ворота были заперты; при них стояли стар и млад с вилами, копьями, топорами, и некоторые из них с огнестрельным оружием. К каждому селению один из нас принужден был под‘езжать и говорить жителям, что мы русские, что мы пришли к ним на помощь, на защиту православных церквей. Часто ответом нам был выстрел или пущенный с размаха топор, от ударов которого судьба спасла нас».

Дальше сноска:

«За два дня до моего прихода в село Егорьевское, крестьяне ближней волости истребили команду Тептярского казачьего полка, состоявшую из шестидесяти казаков. Они приняли казаков сих за неприятеля от нечистого произношения ими русского языка. Сии же самые крестьяне напали на отставшую мою телегу, на коей лежал чемодан и больной гусар Пучков. Пучкова оставили замертво на дороге, телегу

разрубили топорами, но из вещей ничего не взяли, а разорвали их в куски и разбросали по полю». (Денис Давыдов, op. cit., стр. 42.)

Толстой об этих бунтах и недовольствах знал, и поэтому у него есть след вытесненного материала:— это попытка бунта, ликвидированного Николаем Ростовым.

Смягчены у Льва Николаевича Толстого и несчастия отступающей французской армии, причем сострадание и великодушие русского народа взяты не из источника; например, выходу капитана N... и барабанщика Винцена соответствует следующее место у Ильи Радожицкого:

«Мы заговорили о Наполеоне. Едва имя это коснулось его слуха, как тысячи проклятий: ...Sei er verdammt und verflucht in Ewigkeit!—стали изливаться из уст несчастного страдальца на виновника всех бедствий.— Вскоре за ним явился другой, настоящий француз, в шинельке и в кивере, подпираясь костылем; он был ранен в ногу. Этот казался бодрее, хотя также весьма изнурен и слаб. Первое слово его было: Messieurs, du pain! —Тогда длинный немец перестал бранить Наполеона и, видно от ненависти к французам, уступил свое место пришедшему, а сам, поблагодаривши нас, пошел искать иного пристанища. Француз говорил немного и жаловался только на холод. Мы уже отпивали чай, дали ему сухарь не размоченный, но он не в состоянии был грызть его. Видя тщетные усилия француза над русским сухарем, я спросил его, стал ли бы он есть лошадиное мясо. «Почему не так? В нужде нет закона!»— сказал он. Указавши ему на близ лежащую лошадь, я предложил, что он может тут же удовлетворить свой аппетит.—«Если б только у меня было, чем отрезать часть»,—говорил он. Ему подали топор, и я хотел видеть операцию. Француз с топором поплелся к лошади и, пав на нее коленами, стал тюкать, сколько в нем было силы; но мороз окаменил ее. Видя невозможность добыть себе мяса, бедняк возвратился к огню и, положив топор, сказал весьма равнодушно: «Que faire! il faut mourir!» — Он тут же лег. Последние слова его сделали во мне сильное впечатление. Как в столь жестокой крайности иметь такую твердость духа и с таким равнодушием ожидать смерти! При том без малейшего вопля и стенания, без малейшей жалобы на виновника своих бедствий! Я скрылся в палатку под тулуп, огонь угас— сильный мороз заставил меня в собственной теплоте своей погрузиться в бесчувственность сурка, оставив француза в его бедственной участи». (И... Р... стр. 264.)

Сцены, так называемой, народной войны были ужасны. У Михайловского-Данилевского есть запись о сельском старосте, который запросил, каким еще способом ему убивать французов, потому что он уже истощил все способы смертей, ему известные. Но в своем способе изображения жалких и ничтожных французов, избиваемых крупным и рослым русским мужиком, Толстой тоже не последовал за источниками. Сцены настоящей войны были ужасней. Приведу отрывок из Ильи Радожицкого:

«Забавный анекдот рассказывал нам мужичек о двух французских латниках, зашедших к нам в деревню. Эти кавалеристы были рослые и в полном кирасирском вооружении, а потому мужики боялись подступить к таким рыцарям. Великаны вошли в избу и, показывая крестьянам деньги, давали разуметь, чтоб принесли водки и хлеба. Мужики долго совещались, как бы этих страшных гостей сбыть с рук; наконец, решились накормить и напоить. «После чего, конечно, де, великаны лягут спать, тогда и душу вон».— Тотчас принесли водки, хлеба, молока, и с этими дарами послали к богатырям старую бабу. Французы обрадовались пище и давали бабе деньги, но она их не приняла, боясь, чтобы ее не заморочили ими. «Вот они стали пить, да есть — говорил мужик,— и, поглядывая на нас, по-своему бормотали. Мы будто бы разошлись и оставили одного парня подсматривать за ними...» История продолжалась таким образом: наевшись и напившись, один кирасир скинул латы, шишак и лег на скамью, положив подле себя обнаженный палаш; другой не ложился и не скинул с себя ни лат, ни шишака, но сел за стол, положив пистолет, и, облокотившись, положил лицо на оба кулака. Богатыри, опасаясь крестьян, довольно взяли предосторожности и, казалось, посменно хотели отдыхать. Но как они оба были чрезвычайно утомлены, то, после порядочного угощения, кирасир, лежавший на скамье, скоро захрапел, да и часовой на кулаках тоже прикурнул. Тогда парень дал знать миру, что заснули. Мужики того и ждали. Собравшись вновь и перешептываясь на дворе, советовались, как поступить. Вызвались охотники: один с топором, другой с затяжною петлею на канате. Оба разулись и, перекрестившись, вошли тихонько в избу; потом подкрались каждый со своим снадобьем к сонным богатырям, и, взглянувшись, разом, один хватил топором в голову лежачего, а другой накинул петлю на сидячего. Первый богатырь только-что вздрогнул и протянулся, а другой вскочил, но за концы каната крестьяне уже держались миром при дверях, снаружи: он не успел

опомниться и схватить пистолета, как был уже вытащен силою каната за шею вон. Этот богатырь старался только удержать давление петли, чтобы не задушили. Следуя притяжению каната, он сунулся прямо на мужиков, но они ухитрились развести концы каната в разные стороны; тогда богатырь стал между двумя силами: сунется ли к одной стороне, другая его тянет, бросится ли к этой, первая поправится. Таким образом долго они с ним возились, как с добрым медведем, напоследок, боровшись и напрягая силы, «великан,— продолжал мужик,— умаялся батюшко и повалился, как глыба: тут-то мы его доколотили, чем попало».

Слыша такие рассказы, нельзя было не содрагаться ожесточению русского народа против своих разорителей: возбужденный фанатизм выходил за пределы человечества». (Илья Радожицкий, op. cit., Ч. II. стр. 242, 243.)

Неверны представления, даваемые Львом Николаевичем Толстым о народной войне, т.-е. о том, что французы не последовали примеру русских и не организовали партизанской войны.

«И благо тому народу, который, не как французы в 1813 г., отсалютовав по всем правилам искусства и перевернув шпагу эфесом, грациозно и учтиво передает ее великодушному победителю, а благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотою и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменется презрением и жалостью». (Война и Мир, т. IV, стр. 99.)

Партизанская война, по крайней мере, в том размере, в каком она была в России, во Франции была; причем нужно строго установить тот факт, что в России партизанам не удалось занять ни одного этапа и не удалось даже перехватить телеграммы-депеши, как мы видим из показаний Давыдова. Приведу ряд отрывков из Радожицкого, так как эта книга сейчас чрезвычайно редка и уже никогда не будет переиздана, а материал ее чрезвычайно интересен, характерен и хорошо был известен Льву Николаевичу Толстому.

«Французский народ, претерпевая разорение от вторжения чужеземных войск, ожесточился и стал вооружаться для защиты собственности. Союзники принуждены были обезоружить жителей и об‘явить им, что всякий из них, взятый с оружием в руках, будет предан казни, а город или деревня, где встретится сопротивление, будут преданы разорению

и огню. Исполнение на самом деле таких угроз еще более ожесточило народ, который едва не воспламенился для национальной войны».

«Легкой рысью в‘ехал я верхом, по шалонской дороге, на гору, закрывающую город, и тотчас от ветряных мельниц увидел вершины зданий обширного Реймса, стелющегося по долине вправо, версты на три. Город окружен каменною стеною рыцарских времен и глубоким рвом. Из амбразур выглядывали пушки и, до половины, люди, между которыми можно было заметить женщин с ружьями». (Походные записки артиллериста, с 1812 по 1816 г. Война во Франции. Ч. III. стр. 67).

Итак, партизанская война была, в ней принимали участие даже женщины. Не было во Франции только русских пространств.

Я не могу выписать всех указаний Ильи Радожицкого о нападениях французских партизан, потому что их очень много.

В вытесненный материал попадает материал и русского военного неумения при очень подробном анализе Бородинского сражения. В этой военной книге «Война и Мир», к которой приложены карты и т. д., и т. д., Л. Н. Толстой забывает сказать, что Кутузов во время сражения забыл 300 пушек и не ввел их в действие, чем и об‘ясняется неравенство потерь с обеих сторон. Современники Л. Н. на эту ошибку его указывали:

... «Граф Толстой во что бы то ни стало хочет показать образцовыми действия Кутузова и никуда негодными распоряжения Наполеона. Замечая, что русские войска в Бородинском сражении на отдельных пунктах действовали превосходно, а с другой стороны, видя отсутствие распоряжений Кутузова, автор находит, что именно в этом и состоит роль главнокомандующего и что Кутузов сознательно не вмешивался в ход боя. Но так ли действительно это было? В годину Бородинской битвы Кутузов был очень стар, ему не доставало энергии, ему не доставало физических сил, чтобы иногда лично убедиться в положении дел на том или другом пункте; короче, по своим нравственным и физическим условиям, он не мог вполне руководить ходом боя. Оттого, в этот памятный день, единственное оружие, в котором мы имели перевес над французами—артиллерия—осталась неупотребленною в дело. Французы имели 587 ору-

дий, из которых 160 были полковые, т.-е. совершенно ничтожной дальности; мы имели 640 орудий, из которых $^{1}/_{4}$ часть состояла из батарейных орудий, а между тем 300 орудий нашего артиллерийского резерва почти не были в деле, по крайне мере, не были употреблены в массе и не оказали существенного влияния на ход сражения». («Военный Сборник» № 8 за 1868 г. Статья Н. Л., стр. 81—125.)

Может быть, Л. Н-чу этого периода и нужно было доказать, что мы можем сражаться, не изменяя своего строя, своего способа командования, потому что указание на лучшее командование, на лучшее оружие, в то время было указанием либеральным.

Это были бесконечные упреки кремневым ружьям после Севастопольской кампании.

Л. Н. Толстой в своем романе доказывает, что Россия побеждает превосходством своего духа или особенностью своей национальной организации. Поэтому Толстой не мог написать, что у французов была тоже партизанская война, потому что партизанская война французам не помогла, а кроме того, Л. Н. все время настаивает на разности национального характера, а тут получилось бы сходство.

Замерзающие французы тоже не могли попасть в роман, потому что они, особенно если дать их сражающимися и побеждающими, были бы героями, и поэтому вся часть отступления дана скороговоркой, а поступки Нея и т. д. пересказаны по методу остранения, и от определенного исторического факта остается только его ироническое и недоверчивое воспоминание. Здесь материал деформирован не меньше, чем в случае с крестьянским бунтом.

Я думаю, что приведенного материала достаточно, чтобы показать ненадежность «Войны и Мира», как исторического романа.

Это не история — это попытка ее переделать, найти в ней золотой век и обезвредить те черты эпохи, которые этому представлению противоречат.

В качестве заключения приведу только один отрывок из Наполеона: Л. Н. всегда в споре говорил не с человеком, а с куклой. Он придумывал себе противника и его оспаривал: причем придумывал этого противника гениально. У этого

противника доводы были не те, которые он имел, а другие — простые до глупости, которые легко можно было довести до нелепости.

Наполеон нужен был Толстому такой, который хочет управлять историей, который убежден, что он управляет историей. В противоположность этому Наполеону Лев Николаевич выдумал Кутузова и этим совершил завет своих предшественников, которые часто вспоминали имя Кутузова, но всегда извиняясь, как за невышедшую легенду.

Тут любопытно проследить, что этот Кутузов Вяземского не похож на стихотворного Кутузова того же автора. Один из них совершенно условный и противоречащий истории: Кутузов не в коляске, а на коне, а другой — состоит из одних оговорок.

И Кутузов предо мною,
Вспомню ль о Бородине,
Он и в белой был фуражке
И на белом был коне.

(Князь П. А. Вяземский, Поминки по Бородинской битве.)

Это стихи, а вот проза:

«Государь не доверял ни высоким военным способностям, ни личным свойствам Кутузова. Между тем он превозмог в себе предубеждение и вверил ему судьбу России и свою судьбу, вверил единственно потому, что Россия веровала в Кутузова.

Можно обвинять Кутузова в некоторых стратегических ошибках, сделанных им во время отечественной войны; но это подлежит разбирательству и суду военных авторитетов. Это вопрос науки и критики. Отечество и народ не входят в подобные исследования. Они видят в Кутузове освободителя родной земли от иноплеменного нашествия: весь дух свой о нем заключают в одном чувстве благодарности. Нет сомнения, что окончательно и Александр не отказал ему в этом чувстве. Государю не было повода раскаяться, что он послушался народного голоса, который на этот раз, и, может, не в пример другим, был точно голос божий». (П. А. Вяземский, Собр. соч., стр. 122-123.)

Но Льву Николаевичу Кутузов удался. А между тем та мудрость Кутузова, которую восхваляет Толстой, могла быть им найдена у Наполеона, потому что Наполеон не всегда думал, что он управляет событиями; и вот цитата из мемуаров на

Св. Елене, которых Л. Н. не принял в извинение для самоуверенного Наполеона:

«Я, правда, стоял у кормила (держал руль), но как ни сильна была моя рука — волны внезапные и многочисленные были еще сильнее, и я имел мудрость (благоразумие) им уступать, чтобы не пойти ко дну из желания упорно им сопротивляться.

Таким образом, я никогда не был действительно хозяином самому себе, но всегда обстоятельства управляли мной до того, что вначале моего возвышения, во времена консульства, искренние друзья, мои горячие сторонники, спрашивали меня иногда из лучших побуждений, «до чего я предполагаю дойти» (чего я хочу достичь). И я всегда отвечал, что ничего об этом не знаю, они бывали поражены, может быть, недовольны, а между тем я говорил им сущую правду. Позже, во времена империи, когда было меньше фамильярности, на многих лицах я читал тот же вопрос и мог бы дать им только тот же самый ответ.

Потому что я не был хозяином своих действий, потому что я не имел безумия желать повернуть события по своей системе, а наоборот, я приспособлял (сгибал) свою систему в связи с событиями.

Это создавало мне видимость изменчивости, непоследовательности и заставляло иногда осуждать меня, но было ли это справедливо?» (Ля Каз, Мемориал Св. Елены, т. II, гл. II, стр. 1317.)

Меня могут спросить: если Л. Н. писал, так сказать, оду в новом стиле, если он исполнял задачу времени, если мы можем сказать, что Тентетников у Гоголя «что-то писал» и Чичиков разменял это «что-то» в «истории отечественных генералов», если мы можем сказать, что прославление двенадцатого года — это типичнейшее занятие пишущего помещика в своей деревне, потому что иначе не понятна догадливость Чичикова, если мы можем сказать, что Лев Николаевич превосходно выполнил свой социальный заказ, то почему же современники-дворяне иногда упрекают Толстого?

Тут произошло столкновение литературных вкусов, и люди не узнали определенного мотива в его новом жанре. Вяземский обиделся за Александра I не только за историческую недобросовестность, потому что за это он бы не постоял, а за то, что Александр I жует, а жевать он не должен по законам жанра Вяземского.

Работу этого жанра, его целесообразность, его применение с точки зрения интересов Норова понял только Константин Леонтьев:

«Почему я предпочел выше слова «политическая» слову «историческая» заслуга, сейчас скажу. Под выражением «историческая» заслуга писателя подразумевается скорей заслуга точности, верности изображения, чем заслуга сильного и полезного влияния. Вот почему.— Насколько верно изображение эпохи в «Войне и Мире»—решить еще не легко; но легко признать, что это изображение оставляет в душе читателя глубокий патриотический след. При нашей же наклонности все что-то подозревать у самих себя, во всем у себя видеть худое и слабое прежде хорошего и сильного — самые внешние приемы графа Толстого, то до натяжки тонкие и придирчивые, то до грубости — я не скажу даже реальные, а реалистические или натуралистические—очень полезны. Будь написано немножко поидеальнее, попроще, пообщее—пожалуй, и не поверили бы. А когда видит русский читатель, что граф Толстой еще немного повнимательнее и попридирчивее его, когда видит он, этот питомец «гоголевского» и «полугоголевского» периода,— что у Льва Николаевича тот герой (настоящий герой) «засопел», тот «захлипал», тот «завизжал»; один герой — оробел, другой — с‘интриговал, третий—прямо подлец, однако, за родину гибнет (напр., молодой Курагин); когда замечает этот, вечно колеблющийся русский чтец, что граф Толстой почти над всеми действующими лицами своими немножко и подсмеивается (кажется, над всеми, за исключением: государя Александра Павловича, Андрея Болконского и злого Долохова — почему-то...), тогда и он, читатель, располагается уже и всему хорошему, высокому, идеальному больше верит.

Во-вторых, граф Толстой прав еще и потому, повторяю, что сознательно или бессознательно, но сослужил читателям патриотическую службу всеми этими мелкими внешними принижениями жизни; они это любят и через это больше верят и высокому и сильнее поражаются тем, что у него изящно».

И это был один из коренных моментов признания Толстого, отмеченный умным наблюдателем.

Л. Н. хотел исправить и исправил неувязку «гимназического» и «университетского» знаний истории двенадцатого года.

Вот что говорит он сам.

«Всякий русский мальчик, учащийся читать, знает, что Бородинское сражение есть слава русского оружия и что оно выиграно. Но тот же мальчик, возрастая и начиная читать научные военные сочинения, узнает, что сражение, после которого отступило войско, проиграно; вслед за Бородинским сражением войска отступили, и Москва отдана неприятелю. Кто из русских людей, воспитанных на убеждении, что Бородинское сражение есть лучшая слава русского оружия, есть победа, не приходил в тяжелое и грустное недоумение, читая эти научные иностранные и, что еще убедительнее, русские, писанные под иждивением правительства описания этой войны. После Бородина русские отступили, и французы заняли Москву. Следовательно, говорят историки, русские проиграли сражение». («Русский Архив» 1868.)

«Война и Мир» по заданию, но не по восприятию читателя,— канонизация легенды.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

БОГУЧАРСКИЙ БУНТ

Этот небольшой кусок романа заслуживает иметь отдельную главу в исследовании, потому что здесь единственное место, где истинные герои Льва Николаевича—дворяне—приходят в соприкосновение с простыми людьми.

Мы чрезвычайно привыкли к Л. Н., и поэтому, например, у нашего типового читателя нет никакого возражения против языка Толстого, на который так болезненно реагировали его современники. Герои Толстого кажутся нам не только очень правдоподобными героями, но даже не героями, а живыми людьми. Между тем такой незаинтересованный свидетель, как Британская энциклопедия, пишет следующее:

...«Очень много вычурного и ненормального во всех характерах «Войны и Мира», но надо принять во внимание, что Толстой направил свои стрелы не на обыкновенных людей, а на ту особую часть общества, к которой он сам принадлежал по своему рождению и связям»... (Encyclopaedia Britannica, Volume XXXIII, London 1902, page 369).

Здесь любопытно сознание классовой характеристики толстовских героев, которое, очевидно, утрачено нами в силу привычного восприятия.

Основное построение богучарского бунта состоит в том, что русский бунт дается традиционно, бессмысленно. Для этого дана идеалистическая жизнь крестьян Болконского. Эта идеалистичность была еще сильнее в первоначальных вариантах романа:

«Мужики как этой деревни, так и всех других деревень князя без чувства особенного рабского уважения, благоговения почти не вспоминали, и теперь еще—старики—не вспо-

минают о князе. Строг, но милостлив был,— как и всегда, говорят они. Главное, что чувствуется в их похвалах (тоже как и всегда бывает), это благодарность к князю за то, что тот, кому они поклонялись и работали, был князь, генерал-аншеф, человек, совершенно не похожий на них, никогда не доходивший ни до каких подробностей, никогда не приравнивавшийся к ним, гордый и чуждый для них. Как бы мне ни не хотелось расстраивать читателя необыкновенным для него описанием, как ни не хотелось описать противоположное всем описаниям того времени, я должен предупредить, что князь Болконский совсем не был злодей, никого не засекал, не закладывал жены в стену, не ел за 4-х, не имел сералей, не был озабочен одним поронием людей, охотой и распутством, а напротив, всего этого терпеть не мог и был умный, образованный и столь порядочный человек, что, введя его в гостиную, теперь никто бы не постыдился за него.

...Мельница не переставая молола новину. Крестьяне Лысых Гор, не в обиду будь сказано, 19 февраля работали весело, на хороших лошадях и имели вид благосостояния больший, чем какой теперь встретить можно».

Вероятно, кусок выброшен, потому что эта идиллия совершенно не помещалась в традицию тогдашней русской литературы.

Точно так же отправление стариком Болконским своего сына от крепостной любовницы в воспитательный дом имело очень ядовитые параллели в литературе. Бытовой факт уже имел твердую традицию его восприятия, и Л. Н. попытался, но не решился его изменить.

Для современника Толстого бунт богучарских крестьян был нечто чрезвычайно злободневное, как это можно доказать хотя бы восприятием Пятковского, который определяет подвиг Николая Ростова таким образом:

«И эта полиция вне полиции, этот бывший студент и настоящий гусар, мгновенно обратившийся в раз'яренного зверя—неужели не служит замечательным образчиком нашего родимого своевольства, которое (в особенности 40—50 лет тому назад) весьма наивно считало себя положительно правым. Да и почему не считать, когда в каждом цветном околыше фуражки — темный народ провидел свое начальство, властное карать и миловать». («Неделя» 1868 г. №№ 22, 23 и 26. Статья А. П. Пятковского под заглавием: «Историческая эпоха в романе Толстого».)

Поэтому сатирический журнал «Искра» утверждал, что роман Толстого принадлежит к специально-исправничьему жанру.

...«Я уверен, что бывший бирский исправник, напечатавши свое об'яснение о поединке с купцом Севастьяновым, лежит теперь дома на диване и добродушно предается чтению богатырского романа графа Л. Толстого «Война и Мир»... Да, никто меня не разуверит в том, что этот роман не настольная книга этого секущего исправника. В стране больших и малых исправников, становых и всевозможных российских богатырей только и понятен успех таких романов, как «Юрий Милославский», «Леонид» и «Война и Мир»... («Искра», 1868 г. № 13.)

Цветной околыш—это, конечно, иносказание, это красный дворянский околыш; и в биографических записках Фета мы находим много таких подвигов и постоянное указание на то, что применение закона, а не добровольной полиции, бессмысленно и не нужно. Сам Лев Николаевич, говорят, был очень добросовестным мировым посредником, но здесь он выступает не как посредник, а как заинтересованная сторона.

Исторически обстановка от'езда княжны неверна. В действительности русские помещики оставляли Москву, потому что они с Москвой были не очень связаны, но не так легко уезжали из своей деревни.

Ошибка Наполеона состояла в том, что он считал Москву городом, как Вена. Москва же была зимним пребыванием дворян. При наступлении Наполеона дворяне, чиновничество и население, их обслуживающее, уехало. Запасы в городе были но главным образом из колониальных товаров. В Москве были сахар, чай, кофе и рис. Мало было хлеба.

Возможность уехать в деревню создала «патриотический подвиг дворян».

Толстой переносит это настроение и на деревню.

—«Поскорее ехать! Ехать скорее!—говорила княжна Марья, ужасаясь мысли о том, что она могла остаться во власти французов.

Чтоб князь Андрей знал, что она во власти французов! Чтоб она, дочь князя Николая Андреевича Болконского, просила господина генерала Рамо оказать ей покровительство и пользовалась его благодениями! Эта мысль приводила ее в ужас, заставляла ее содрогаться, краснеть и чувствовать

еще неиспытанные ею припадки злобы и гордости. Все, что было только тяжелого и, главное, оскорбительного в ее положении, живо представлялось ей. «Они, французы, поселятся в этом доме; господин генерал Рамо займет кабинет Андрея; будет для забавы перебирать и читать его письма и бумаги. M-lle Bourienne lui fera les honneurs de Богучарово. Мне дадут комнатку из милости; солдаты разорят свежую могилу отца, чтобы снять с него кресты и звезды; они мне будут рассказывать о победах над русскими, будут притворно выражать сочувствие моему горю...»—думала княжна Марья не своими мыслями, но чувствуя себя обязанной думать за себя мыслями своего отца и брата». (Война и Мир).

Но деревню помещики оставляли не так легко.

Княжна Марья—смоленская помещица. Дворянин Ушаков в своем рассказе «Хамово отродье», бегло и оправдываясь, признает факт, что из деревень смоленские помещики часто и не выезжали.

...«Читатель, может быть, захочет возражать мне и утверждать, что никто из смоленских дворян не оставался в своих вотчинах и никто не принимал к себе незванных гостей?— Ответ: я сам имел честь служить в эту достопамятную кампанию и смело говорю, что многие оставались. Может быть, робкие, низкие души? Робкие, низкие души??? Ах, господин читатель! А Энгельгард!.. Извольте почтительно поклониться перед этим именем!.. Я мог назвать и других, не менее достойных почтения, но это не принадлежит к моей истории. Я рассказываю о Никите Вязьмине... Продолжаю». (В. А. Ушаков, Хамово отродье, стр. 556.)

Что это за подвиг Энгельгарда, которым защищается Ушаков? Приведу описание его подвига из книжки, снабженной специальной гравюрой, изображающей расстрел Энгельгарда.

...«Известный духом истинного благородства и твердости смоленский дворянин Энгельгард не ужаснулся нашествия неприятелей. Соболезнуя о бедствиях родины и желая присутствием своим облегчить горестную участь сограждан, он остался в поместье своем, в Духовском уезде.

Некоторые крестьяне его, недовольные устройством, в котором он содержал их во все время общего беспорядка, негодуя на примерную строгость, с которою он наказывал их за участие в грабеже французов и за ослушание против русских законов,— крестьяне, прельщенные льстивыми обещаниями вольности и золотых источников, решились итти в

Смоленск к французскому начальству доносить на своего помещика о лишении им жизни нескольких французов. Просьба крестьян выслушана судьями, произведено следствие, и не найдено никаких следов смертоубийства. Сам предводитель разбойничьей шайки постыдился бы произнести решительный приговор над Энгельгардом. Дела потекли попрежнему в поместьях сего последнего; но дух злобы не дремал: вскоре бунтовщики, подстрекаемые наполеоновыми прокламациями, соединились в небольшую разбойничью шайку, набрали в окрестностях несколько убитых французов и, бросив их в отсутствие помещика под полы его дома, привели из Смоленска французских комиссаров для вскрытия полов сих и свидетельства мертвых тел. Энгельгард найден виновным в смертоубийстве и призван в верховный суд в Смоленске.

...Приятно мне мечтать об оживлении русского Кодра в памятнике! Пускай смоленское и целой России дворянство, соединясь единодушными пожертвованиями, соорудит памятник сей тому, кто так славно умер за права и честь дворян; пусть поставят его на одной из площадей смоленских в память сынам и правнукам нашим! Пускай на одной стороне его начертают: «Русскому Кодру»; на другой: «Энгельгарду— Российское Дворянство». (Походные записки русского офицера, изданные И. Лажечниковым, Москва, 1836 г., стр. 36-39.)

Как видите, даже в этом чрезвычайно пристрастном изложении Энгельгарда расстреливают не за подвиг против французов. Он погибает жертвой недоброжелательности крестьян. Мемуарист утверждает, что Энгельгард французов не убивал. Памятник же Энгельгарду в смоленском рву поставлен дворянами дворянину, а не русскими русскому.

Таким образом, в поступке Марии мы не наблюдаем типового явления. Точно так же нужно сказать, что и поступок Ростовых, отдавших свои подводы под раненых,—явление далеко не типовое и взято Львом Николаевичем из биографии Воронцова.

...«По прибытии в дом свой на Немецкой слободе, в Москве, нашед там большое количество подвод, высланных из деревень его, сел. Андреевского, Владимирской губернии, для своза туда картин, библиотеки и разного рода драгоценностей, в обилии вмещавшихся в доме его предков, он приказал все это оставить в добычу неприятелю и обратить подводы на поднятие раненых воинов, которые не могли

все, по огромному числу их, получать нужную помощь». (Щербинин, Биография Воронцова, стр. 65.)

Интересно отметить, что это единственное заимствование, сделанное Толстым из очень большой книги, при чем поступок Воронцова—сверхмиллионера—перенесен на Ростовых, которые жертвуют почти последним. Нужно тут отметить, кстати, что дворянство, действительно, в Москве потеряло много имущества и поэтому относилось к Растопчину отрицательно. Те историки литературы и историки просто, которые считают своеобразное изображение характера Растопчина у Л. Н. определенным историческим открытием, неправы, потому что мы имеем здесь типовое дворянское отношение, что можно доказать хотя бы показаниями Вяземского.

«Во всяком случае нет сомнения, что негодница Москва была довольна увольнением Растопчина. При возвращении его в Москву, освобожденную от неприятеля, и когда мало-по-малу начали с'езжаться выехавшие из нее, общественное мнение оказалось к Растопчину враждебным.

Хозяева сгоревших домов начали сожалеть о них и думать, что, может быть, и не нужно было их жечь. Они говорили, что одна из причин, которая погубила Наполеона, заключается в том, что он слишком долго зажился в Москве. Пожар Москвы мог бы испугать его и вынудить итти по пятам отступающей нашей армии, которая с трудом могла бы устоять перед его преследованием. Как бы то ни было, но разлад между Растопчиным и Москвою доходил до высшей степени». (П. А. Вяземский, Собр. соч., СПБ. 1883 год, том VIII, стр. 79.)

Я не буду цитировать текст богучаровского бунта, но все-таки должен отметить, прежде всего, первое явление: крестьяне у Льва Николаевича не расчленены и не думают. Они показаны чрезвычайно условно. Первоначально имел характер Дрон, но в переделке Л. Н. характеристику его уничтожил. Переделка Толстого характерна уже тем, что ее нельзя об'яснить, например, сокращением, так как тексты почти одинаковой величины.

Переделка шла по другой линии.

Произведем же сличение текстов.

Староста Дрон имел у Толстого свою биографию и характер:

«Дронушка 23 года тому назад, уже бывши старостой, вдруг начал пить, его строго наказали и сменили из старост. Вслед за тем Дронушка бежал и пропадал около года, обходил монастыри и пустыни, был в Лаврах и Соловецких. Вернувшись оттуда, он об'явился. Его опять наказали и поставили на тягло. Но он не стал работать и тотчас же пропал. Через неделю он, изнуренный и худой, едва таща ноги, пришел к себе в избу и лег на печь. Неделю эту Дрон провел в пещере, которую он сам вырыл в горе, в лесу, и которую сзади себя он заложил камнями, смазанными глиной. Он шесть дней, почти без еды и питья, пробыл в этой пещере, желая спастись, но на седьмой день на него нашел страх смерти, он с трудом откопался и пришел домой».

Биография эта, как видите, индивидуальна.

Но она выкинута из корректуры самим Л. Н. Толстым и заменена другой характеристикой типового характера.

«Лет тридцать Богучаровым управлял староста Дрон, которого старый князь звал Дронушкой.

Дрон был один из тех крепких физически и нравственно мужиков, которые, как только войдут в года, обрастут бородой, так, не изменяясь, живут до 60—70 лет, без одного седого волоса или недостатка зуба, такие же прямые и сильные в 60 лет, как и в 30.

Дрон вскоре после переселения на теплые реки, в котором он участвовал, как и другие, был сделан старостой, бурмистром, в Богучарове и с тех пор 23 года безупречно пробыл в этой должности». («Война и Мир», т. III, стр. 118.)

Индивидуальный Дрон разрушил бы сцену с княжной, дав реальность мужицкой стороне.

Образ Платона Каратаева условен, более условен, чем солдаты у молодого Толстого. Но и они, как легко проследить в его военных рассказах, составлены из фольклора и говорят притчами и сказками.

Вероятно, это более характеризует литературную зависимость Толстого от «Солдатских досугов» Даля, чем от самих солдат.

Вместо этих сложных построений мы видим каких-то двух «длинных мужиков», совершенно условных.

Настроение Ростова, атакующего крестьян, дано на образах войны и охоты. Я приведу два параллельных момента: Ростов перед атакой и Ростов перед толпой крестьян.

I

«Ростов, как на травлю, смотрел на то, что делалось перед ним. Он чувствовал, что ежели ударить теперь с гусарами на французских драгун, они не устоят; но ежели ударить, то надо было сейчас, сию минуту, иначе будет уже поздно. Ротмистр, стоя подле него, точно так же не спускал глаз с кавалерии внизу.

— Андрей Севастьяныч,— сказал Ростов,— ведь мы их сомнем.

— Лихая бы штука,—сказал ротмистр,—а в самом деле»...

II

— «Я им дам воинскую команду... Я их попротивоборствую,—бессмысленно приговаривал Николай, задыхаясь от неразумной, животной злобы и потребности излить эту злобу.

Не соображая того, что будет делать, бессознательно быстрым, решительным шагом он подвигался к толпе. И чем ближе он подвигался к ней, тем больше чувствовал Алпатыч, что неблагоразумный поступок его может принести хорошие результаты. То же чувствовали и мужики толпы, глядя на его быструю и твердую походку и решительное, нахмуренное лицо».

Николай Ростов у Толстого поступает, таким образом, с «благоразумной яростью», и весь эпизод представляет старый вариант рассказа о скифах, которые покорили своих рабов, вздумавших вооружиться, одним хлопаньем бича.

Крестьяне же у Толстого совсем ничего не думают, и действия их кажутся совершенно бессмысленными. Они бунтуют в тот момент, когда княжна предложила им хлеба. В чем же тут дело?

Дело тут совершенно не бессмысленное и могущее быть точно датировано.

К этому времени относятся попытки снять крестьян с земли и обратить их в людей, работающих только за хлеб, т.-е. разрушить крестьянское хозяйство до конца и превратить барщинную систему в систему латифундии.

Вот как передает эту систему в трудах Вольного Экономического общества профессор Якоб, при чем профессор Якоб принадлежит к числу сторонников вольнонаемного труда.

...«Так же некоторые господа заставляют работать своих крестьян из одного только пропитания; однако, сие случиться-

ся может только по малым имениям, или по малым частям больших имений, и для того едва ли заслуживает особенное внимание. Хотя сим способом владельцы удерживают у себя ту плату, которая следовала вольным наемным людям, однако, с другой стороны, сии принужденные работники мало помышляют о рабочем дне, работа их столько безуспешна, худа, убыточна и требует столько надзора, что вред, сим причиненный, превосходит издержки, нужные на наем вольных работников». (Труды Вольного Экономического Общества, ч. XII, статья Г. Якоба. СПБ. 1814 г.).

...«Много довольны вашими милостями, только нам орать господский хлеб не приходится,— сказал голос сзади.

— Да отчего же?—сказала княжна.

— Чего соглашаться-то, не нужно нам хлеба.

— Что ж нам все бросить-то? Несогласны. Несогласны... Нет нашего согласия. Мы тебя жалеем, и нашего согласия нет. Поезжай сама, одна...— раздалось в толпе с разных сторон.

И опять на всех лицах этой толпы показалось одно и то же выражение, и теперь это было уже наверное не выражение любопытства и благодарности, а выражение озлобленной решительности.

— Да вы не поняли верно,— с грустной улыбкой сказала княжна Марья.—Отчего вы не хотите ехать? Я обещаю поселить вас, кормить. А здесь неприятель разорит вас...

Но голос ее заглушали голоса толпы.

— Нет нашего согласия, пускай разоряет! Не берем твоего хлеба, нет согласия нашего!

Княжна Марья старалась уловить опять чей-нибудь взгляд из толпы, но ни один взгляд не был устремлен на нее; глаза, очевидно, избегали ее. Ей стало странно и неловко.

— Вишь, научила ловко, за ней в крепость поди! Дома разори, да в кабалу и ступай. Как же? Я хлеб, мол, отдам!— слышались голоса в толпе». («Война и Мир», т. III, стр. 125—6.)

Отметим заявление крестьян «только нам орать (пахать) господский хлеб не приходится». Это есть противодействие крестьян против определенной новой системы эксплоатации. Конечно, Толстой, очень интересовавшийся вопросами труда, мог бы об'яснить и для читателя поведение крестьян, но тогда бы бунт получился совершенно не бессмысленным и шел бы вопрос о том, что только в данном случае крестьяне ошиблись, и взаимоотношение сил в отрывке и роль Ростова изменились бы.

Утаивая мотивировки, Лев Николаевич Толстой здесь поступает совершенно логично, преследуя определенные цели.

Это яркий пример того, как определенный прием в момент своего осуществления преследует могущие быть точно определенными цели. Воспринимается сейчас этот прием и вне толстовской установки. Еще Константин Леонтьев отмечал:

«Однажды мне пришлось читать громко «Войну и Мир» двум очень молодым, но умным и развитым мужу и жене из крестьян. Мне было неловко и стыдно перед ними в этих местах за автора и за произведение, которое их обоих интересовало и восхищало до того, что по окончании чтения они беспокоились о судьбе Пьера, как о живом человеке. Молодая жена говорила: «ну слава богу, что Пьер устроился; только бы с его бесхарактерностью—не разорился бы он!» А муж возражал: «Ну, нет, теперь Наташа не даст ему разориться». О крепостном праве они оба и забыли, хоть сами были дети крепостных, до того граф Толстой сумел заставить их полюбить своих дворян». (К. Леонтьев, О романах гр. Толстого, стр. 45.)

Читатели Толстого, крепостные, забыли про крепостное право. Художественная форма уничтожала смысловое содержание. В современном восприятии, конечно, весь вопрос о месячине и даже вопрос о поведении Ростова разгружен.

Остается еще один вопрос: насколько Л. Н. Толстой в своем восприятии богучаровского бунта был оригинален.

Мы имеем сейчас очень интересную книгу Н. И. Савина «Волнения крепостных в вотчинах Барышниковых Дорогобужского у., Смолен. губ.» Гор. Дорогобуж 1926.

Из этой книжки мы узнаем, что волнения в Смоленской губернии в 1812 году были настолько сильны, что в исходящей книги Алексинского правления 1813 г., от 9 октября, волнения эти назывались революцией. Но помещик употребляет иную терминологию

...«к прискорбию моему узнал я, что некоторые неблагодарные крестьяне по глупости и по невежеству сделались ослушными начальству... я никогда не ожидал таковых мерзких поступков от крестьян моих».

Существовала традиция представлять волнения глупым и бессмысленным делом. Обычно так писали не только Иван Барышников и Лев Толстой, но и Александр Пушкин в «Истории Пугачевского бунта».

ГЛАВА ПЯТАЯ

ДЕТАЛИ «ВОЙНЫ И МИРА»

Под деталями в этой главе мы будем подразумевать подробности несюжетного характера, главным образом, характеризующие эпоху или действующих лиц. Конечно, известная группировка деталей образует характер действующих лиц, и поэтому количество переходит в стилистическое качество, но в пределах известного накопления мы можем говорить о подробности, как таковой.

Вопрос о подробностях, о деталях, разделил исследователей Толстого, если можно назвать людей, писавших о нем по разным поводам, исследователями,— этот вопрос разделил их на две группы. Одна группа представлена главным образом Тургеневым. Тургенев полагал, что роман хорош, но не теми частями, которые понравятся публике. И слабее всего в романе считал Тургенев то, что восхитит публику. Историческую часть, от которой читатель в восторге, Тургенев считал кукольной комедией и шарлатанством.

Баден-Баден, 1868 г., 2 февраля.

...«Я прочел роман Толстого и вашу статью о нем. Сам роман возбудил во мне весьма живой интерес: есть целые десятки страниц сплошь удивительных, первоклассных,— все бытовое, описательное — охота, катанье ночью и т. д.; но историческая прибавка, от которой, собственно, читатель в восторге—кукольная комедия и шарлатанство. Как Ворошилов в «Дыме» бросает пыль в глаза тем, что цитирует последние слова науки, не зная ни первых, ни вторых, чего, например, добросовестные немцы и предполагать не могут, так и Толстой поражает читателя носком сапога Александра, смехом Сперанского, заставляя думать, что он

все об этом знает, коли даже до этих мелочей дошел, а он и знает только эти мелочи. Фокус и больше ничего, но публика на него-то и попалась. И насчет так называемой «психологии» Толстого можно многое сказать: настоящего развития нет ни в одном характере (что впрочем вы отлично заметили), а есть старая замашка передавать колебания, вибрации одного и того же чувства, положения, то, что он столь беспощадно вкладывает в уста и сознание каждого из своих героев: люблю, мол, я, а в сущности ненавижу и т. д. Уж как приелись и надоели эти quasi-тонкие рефлексии и размышления и наблюдения за собственными чувствами. Другой психологии Толстой словно не знает или с намерением ее игнорирует. И как мучительны эти преднамеренные, упорные повторения одного и того же штриха— усики на верхней губе княжны Волконской и т. д.». (Архив Л. Н. Толстого.)

Это резкое мнение было поддержано Мережковским, который взял на себя задачу перечислить исторические детали-штрихи в «Войне и Мире». Оказалось, что их действительно не очень много. Вот перечисления Мережковского:

«Кажется иногда, что не только читатель, но и сам художник забывает об этой призме и лишь изредка, как-будто спохватившись, вводит какую-нибудь подробность исторического быта, но сколь робкую, сколь бедную и беспомощную: кое-где мелькают напудренный парик, лосины, плотно обтягивающие ляжки гвардейского поручика; старый князь Болконский обращается к дочери «сударыня», и однажды графиня Ростова, восхищаясь письмом сына Николушки, восклицает: «что за штиль!»

Но эти тусклые, разрозненные исторические пятнышки и черточки, рядом с главными чертами живой современности— насколько более яркими и выпуклыми! — бледнеют, пропадают бесследно или даже производят действие, обратное тому, которого ждет автор,—удивляют своей неожиданностью, как анахронизмы, выделяясь на общем современном фоне картины и напоминая об отсутствии исторической окраски в основе произведения. О внутренней, домашней обстановке русского вельможи александровского времени встречается на всем протяжении «Войны и Мира» одно упоминание, занимающее полстроки: в московском дворце старого графа Безухова «стеклянные сени с двумя рядами статуй в нишах».

(Д. С. Мережковский, Л. Толстой и Достоевский, т. I, изд. 3-е, СПБ. 1903 г., стр. 206.)

С критикой замечания Мережковского выступил историк Бороздин, казалось бы, вполне компетентный. Бороз-

дин дал длинное перечисление деталей, которое я, в виду его любопытности и фактической полноты, привожу:

...«Неужели этот, любезный критику, бытовой «исторический запах» так-таки ни в чем и не чуется, кроме указанных критиком нескольких черточек?

Роман начинается описанием вечера у фрейлины Анны Павловны Шерер, которая нездорова: «у нее был грипп, как она говорила, (грипп был тогда новое слово, употреблявшееся только редкими)». Первым приезжает князь Василий, «в придворном шитом мундире, в чулках и башмаках, при звездах», говорящий на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды. Его дочь, княжна Элен, приезжает в «белой бальной робе, убранной плющом и мохом», с «очень открытой по тогдашней моде грудью и спиной»; его сын, Ипполит,—«в темно-зеленом фраке, в панталонах ц в е т а б е д р а и с п у г а н н о й н и м ф ы, как он сам говорил, в чулках и башмаках». Маленькая княгиня Болконская появляется «в сереньком изящном платье, в кружевах, немного ниже грудей опоясанном широкой лентой». За нею вошел Пьер Безухов, «массивный, толстый молодой человек, со стриженной головой, в очках, в светлых панталонах, по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричневом фраке». При раз'езде с вечера князь Ипполит надевает «редингот», который у него поновому был длиннее пяток. Думается нам, что количество приведенных в эпизоде внешних бытовых подробностей совершенно достаточно: о каждом из более или менее заметных лиц здесь сказано именно то, что рисует его внешний «культурно-бытовой облик».

Перейдем к другим эпизодам первого тома романа. Вот мы на именинах у Ростовых: молодежь поет в квартете какой-то сентиментальный «Ключ», Николай Ростов поет новый романс, в котором есть и лунный свет, и арфа золотая, и другие атрибуты сентиментальной лирики того времени; на балу лихо танцуют экосезы и англезы, а старик, граф Ростов, с Марьей Дмитриевной Ахросимовой поражает всех «Данилой Купором».

В доме графа Безухова, кроме статуй в нишах, отмеченных г. Мережковским, мы видим венецианское зеркало в зале, «приемную с двумя итальянскими окнами, выходом в зимний сад, с большим бюстом и портретом во весь рост Екатерины», «б о л ь ш у ю, разделенную колоннами и аркой комнату, всю обитую персидскими коврами», в которой с одной стороны стояла «в ы с о к а я, красного дерева кровать под шелковыми занавесами, а с другой—о г р о м н ы й

киот с образами», и «под освещенными ризами киота длинное вольтеровское кресло». Далее перед нами «в напудренном парике невысокая фигурка» князя Николая Андреевича Болконского, выходящего в назначенный час в «высокую официантскую», где его дожидаются и домочадцы, и почетные гости. Вот его «огромный кабинет», который «наполнен вещами, очевидно, беспрестанно употребляемыми: большой стол, на котором лежали книги и планы, высокие стеклянные шкафы библиотеки с ключем в дверцах, высокий стол для писания в стоячем положении, на котором лежала открытая тетрадь, токарный станок с разложенными инструментами и с рассыпанными кругом стружками». Старик передает дочери письмо от Жюли Курагиной, которую он иронически называет «Элоизой», а также и присланную с письмом мистическую книгу «Ключ таинства». Он доволен, когда княжна Марья в определенный час повторяет на «клавикордах» «Дюссекову сонату». Он называет свою дочь «княжной», «сударыней», когда обращается к ней, говорит ей: «Мне сделали пропозицию насчет вас». («Минувшие Годы», октябрь, № 10, СПБ. 1908 г.)

Этим перечислением Бороздин как-будто бы решает вопрос в положительную сторону, т.-е. исторических деталей у Толстого довольно много, и они, по его мнению, исторически точны. К этому же мнению, т.-е. к мнению изобилия и точности деталей, присоединился и Кирпичников:

«Л. Толстой писал «Войну и Мир» пять лет, а сколько лет он готовился и собирал материал, я не знаю; но могу удостоверить, что всякий, кто хоть несколько знаком с литературой мемуаров того времени и хоть поверхностно следит за русскими историческими журналами, постоянно наталкивается на факты, подтверждающие верность изображения эпохи в «Войне и Мире» и очень часто на факты, то крупные, то мелкие, утилизированные Л. Толстым или по преданию или по документам.

(Приведу три-четыре разнообразных примера: триумфальный обед Багратиону в Английском клубе описан в «Дневнике Студента», стр. 328 и след.; характеристика Афросимовой встречается там же; там же находим и остроту гр. Ростова относительно Обер-Шельме (стр. 6). Как ни кажется странным присутствие штатского Пьера в Бородинском сражении, это — факт, упоминаемый в письме М. Волковой («Вестник Европы», 1874 г., № 8, стр. 606) относительно князя Вяземского; даже ямщик Балага, любимец

Долохова и Анатоля Курагина, не выдуман: в «Русской Старине» за 1894 г., № 3, современник рассказывает о Балаге, отчаянном ямщике Анатолия Барятинского и т. д.)». (А. Кирпичников, Очерки по истории новой русской литературы, т. I, Москва 1903, стр. 408.)

Правильность утверждений Кирпичникова мы еще разберем, пока же вернемся к Бороздину. Список деталей, приведенный им, можно одновременно и развернуть и опорочить.

Я в перечислении Бороздина, в упрек его наивности, подчеркнул безразличные эпитеты. Ими Толстой пользовался широко. Для читателя они убедительны, и только это и доказал своим примером Бороздин. Приведем еще отрывок для уяснения метода применения безразличных эпитетов у Толстого.

...«В столовой, громадно-высокой, как и все комнаты в доме, ожидали выхода князя домашние и официанты, стоявшие за каждым стулом; дворецкий, с салфеткой в руке, оглядывал сервировку, мигая лакеям и постоянно перебегая беспокойным взглядом от стенных часов к двери, из которой должен был появиться князь. Князь Андрей глядел на огромную, новую для него, золотую раму с изображением генеалогического дерева князей Болконских, висевшую напротив такой же громадной рамы с дурно сделанным (видимо, рукою домашнего живописца) изображением владетельного князя в короне, который должен был происходить от Рюрика и быть родоначальником рода Болконских... В то же мгновение, большие часы пробили два, и тонким голоском отозвались в гостиной другие». («Война и Мир», т. I, стр. 97.)

Деталей как-будто бы довольно много, но и в этих деталях, как и во всем списке Бороздина, любопытна следующая вещь. Характеристики главным образом мнимые. Они занимают место характеристики и ничего не характеризуют. Особенно это относится ко 2-му отделу перечислений Бороздина: чем выделен дом графа Безухова? Большой бюст, большая разделенная колоннами и арками комната, высокая кровать, огромный киот с образами, высокая официантская.

А у Николая Андреевича Болконского — огромный кабинет, большой стол, высокие стеклянные шкафы, высокие

столы, столовая Болконского громадно-высокая, картина огромная в громадной раме, а часы большие. Это не характеристики, это, по определению Брика для стихов,— безразличные эпитеты.

Но и там, где мы имеем у Толстого реальное перечисление, нужно сделать две оговорки.

Первое: детали. В частности, детали костюмов у Толстого даны неравномерно. Он сперва одевает героев. Как-то Софья Андреевна про подготовку романа из жизни Петра Великого писала, что герои одеты и рассажены, но еще не дышат. Если бы они задышали, то интерес к их костюмам у Толстого исчез бы. Толстой одевает своих героев, но не всех. Например, костюм Андрея Болконского при его появлении вообще не дан; в продолжение романа он его одел зимой при появлении его во время родов жены.

Описаны гротесковые костюмы Пьера и Ипполита; причем, костюм Ипполита дан так, что его читатель представить себе не может. Толстой дает старинное название цвета, очевидно—за его причудливость. Это название, может быть, характеризует Ипполита, но никак не характеризует цвет.

«Из-за самоуверенности, с которой он говорил, никто не мог понять, очень ли умно или очень глупо то, что он сказал. Он был в темно-зеленом фраке, в панталонах цвета cuisse de nymphe effrayée, как он сам говорил, в чулках и башмаках». (Т. I, стр. 14.)

Кроме того, любопытно отметить, что Толстой не переодел героев в эпилоге. Между тем, как раз в этом периоде произошла революция мужских костюмов, а именно: появление длинных панталон.

... «В 18-м или 19-м году, в числе многих революций в Европе, совершилась революция и в мужском туалете. Были отменены короткие штаны при башмаках с пряжками, отменены и узкие в обтяжку панталоны с сапогами сверх панталонов; введены в употребление и законно утверждены либеральные широкие панталоны, с гульфиком впереди, сверх сапог или при башмаках на балах. Эта благодетельная реформа в то время еще не доходила до Москвы. Приезжий N. N. первый явился в Москву в таких невыразимых на бал М. И. Корсаковой. Офросимов, заметя его, подбежал к нему и сказал: «Что ты за штуку тут выкидываешь? Ведь

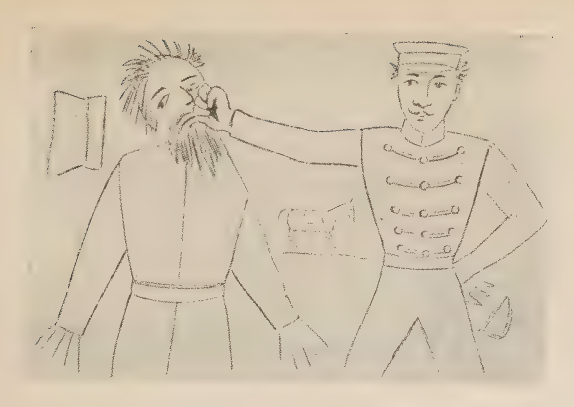
тебя приглашали на бал танцовать, а не на мачту лазить: а ты вздумал нарядиться матросом». (Собр. сочинений кн. П. А. Вяземского, т. VIII, стр. 221.).

Описание костюма князя Василия тоже мнимое, потому что он не может быть иначе, как в коротких штанах в 1805 году, за неимением длинных. Эта мнимость толстовских характеристик и в то же время их литературность, их словесная сказочность, а не так называемая художественная нарисованность была точно отмечена Вяземским, при разборе описания костюма Растопчина.

...«К чему выводить en toutes lettres гр. Растопчина, лицо еще более известное и в Москве и в истории 1812 года? И выводя эту энергическую и резко выдающуюся личность, можно ли ограничиться некоторыми внешними приметами, как в виде, выданном от полиции, или отметкою о том, что он был в генеральском мундире и с лентой через плечо? Да он и был генерал и, следовательно, не мог быть иначе, как в генеральском мундире. В чрезвычайном собрании и в присутствии государя должен был он быть неминуемо и с лентой через плечо, как и все прочие, имевшие орденские знаки. Что это за характеристика? А между тем, тут обнаруживается притязание или поползновение придать картине исторический оттенок. Вот что должно сбивать легковерного читателя и что, по моему мнению, нехорошо и непростительно». (Кн. Вяземский, Воспоминания, о 1812 годе.)

Когда Льву Николаевичу нужно дать, например, остранение смерти и войны, то ему нужно только детализировать ее, сделать не войну вообще и не убийство вообще, а убийство реального человека; при чем Лев Николаевич, совершенно овладев приемом, может вызывать и осуществлять его с минимальными художественными затратами. Как пример, приведу сцену сшибки Ростова с французом:

...«Ростов, сдержав лошадь, отыскивал глазами своего врага, чтобы увидать, кого он победил. Драгунский французский офицер одной ногой прыгал на земле, другой зацепился в стремени. Он, испуганно щурясь, как-будто ожидая всякую секунду нового удара, сморщившись, с выражением ужаса взглянул снизу вверх на Ростова. Лицо его, бледное и забрызганное грязью, белокурое, молодое, с дырочкой на подбородке и светлыми голубыми глазами, было самое не для поля сражения, не вражеское лицо, а самое простое, комнатное лицо. Еще прежде, чем



К стр. 78. Глава IV. Из „Искры“ 1869 г.

Схематизм рисунка обнажает первоначальную семантику поступка Ростова, который Толстым замаскирован подробным психологическим анализом. Текст в этом и в следующем рисунке дан карикатуристом от лица Лаврушки:

„Опять за сеном мы поехали, а мужичье это необразованное из Богучаровой, княжну Болконскую не пущают... Ну наш граф сейчас царап их по рылу... выпустили... За энто самое богатеющая княжна Болконская в них влюбилась—и мы, хоша тоже допреж сего были влюблены, тоже влюбились потому, одно слово, богатеющая“.



К стр. 93. Глава V. Из „Искры“ 1869 г.

Из карикатуры мы видим ощутимость толстовских деталей и тот план, в котором первоначально воспринималась идеология романа (сцена Лаврушки с Наполеоном).

„Мы „звуча шлепанием копьем“ на француза ходили—и граф взял в плен „француза с дырочкой“—и так ему жалко было энтого француза с дырочкой, „что хоша ему за него награду дали, одначе неясное чувство нравственно тошнило ему“.

И так как меня опять, касательно этого первобытного блаженства, отпороли и в деревню за курами послали, то я и попался, как кур во щи, французу и с Бонопартом ихним говорил и турусы на колесах ему разные представил и Тьер все это прописал; но хоша француза и обманешь—графа Толстого никогда, так уж он меня, раскусимши, описал“.

Ростов решил, что он с ним будет делать, офицер закричал: je me rends (сдаюсь). Он, торопясь, хотел и не мог выпутать из стремени ногу и, не спуская испуганных голубых глаз, смотрел на Ростова»...

Дырочка становится протекающим образом, и поэтому она была отмечена современниками. («Искра» 1869 г.)

...«Когда Ростова потребовали к графу Остерману, он, вспомнив о том, что атака его была начата без приказания, был вполне убежден, что начальник требует его для того, чтобы наказать его за самовольный поступок. Поэтому лестные слова Остермана и обещание награды должны бы были тем радостнее поразить Ростова; но все то же неприятное, неясное чувство нравственно тошнило ему. «Да что бишь меня мучает?» спросил он себя, от'езжая от генерала. «Ильин? Нет, он цел. Осрамился я чем-нибудь? Нет, все не то». Что-то другое мучило его, как раскаяние. «Да, да, этот французский офицер с дырочкой. И как я помню, как рука моя остановилась, когда я поднял ее».

Ростов увидал отвозимых пленных и поскакал за ними, чтобы посмотреть своего француза с дырочкой на подбородке...

«Ростов все думал об этом своем блестящем подвиге, который, к удивлению его, приобрел ему Георгиевский крест и даже сделал ему репутацию храбреца, и никак не мог понять чего-то. «Так и они еще больше боятся нашего!» думал он. «Так только-то и есть всего—то, что называется геройством? И разве я это делал для отечества? И в чем он виноват со своей дырочкой и голубыми глазами?»

Как видите, весь смысл этого куска в том, что Толстой напал не просто на француза, а на француза с дырочкой на подбородке. Эта дырочка даже не деталь: она — метка, она замена детали, но меченый француз — это уже достаточно для возбуждения к нему жалости.

Детали, которыми восхищаются Кирпичников и т. д., взяты у Жихарева. И пока Толстой шел по Жихареву, у него был бытовой материал, за которым он следовал. Но и в этих местах характеристики платья, например, продолжают оставаться внебытовыми. Например, платье Наташи или платье Сони,— это условное девичье платье вообще. Между тем, костюм подростка 1805 года нечто весьма характерное. Но позднее, т.-е. при переходе от «1805 года» к «Войне и Миру», у Толстого не было бытового источника,

как книга Жихарева, и это об'ясняется не тем, что Л. Н. Толстой не смог достать такого источника, а тем, что источник ему больше не понадобился. Художественный прием все больше и больше стабилизировался в романе, и манера изложения заменяла бытовую деталь, т.-е. Толстой мог создавать художественную систему, которая очень сильно отличалась от обыденной системы, от обычной передачи действительности и которая тем самым могла быть воспринята и как историческая. Но для этой системы ему уже не нужно было исторических данных. Это нахождение нового составлялось в приеме остранения, т.-е. выведения вещи из обычного восприятия; при чем мы можем для выведения вещи из обычного восприятия изменить ее внешность, а можем и изменить способ передачи вещи.

Для усиления этого приема Лев Николаевич несколько раз повторяет определение. Точно так же, показывая появление ад'ютанта Мюрата и отправляя его обратно в бой, Лев Николаевич повторяет его характеристику, и эта характеристика тем самым выделяет мальчика. Она служит ему дырочкой на подбородке и закрепляет его. Тем же самым приемом Лев Николаевич дает и смерть Верещагина:

Л. ТОЛСТОЙ*).	ИСТОЧНИКИ.
И в ту же минуту, как он сказал это, он увидел из-за угла дома выходившего между двух драгун молодого человека с длинной, тонкой шеей, с до половины выбритой и заросшей головой. Молодой человек этот был одет в когда-то щегольской, 4) крытый синим сукном, потертый 1) лисий тулупчик и в грязные посконные арестантские шаровары, засунутые в нечищенные, стоптанные тонкие сапоги... —А!—сказал Растопчин, поспешно отворачивая свой взгляд от молодого человека в 1) лисьем тулупчике и указывая на нижнюю ступеньку крыльца:—Поставьте его сюда!	.. «Вскоре на таковой зов вышел и сам граф на крыльцо и громогласно сказал: «Подождите, братцы. Мне надобно еще управиться с изменником!» И тут представлен ему несчастный купеческий сын 20 лет, Верещагин, приведенный уже с утра из временной тюрьмы (ямы), в тулупе на 1) лисьем меху, и Растопчин, взяв его за руку, вскричал народу: «Вот изменник! От 2) него погибает Москва!» Несчастный Верещагин бледный, только успел громко сказать: 5) «Грех вашему сиятельству будет!» Растопчин махнул рукой, и стоявший близ Верещагина 3) ординарец графа, по имени Бурдаев

*) Как здесь, так и в дальнейших параллельных текстах цифры, набранные петитом, указывают на тексты из исторических источников, повторенные или развернутые в романе Толстого.

Молодой человек, бренча кандалами, тяжело переступил на указываемую ступеньку, придержав пальцем нажимавший воротник [1]) тулупчика, повернул два раза длинной шеей и, вздохнув, покорным жестом сложил перед животом тонкие, нерабочие руки.

. . . — Ребята! — сказал Растопчин металлически-звонким голосом, —этот человек—Верещагин, — тот самый мерзавец, [2]) от которого погибла Москва.

Молодой человек в [1]) лисьем тулупчике стоял в покорной позе, сложив кисти рук вместе перед животом и немного согнувшись. Исхудалое, с безнадежным выражением, изуродованное бритою головою молодое лицо его было опущено вниз. ...На длинной тонкой шее молодого человека, как веревка, напружилась и посинела жила за ухом, и вдруг покраснело лицо.

Все глаза были устремлены на него. Он посмотрел на толпу и, как бы обнадеженный тем выражением, которое он прочел на лицах людей, он печально и робко улыбнулся и, опять опустив голову, поправился ногами на ступеньке.

—Он изменил своему царю и отечеству, он передался Бонапарту, он один из всех русских осрамил имя русского, [2]) и от него погибает Москва, —говорил Растопчин ровным, резким голосом; но вдруг быстро взглянул вниз на Верещагина, продолжавшего стоять в той же покорной позе...

[7])—Бей его!.. Пускай погибнет изменник и не срамит имя русского —закричал Растопчин. [7])—Руби! Я приказываю.

Услыхав не слова, но гневные звуки голоса Растопчина, толпа застонала и надвинулась, но опять остановилась.

[5]),—Граф!..— проговорил, среди опять наступившей минутной тишины, робкий и вместе театральный голос Верещагина: — Граф, один бог над нами... — сказал Верещагин, подняв голову, и опять налилась кровью толстая жила на его тонкой шее, и краска быстро выступила и сбежала с его лица.

(ныне он в Москве полицейским чиновником, квартальным надзирателем), ударил его саблей в лицо; несчастный пал, испуская стоны, народ стал терзать его и таскать по улицам. Сам же граф Растопчин воспользовавшись этим смятением, сошел с крыльца и в задние ворота дома своего выехал из Москвы на дрожках». (Бестужев-Рюмин, ч. III, гл. XXV, стр. 85.)

Рассказ адъютанта гр. Растопчина Н. А. Обрезкова:

«Граф Растопчин велел [3]) полицейскому драгуну рубить Верещагина. Драгун нескоро повиновался, а по [6]) второму строгому приказанию вынул саблю и начал».

(«Чтения», 1866 г., стр. 249.)

Купец подошел к молодому человеку [4]) в синем сюртуке...

...Молодой человек спрятал поспешно в карман бумагу, которую читал своим товарищам, и т. д.

(М. Загоскин, Рославлев или Русские в 1812 году, Москва 1831 г., стр. 256.)

Показания дежурного офицера при гр. Растопчине Г. А. Гаврилова, пересказанное по памяти Жуковым:

... «С утра густая толпа народа стеклась на дворе и запрудила улицу: шумела, гамила и волновалась. Вдруг Растопчин с балкона вышел к нам в залу и, скоро идя вниз на крыльцо, со всеми нами окружающими, велел вести туда же, на двор, молодого купеческого сына Верещагина, вытребованного с раннего утра в дом из ямы, где он содержался. Прокричав на крыльце народу, что Верещагин изменник, злодей, [3]) губитель Москвы, что его надобно казнить, Растопчин закричал Бурдаеву, стоявшему подле Верещагина: [7]) «Руби»! Не ждавши такой изустной сентенции, [6]) Бурдаев оторопел, замялся и не поднимал рук. Растопчин гневно закричал на меня: [7]) «Вы мне отвечаете своею собственною головою! Рубить!». Что тут было делать? Не до рассуждений! По моей команде:

[8]) «Сабли вон» мы с Бурдаевым выхватили сабли и занесли

Он не договорил того, что хотел сказать.

7)—Руби его! 6) Я приказываю!...—прокричал Растопчин, вдруг побледнев так же, как и Верещагин.

8)—Сабли вон!—крикнул 3) офицер драгунам, сам вынимая саблю.

Другая еще сильнейшая волна взмыла по народу, и, добежав до передних рядов, волна эта сдвинула передних и шатая поднесла к самым ступеням крыльца. Высокий малый, с окаменелым выражением лица и с остановившейся поднятой рукой, стоял рядом с Верещагиным.

7)—Руби!—прошептал почти офицер драгунам.

И один из солдат вдруг с исказившейся злобой лицом ударил Верещагина тупым палашом по голове*).

вверх. Я машинально нанес первый удар, а за мной Бурдаев. Несчастный Верещагин упал; а чернь мгновенно кинулась добивать страдальца и, привязав его за ногу к хвосту какой-то лошади, потащила со двора на улицу. Растопчин в задние ворота ускакал на дрожках».

(«Чтения в Имп. О-ве Истории». Москва, 1866 год. Стр. 256—7.)

Заметим здесь повторение фразы: «молодой человек в лисьем тулупчике»— повторено 8 раз. Фраза: «Руби его!», взятая из источников, повторяется четыре раза. Уже самый факт повторения вещи, повторения слова выводит его из ряда и остраняет его. Многократное повторение слов, как отмечалось самим Толстым, является сильным художественным приемом.

Лев Николаевич сгущал прием, вся его художественная работа последних томов, все разрушение им романтики французского наступления основано на пониженном значении повторения. Возьмите проезд Мюрата у Тьера.

Мюрат встречается с Балашевым. Характеристики Мюрата у Толстого и у Тьера почти совпадают, но вспомните сколько раз Толстой повторил одно и то же выражение: он выделил его и разрушил.

Этот способ характеристики не нужно смешивать с неоднократно отмечаемым у Льва Николаевича способом изображать героев. Вот что пишет об этом Мережковский:

...«У княгини Болконской, жены князя Андрея, как мы узнали на первых страницах «Войны и Мира», «хорошенькая с чуть черневшимися усиками, верхняя губка была ко-

*) Сводка текстов не оставляет темных мест. Совершенно неясно, что же узнал Лев Николаевич от старика из сумасшедшего дома.

ротка по зубам, но тем милее она открывалась и тем еще милее вытягивалась иногда и опускалась на нижнюю». Через двадцать глав губка эта появляется снова. От начала романа прошло несколько месяцев; «беременная маленькая княгиня потолстела за это время, но глаза и короткая губка с усиками и улыбкой поднималась так же весело и мило». И через две страницы: «княгиня говорила без умолку, короткая верхняя губка с усиками то и дело на мгновенье слетала вниз, притрагиваясь, где нужно было, к румяной нижней губке, и вновь открывалась блестевшая зубами и глазами улабка». Княгиня сообщает своей золовке, сестре князя Андрея, княжне Марье Болконской, об от'езде ее мужа на войну. Княжна Марья обращается к невестке, ласковыми глазами указывая на ее живот: «Наверное?» Лицо княгини изменилось. Она вздохнула.—«Да, наверное»,— сказала она.—«Ах! это очень страшно!»... И губка маленькой княгини опустилась. На протяжении полутораста страниц мы видели уже четыре раза эту верхнюю губку с различными выражениями. Через двести страниц опять: «разговор шел общий и оживленный, благодаря голоску и губке с усиками, поднимавшейся над белыми зубами маленькой княгини». Во второй части романа она умирает от родов. Князь Андрей вошел в комнату жены; она мертвая лежала в том же положении, в котором он видел ее пять минут назад, и то же выражение, несмотря на остановившиеся глаза и на бледность щек, было в этом прелестном детском личике с губкой, покрытой черными волосиками: «я вас всех люблю и никому дурного не делала, и что вы со мной сделали?» Это происходит в 1805 году: «Война разгоралась, и театр ее приближался к русским границам». Среди описаний войны, автор не забывает сообщить, что над могилой маленькой княгини был поставлен мраморный памятник, изображавший ангела, у которого «была немного приподнята верхняя губа, и она придавала лицу его то самое выражение, которое князь Андрей прочел на лице своей мертвой жены: «ах, зачем вы это со мной сделали?» Прошли годы. Наполеон совершил свои завоевания в Европе. Он уже переступил через границу России. В затишьи Лысых Гор сын покойной княгини вырос, переменился, разрумянился, оброс курчавыми, темными волосами, и сам не зная того, смеясь и веселясь, поднимал верхнюю губку хорошенького ротика так же, как ее поднимала покойная маленькая княгиня». (Д. С. Мережковский, Творчество Л. Толстого и Достоевского, ч. II, гл. I, стр. 175-6.).

«Губка» делает княгиню личностью. Это умирает она, а не рожающая женщина вообще. Работает это место так же, как место о плененном Ростовым французе с дырочкой на подбородке.

Здесь обычная для Толстого работа на приеме-минимуме. Толстой применяет часто один знак системы*), если этого достаточно. Дырочка на подбородке может быть заменена эпитетом «кудрявый», как мы это видели в описании ад'ютанта Мюрата. Важно выделить деталь, и случайность, мелочность ее даже увеличивает частность героя. Сравните у позднего Льва Толстого:

«Иван Ильич видел, что он умирает, и был в постоянном отчаянии.

В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает, но он не только не привык к этому, но просто не понимал, никак не мог понять этого.

Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветера: Кай—человек, люди смертны, потому Кай смертен,—казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай, человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо; но он был не Кай и не вообще человек, а он всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо; но он был Ваня, с мама, с папа, с Митей и Володей, с игрушками, с кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного с полосками мячика, который так любил Ваня? Разве Кай целовал так руку матери, и разве для Кая так шуршал шелк складок платья матери? Разве он бунтовал за пирожки в правоведении?

И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, но мне Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями,—мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно».

Здесь прием не только применен, но и обнажен самим автором.

Далее Мережковский говорит о повторении эпитета «белый» при описании рук Наполеона.

«Белая пухлая ручка» Наполеона, так же, как все жирное выхоленное тело, повидимому, означает в представлении

*) Термин Юрия Тынянова (см. его книгу «Проблема стихотворного языка», Лгр. 1924 г.).

художника отсутствие телесного труда, принадлежность «героя»-выскочки к сословию людей «праздных», «сидящего на плечах рабочего народа», этой «черни», людей с грязными руками, которых он с такой беспечностью, одним движением белой ручки своей, посылает на смерть, как «мясо для пушек».

У Сперанского тоже «белые пухлые руки», при описании которых этим излюбленным приемом повторений и подчеркиваний Л. Толстой, кажется, несколько злоупотребляет: «князь Андрей наблюдал все движения Сперанского, недавно ничтожного семинариста и теперь в руках своих—этих белых, пухлых руках—имевшего судьбу России, как думал Болконский». «Ни у кого князь Андрей не видал такой нежной белизны лица и особенно рук, несколько широких, но необыкновенно пухлых, нежных и белых. Такую белизну и нежность лица князь Андрей видел только у солдат, долго пробывших в госпитале». (Д. Мережковский, op. cit., стр. 182-3.)

Наблюдение Мережковского верно, но не расчленено. Белые руки Сперанского работают на точном словесном смысле и играют роль понижающего фактора. Отсюда эта их навязчивость и сгущенность.

Этот прием акцентирования, выделения деталей очень резко ощущался современниками Толстого. Кроме приводимых в книге карикатур, об этом свидетельствует статья в сатирическом журнале «Искра» за 1868 г., не отмеченная в прежней толстовской библиографии. Привожу из нее цитату:

...«Если бы какой-нибудь художник пожелал воспроизвести на полотне знаменитую битву под Аустерлицем по роману «Война и Мир», то был бы, вероятно, в большом затруднении составить картину из материалов, которые дает ему гр. Толстой в своем описании этой битвы. Придерживаясь строго и добросовестно этого описания, художник должен будет изобразить следующую картину:

Во-первых, солнце Аустерлица, солнце, как известно, вовсе не похожее на обыкновенное солнце.

Во-вторых, дым. Нельзя же не быть дыму на сражении.

В-третьих, двух бегущих солдат и одного раненого офицера. Остального войска за дымом не видно.

И в-четвертых, наконец, «белую маленькую ручку» Наполеона, которого тоже в дыму не видно. Вот и вся картина по плану Льва Толстого». («Искра» 1868 г., № 13.)

Характеристика же княгини через ее губку—факт другого рода. Во-первых, это мы можем определить как протекающий образ, причем этот образ или эта смысловая величина все время попадает в разное значение, в разные контексты и поэтому она несколько раз доигрывает сама себя. Эта губка работает на законе неравенства, а белые руки Сперанского работают на законе равенства. В сюжетном же построении романа оба эти приема могут сливаться, потому что они суть приемы акцента. И тут нужно обяснить разницу характеристики действующих лиц у Толстого, в зависимости от их метража, как сказал бы кинематографист, или скажем, от количества строк, на них отведенных.

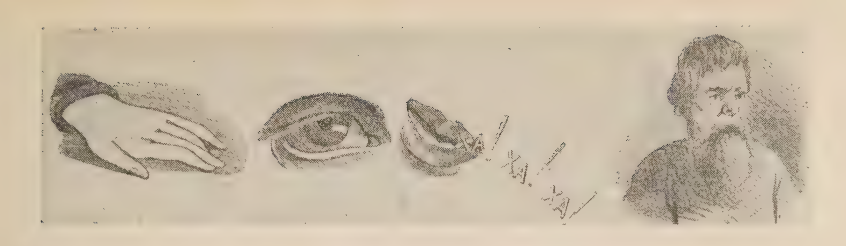
Вот в чем основная ошибка людей, применяющих в своих работах достижения, так называемых, формальных методов.

Они начинают интересоваться вопросами портретов у Толстого в «Войне и Мире», а вырезать какую-нибудь часть из вещи можно только с громадным наблюдением, и то возможны ошибки. Нужно видеть вещь в механизме целого или вернее видеть, как она создает механизм целого, и поэтому вопроса о портретах нет. Сейчас же нужно задать вопрос: какие портреты, в каких местах портреты, для чего портреты?

Размеры «Войны и Мира»—необыкновенные; т.-е. сравнительно необыкновенные, если считать на русский масштаб, т.-е. количество героев и большой исторический материал, требующий включения, давили на Льва Николаевича. Правда, он мог Андреем Болконским и Ростовым двигать исторический материал, т.-е. эти герои Толстого могли существовать при исторических событиях, видеть их; они так и делали. Но Льву Николаевичу для присутствования нужен был непонимающий человек, случайный наблюдатель, как я это разовью дальше, а к Андрею Болконскому, по выражению Анненкова, все приходили «позироваться».

Итак, Толстой должен был двигать большой материал и не мог сильно пользоваться смотрением нейтрального героя на историческое событие.

Если годился на это кто-нибудь из героев, то это Пьер; на второстепенных героев оставалось еще меньше места и то-



К стр. 99. Глава V. Из „Искры“ 1868 г.

В тексте дано пояснение рисунка. Над карикатурой была надпись:

„ДУМЫ И МЫСЛИ КНЯЗЯ АНДРЕЯ,

возведенные в перлы создания, для уяснения причин, почему он уехал, оставив союзников одних бороться с шипящей интригою старцев.“

Под отдельными рисунками были следующие четыре текста:

„Сперанского рука—белая и пухлая—не понравилась Болконскому.

Сперанского взгляд тоже не понравился Андрею.

Сперанского смех окончательно не нравился князю Андрею Болконскому.

А главное—ему совестно сделалось за себя, когда он вспомнил, как он озабоченно переводил статьи римского и французского свода. И для кого же все эти права!? Для какого-нибудь старосты Дрона!!!

И словом—событие это должно было быть потому, что ему надлежало свершиться“.



К стр. 100. Глава V. Из „Искры“ 1869 г.

Текст к этой карикатуре работает на материале толстовской патетики и толстовского детализма, которые в современном сознании слиты, а тогда ощущались противоречивыми.

„Пою от варваров Россию свобожденну.

Попранну галлов власть и гордость униженну...

—Дядюшка,—детки меня прерывают,—барышня ноздри зачем раздувает?

—Тише, малютки. То Анета Шерер пишет записки, гостей приглашая, желает вам их показать, ноздри ж у ней воинственным жаром раздуты, время, в то время, такое уж было.

О вы, ликующи теперь в местах небесных!

Во прежних видах мне явитеся телесных.

Вот и приехали гости, таких уже нынче в сказках не пишут: княгиня Болконская; вместе с усами, дар необычный от автора дан ей; чуть на нее старичек полюбуется, тотчас ей уподобится“.

гда Толстой давал им акцент. Они имели только одну черту, по ней их узнавали, как по знамени; причем акцентрированные приметы имеют именно второстепенные действующие лица, потому что главные действующие лица в этом не нуждаются. Их, по условиям литературной техники, можно было изложить шире и другим способом. Поэтому Андрей Болконский, Наташа Ростова ходят без акцентов, не разработаны в этой технике.

В заключение нужно оговориться еще об одной функции подробности, которая имеется в романе «Война и Мир».

Это именно та, против которой так протестовал Константин Леонтьев:

«Но, когда Пьер «тетешкает» (непременно т е т е ш к а е т, почему же не просто «н я н ь ч и т?») н а б о л ь ш о й р у к е с в о е й (эти руки!) того же ребенка, и ребенок вдруг м а р а е т ему руки,—это ничуть не нужно и ничего не доказывает. Это грязь для грязи, «искусство для искусства», натурализм сам для себя. Или, когда Пьер в той же сцене улыбается «своим б е з з у б ы м р т о м». Это еще хуже. На что это?—Это безобразие для безобразия. И ребенок не ежеминутно же марает родителей; и года Пьера Безухова (даже и в конце книги) еще не таковы, чтобы непременно не было зубов; могли быть, могли и не быть. Это уже не здравый реализм; это «дурная привычка», вроде привычки русских простолюдинов браться не за замок белой двери, а непременно «захватать» ее пальцами там, где не нужно».

В этом замечании Леонтьев неправ, потому что он, опять-таки, учитывает деталь художественного произведения вне ее композиционного значения.

Не нужно думать, что Л. Н. был переполнен наблюдениями и что он вообще не знал, куда их деть и что с ними сделать. Толстому часто приходилось даже повторять целые описания, характеристики и сцены самоповторением.

Например, в известном параде войск Кутузова, есть офицер, который шире от спины к груди, чем от плеча к плечу—это очень индивидуальная характеристика.

«Полковой командир был пожилой, сангвинический, с седеющими бровями и бакенбардами генерал, плотный и широкий больше от груди к спине, чем от одного плеча к другому».

Эта характеристика перенесена из Севастопольских рассказов.

«Офицер был невысок ростом, но чрезвычайно широк, и не столько от плеча до плеча, сколько от груди до спины; он был широк и плотен, шея и затылок были у него очень развиты и напружены».

Между тем полковой командир этот весь целиком, а не только это его свойство, никак в дальнейшем романе не работает; но здесь есть закон реализма.

Для возбуждения доверия читателя ему нужно сообщить лишнее, это какая-то бытовая прописка на фальшивом паспорте. Кроме того, сообщение черты вызывает у читателя впечатление созданного портрета, и ему кажется, что он видит действующее лицо. Отсюда эти купцы, появляющиеся на две строчки во время разгрома Москвы, но появляются с авторским упоминанием прыщей около их носа.

Повторения же у Л. Толстого (раз мы об них заговорили) обычны. На повторенных Севастопольских рассказах построено Бородино (русская часть). Приведу пример:

1) — «Л о ж и с ь! — крикнул чей-то голос.

Михайлов и Праскухин прилегли к земле. Праскухин, зажмурясь, слышал только, как бомба где-то очень близко шлепнулась на землю. Прошла секунда, показавшаяся часом,— бомбу не рвало. Праскухин испугался: не напрасно ли он струсил? может быть, бомба упала далеко, и ему только казалось, что трубка шипит тут же. Он открыл глаза и с удовольствием увидел, что Михайлов около самых ног его недвижимо лежал на земле. Но тут же глаза его на мгновение встретились 2) с светящейся трубкой в аршин от него крутившейся бомбы...

...Прошла еще секунда,— секунда, в которую целый мир чувств, мыслей, надежд, воспоминаний промелькнул в его воображении.

Но в это мгновение, еще сквозь закрытые веки, глаза его поразил 3) красный огонь; с страшным треском что-то толкнуло его в середину 4) груди; он побежал куда-то, споткнулся на подвернувшуюся под ноги саблю и упал на бок. («Севастопольские рассказы»).

1) — «Л о ж и с ь! — крикнул голос ад‘ютанта, прилегшего к земле.

Князь Андрей стоял в нерешительности. Граната, как волчек, дымясь, вертелась между ним и лежащим ад‘ютантом на краю пашни и луга, подле куста полыни.

«Неужели это смерть? — думал князь Андрей, совершенно новым, завистливым взглядом глядя на траву, 2) на полынь и на струйку дыма, вьющуюся от вертящегося черного мячика. —Я не могу, я не хочу умереть, я люблю жизнь, люблю эту траву, землю, воздух»... Он думал это и вместе с тем помнил о том, что на него смотрят. — Стыдно, господин офицер! — сказал он ад‘ютанту,—какой...

Он не договорил. В одно и то же 3) время послышался взрыв, свист осколков как бы разбитой рамы, душный запах пороха,4) и князь Андрей рванулся в сторону и, подняв кверху руки, упал на грудь.

Несколько офицеров подбежало к нему. С правой стороны живота расходилось по траве большое пятно крови. («Война и Мир», т. II, стр. 206).

Таким образом, мы видим два вида деталей: 1) безразличные; 2) обращенные.

Тенденцию Толстовской подачи подробностей вскрывает нам следующее место у К. Покровского, сравнивающего первоначальный (журнальный) и последующие тексты.

«Если внимательно, слово за слово, прочесть первые главы романа, то не трудно натолкнуться на целый ряд мелких несообразностей. Так, например, в самом начале разговора князя Василия и Анны Павловны мы читаем: «В середине разговора про политические действия Анна Павловна разгорячилась.—Ах, не говорите мне про Австрию»... и проч. Во-первых, князь Василий и Анна Павловна едва успели к этому времени обменяться приветствиями, и никакого политического разговора еще не было; во-вторых, князь Василий ни слова не говорил про Австрию, так что горячность Анны Павловны мало понятна. Но первоначально был и «политический разговор», была и шутка князя Василия относительно Австрии, так раздражившая его собеседницу.

Отметим еще один пример. «Я конченный человек,—сказал князь Андрей.—Что обо мне говорить, давай говорить о тебе,—сказал он (Пьеру), помолчав и улыбнувшись своим утешительным мыслям». Между тем в его словах, перед этим сказанных, не было ровно ничего утешительного, наоборот, очень много мрачного. Но первоначальный текст и в этом случае добавляет, что «по высоко и гордо поднятой красивой голове и яркому блеску взгляда видно было, как мало он верил в то, что говорил», что он говорил одно, а думал другое. Вероятно, Толстой, сокращая и переделывая текст, невольно помнил про себя смысл пропущенного отрывка, чем и можно об'яснить ряд таких мелких шероховатостей и противоречий». (К. Покровский. История работы Л. Н. Толстого над романом «Война и Мир», стр. 104).

Это мнение характерно по своей окончательной наивности.

Как мы уже показали и покажем дальше, Лев Толстой в своей работе пользовался противоречивостью деталей.

Все построение психологии героев, у него основано на противоречии между причиной и поводом-предлогом. Психология состоит в подбирании оснований для уже принятых решений.

Этот метод осознавался Л. Н. Толстым.

Осознав его, он с ним вернулся назад — переделал начало произведения.

Толстому именно нужно было, чтобы человек улыбался, говоря про мрачное.

Толстовская работа тут и состояла в увеличении деформации обычного рассказа. Мнение наивного читателя К. Покровского тем и любопытно нам, что мы в нем видим ощутимость толстовского приема. Поддаться приему безотчетно помешало К. Покровскому знание первоначального текста. Художественная наивность исследователя заставляет его поэтому рассматривать толстовскую работу как толстовские ошибки.

Детали у Толстого часто обращенные, перевернутые. Эйхенбаум заметил в «Севастопольских рассказах» некоторую толстовскую нарочитость в том, что люди, считающие себя убитыми, — ранены, и люди, считающие себя ранеными,—убиты. Это один из приемов толстовской обращенности.

В этом отношении любопытна переработка Толстым одного куска из записок Перовского:

«Война и Мир».

«Из всего того, что потом и он называл страданием, но которое тогда он почти не чувствовал, главное были босые, стертые, заструпелые ноги. (Лошадиное мясо было *вкусно* и *питательно*, селитряный букет пороха, употребляемого *вместо соли*, был даже приятен, холода большого не было и днем на ходу всегда бывало жарко, а ночью были костры; вши, евшие его, согревали его тело.) Одно было тяжело в первое время — это ноги».

«Записки Перовского».

«Мясо мертвых, давно убитых лошадей сделалось, наконец, единственною нашей пищей. Почерневши от времени и морозов, было оно *вредно для здоровья*, особенно же потому, что ели мы его *без соли* и *полусырое*. Бледные, в лоскутьях, без обуви представляли пленные картину ужасную и отвратительную».

Весь кусок, как видите, почти повторен, но Лев Николаевич Толстой изменил вкус мяса. Он не мог сделать это на основании показаний Перовского, не мог он сделать это и на основании своих других материалов. О вкусе мяса, посыпанного порохом, вот что пишет Михайловский-Данилевский:

«Редко удавалось фуражирам пригонять рогатый скот и овец, а потому войско принуждено было питаться конским падалищем, валявшимся по полям и в лагере. Всего более нуждались в *соли*, и вместо ее употребляли *порох*, но

от такого соления происходили неутолимая жажда и поносы, заставившие отказаться от пороха. Масла и сала вовсе не было; клали в пищу сальные свечи, предварительно вынимая из них светильни». (Михайловский-Данилевский, т. 3, ч. III, стр. 156.)

Доктор Роосс, на которого он ссылается, пишет следующее:

«Соли нехватало часто, но в особенности теперь. Поэтому иногда вместо нее употреблялся порох. При варке порох разлагался на свои составные части, так что уголь и сера всплывали черными пятнами и их снимали, селитра же растворялась в похлебке. Посол селитрой бывает острым, едким, неприятным; от него развивается жажда и понос; вот почему пришлось приучаться обходиться совсем без соли. Масла никогда не было, вместо него пускали в ход сало, иногда даже сальные свечи.

... Даже прислуга короля в конце-концов кормилась исключительно кониной. Навар от овечьего и коровьего мяса мы пили, как чай или кофе». (Генрих Роосс, С Наполеоном в Россию, стр. 173—4.)

Таким образом, мы видим, что, по мнению свидетелей, чему легко поверить, конское мясо, посыпанное порохом, невкусно. Правда, Толстой руководился в последних частях своего романа показаниями Липранди. Липранди же нужно было доказать военные причины разгрома Наполеона, т.-е. он был в числе установителей новой легенды, клонящейся к славе русского оружия. Поэтому Липранди доказывал, что у Наполеона в войсках голода не было, а так как было уже доказано, что наполеоновские войска ели в Москве конину, то Липранди приступил к реабилитации конины, не затронувши, однако, вопроса о вкусе галок и ворон, которых ели французы в Москве. Вот что пишет об этом современник войны 12-го года Ф. Корбелецкий:

ОДА.

Треть России ты прошедши,
Голод, наготу терпел,
И, провизию изведши,
Лошадей всех *переел.*
Вместо полевой дичины
Рад кусочку мертвечины,
Где на *падаль* попадал;

А в Москве был *даже жалок*,
Где грачей, ворон и галок,
Как *голодный волк*, глотал *).

«Сочинитель, находясь у французов в плену при свите Наполеона с 30 августа по 27 сентября, т.-е. до вшествия его в Москву и в бытность в оной, был вышеописанному очевидный свидетель. Еще до Москвы идучи, французы ели лошадиное мясо, и даже гвардия Наполеона не имела хлеба, а употребляла на походе пареную пшеницу и вассер-суп, т.-е. суп, в который на полведерный котел воды положено полфунта ржаной муки». (Ф. Корбелецкий. Краткое повествование о вторжении французов в Москву, СПБ. 1813 г., стр. 9).

Об этом же говорит и Михайловский-Данилевский.

...«Армейские солдаты добывали пропитание насилием, ходили по городу на охоту стрелять ворон и употребляли их в пищу; ели также лошадину и кошек». (Михайловский-Данилевский, Описание отечественной войны 1812 года, ч. III, стр. 137.)

Тут интересно, как одно и то же историческое показание, в зависимости от установки историков, различным образом используется. Таким образом, карикатуристы издеваются над голодающими французами в Москве, а Липранди доказывает, что французы очень не плохо питались, но и Липранди может доказать только, что жеребенок, специально откормленный, довольно вкусен.

«Не говоря о прежних сделанных мною кампаниях, во время Турецкой (1828 и 1829) войны, мне неоднократно случалось отведывать конину, в особенности мясо жеребенка, и когда у которого-нибудь из казачьих начальников оно приготовлялось, многие спешили, как на праздник». (Липранди, И. П., Некоторые замечания о действительных причинах гибели Наполеоновских полчищ в 1812 году. СПБ. 1855 г., стр. 15.)

Таким образом, утверждение хорошего вкуса конского мяса, посыпанного порохом, остается целиком на ответственности Льва Николаевича Толстого.

Другой пример обращенности следующий:

...«Проехав егерский полк, в рядах киевских гренадер, молодцеватых людей, занятых теми же мирными делами,

*) Курсив подлинника.

князь Андрей недалеко от высокого, отличавшегося от других балагана полкового командира наехал на фронт взвода гренадер, перед которыми лежал обнаженный человек. Двое солдат держали его, а двое взмахивали гибкими прутьями и мерно ударяли по обнаженной спине. Наказываемый неестественно кричал. Толстый майор ходил перед фронтом и, не переставая и не обращая внимания на крик, говорил:

— Солдату позорно красть, солдат должен быть честен, благороден и храбр; а коли у своего брата украл, так в нем чести нет; это мерзавец. Еще, еще!

И все слышались гибкие удары и отчаянный, но притворный крик.

— Еще, еще,— приговаривал майор.

Молодой офицер, с выражением недоумения и страдания в лице, отошел от наказываемого, оглядываясь вопросительно на проезжавшего ад'ютанта». (Т. I, стр. 166.)

Здесь любопытно, что наказываемый кричит притворно. У Толстого даже раненые стонут притворно; Толстой здесь настаивает. У него два раза определяется крик: один раз как неестественный, другой раз как притворный, при чем молодой офицер, которого не наказывают, очевидно, страдает искренно.

В свое время Л. Н. так же описал сцену между Нехлюдовым и его слугой, на безобразность которой тогда же указал Писарев. Толстой сострадает здесь Нехлюдову, а не человеку, которого Нехлюдов побил. Там, конечно, сказалась классовая установка Толстого. Но в приведенном у нас примере установка Толстого и смогла выразиться так отчетливо потому, что она попадала на общий толстовский стилистический прием. Еще легче проследить прием у Толстого в описании пожара Москвы. Конечно, лучшими сценами в романе оказались те, где стилевые навыки и приемы Толстого получили наилучшую мотивировку,— это сцена умирания Андрея Болконского, когда мир остранен тем, что распалось его обычное восприятие, т.-е. Андрей Болконский, умирая, болен стилистическим приемом Толстого.

Вот как Андрей Болконский реагирует на пожар Москвы:

«Ей рассказывали, что Москва вся сгорела, совершенно; что будто бы...

Наташа остановилась: нельзя было говорить. Он, очевидно, делал усилия, чтобы слушать, и все-таки не мог.

— Д а, с г о р е л а, г о в о р я т,— сказал он.— Это очень жалко,— и он стал смотреть вперед, пальцами рассеянно расправляя усы». («Война и Мир». Т. IV, стр. 48.)

Здесь мы можем сказать, что Андрей Болконский болен перитонитом и, может быть, так воспринимают войну раненые в живот. Но вот интересно отметить, что не раненая Наташа так же относится к пожару Москвы. Правда, она находится в состоянии аффекта по поводу того, что Андрей Болконский здесь недалеко и умирает.

...«Ах, какой ужас!—сказала, возвратившись со двора, иззябшая и испуганная Соня.—Я думаю, вся Москва сгорит; ужасное зарево. Наташа, посмотри, теперь отсюда из окошка видно,— сказала она сестре, видимо желая чем-нибудь развлечь ее.

Но Наташа посмотрела на нее, как бы не понимая того, что у ней спрашивали, и опять уставилась глазами в угол печи.

— Посмотри, Наташа, как ужасно горит,— сказала Соня.

— Ч т о   г о р и т? — спросила   Наташа. — А х,   д а, М о с к в а.

И как бы для того, чтобы не обидеть Соню отказом и отделаться от нее, она подвинула голову к окну, поглядела так, что, очевидно, не могла ничего видеть, и опять села в свое прежнее положение.

— Да ты не видела?

— Нет, право, я видела,— умоляющим о спокойствии голосом сказала она. (Т. III, стр. 306.)

Эти два отрывка дают перевернутое восприятие пожара Москвы: здесь же видна стилистическая настойчивость, хотя и очень хорошо мотивированная.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ПЕРЕДАЧА СОБЫТИЯ ЧЕРЕЗ ГЕРОЯ, КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ОСТРАНЕНИЯ

Отдельный, связанный с землею купчей крепостью, а с государством через землю, не нуждающийся в путях сообщения, архаический и анархический Толстой боролся с законом причинности.

Мне пришлось ездить по Чехии, и я убедился в том, что это трудное занятие.

Дороги по Чехии идут через нее на Вену. В стране остались не связанные или связанные потом, сходящиеся где-то вовне отрезки.

Пути истории для Толстого были как пути чешских железных дорог.

Жизнь для него была внезаконна, и он не смог связаться с телеграфами и войнами. Перенесенное в искусство, это мировоззрение дало установку на недоверие к жизни и потребность ее пересказать, о с т р а н и т ь. Основным приемом здесь оказалась примерка вещи на человеке, не связанным с ней, передача игры через человека вне игры.

Поэтому очень большое количество событий у Толстого «передается через героя». Этот герой нужен Толстому для непонимания событий. Он и воспринимает обычно события по-особенному. Правильно, канонично воспринимает жизнь, верит в ее связанность из всех семейных героев у Толстого одна Вера. Она говорит все правильно и умно, и все ее за это презирают.

«Старшая, Вера, была хороша, была не глупа, училась прекрасно, была хорошо воспитана, голос у нее был приятный, то, что она сказала, было справедливо и уместно; но, странное дело, все и гостья и графиня оглянулись на нее,

как-будто удивилась, зачем она это сказала, и почувствовали неловкость». (Т. I, стр. 42.)

По классовому признаку Вера иная, чем Ростовы. В сущности говоря, она и не дворянка, она Берг, а не Ростова, жена военного чиновника. (Берг, конечно, офицер, но не обычный.) Жизнь Веры городская и состоит в устраивании квартиры. Сама же Вера, как-будто место пересечения координат, ненавистное Толстому обычное восприятие.

Метод передачи через героев был в наивной форме отмечен у Толстого, уже при появлении романа.

«Автор не рассказывает о событиях и происшествиях, а как бы рисует и живописует их перед глазами читателя. На крупный исторический факт у него смотрит всегда кто-нибудь из самых обыкновенных смертных, и по впечатлениям этого простого смертного уже составляется художественный материал и оболочка события». [«Северная Пчела». СПБ. 1869 г., март, № 12. Отдел: Критика. Статья Н. С-ва (Страхова).]

Степень деформации материала при этом очень различна.

Очень много проведено через Ростова. Это восприятие среднего человека. Здесь остранение дано не недоверием, а частным отношением и ощущением неосуществляющихся схем.

Государь, Россия не остранены для Толстого, остранен Наполеон, сражение. Занятость Ростова в романе и занятость «героев» у Толстого вообще, это—вовлечение и изменение материала, а не проявление себя. Не знаю, как во всей литературе, но у Л. Н. роль героя таким образом вторична, он вызывается действием, а не определяет действие.

Роль Ростова при Тильзите простая: он стягивает куски романа и переносит в обстановку придворного торжества, к довольному Наполеону и Александру, воспоминания—очень смягченные—о солдатах, гниющих в госпиталях, и о всей неудаче. Остранение боя Ростовым делается несколько иначе. Здесь Толстой прибегает к приему двойственности. Он сводится к одновременному осуществлению двух рядов, не зависящих друг от друга и остраняющихся взаимно. Например, зажгут мост—люди стоят и едят пирожки.

Солдаты под огнем идут по мосту, и думают о женщине. Старый князь сообщает Мари о смерти сына—и визжит колесо. Сюда же можно отнести и деформированный песней разговор между идущим в строю Долоховым и Жерковым.

«Бойкая песня придавала особенное значение тону развязной веселости, с которой говорил Жерков, и умышленной холодности ответов Долохова.

— Ну, как ладишь с начальством?—спросил Жерков.

— Ничего, хорошие люди. Ты как в штаб затесался?

— Прикомандирован, дежурю.

Они помолчали.

«Выпускала сокола, да из правого рукава»,— говорила песня, невольно возбуждая бодрое, веселое чувство. Разговор их, вероятно, был бы другой, ежели бы они говорили не при звуках песни». («Война и Мир». Т. I, стр. 115.)

В каждом отдельном случае прием не исполняет той своей первоначальной, иногда даже единичной функции, которую он имел при своем создании. Генезис приема не равен его функции. Может случиться даже, что прием, как раскраска в лубочной картинке, перейдет свой контур или даже примет в своем применении противоположное направление. У Толстого в результате остраненным оказалось именно то общество, которое он хотел реабилитировать. Это заметил уже Салтыков-Щедрин.

...«Не могу не привести комичный, желчный отзыв о «Войне и Мире» М. Е. Салтыкова.

В 1866—67 г.г. Салтыков жил в Туле, равно как и мой муж. Он бывал у Салтыкова и передал мне его мнение насчет двух частей «1805 года». Надо сказать, что Лев Николаевич и Салтыков, несмотря на близкое соседство, никогда не бывали друг у друга. Почему, не знаю. Я в те времена как-то не интересовалась этим. Салтыков говорил:

— Эти военные сцены — одна ложь и суета... Багратион и Кутузов—кукольные генералы. А вообще—болтовня нянюшек и мамушек... А вот наше, так называемое, «высшее общество» граф лихо прохватил...» (Т. А. Кузьминская, Записки прошлого, часть III, стр. 43.)

И это было одной из причин принятия романа в мягкой форме, в форме обычного для русской публицистической критики пересказывания и перенаправления художественной формы. Это сделал уже Страхов.

«Если смотреть на «Войну и Мир» с этой точки зрения, то можно принять эту книгу за самое ярое обличение Александровской эпохи,— за неподкупное разоблачение всех язв, которыми она страдала. Обличены — своекорыстие, пустота, фальшивость, разврат, глупость тогдашнего высшего круга; бессмысленная, ленивая, обжорливая жизнь московского общества и богатых помещиков, вроде Ростовых; затем, величайшие беспорядки везде, особенно в армии, во время войн; повсюду показаны люди, которые, среди крови и битв, руководятся личными выгодами и приносят им в жертву общее благо; выставлены страшные бедствия, происходившие от несогласия и мелочного честолюбия начальников,— от отсутствия твердой руки в управлении; выведена на сцену целая толпа трусов, подлецов, воров, развратников, шулеров; ярко показана грубость и дикость народа (в Смоленске муж, бьющий жену; бунт в Богучарове).

Так что, если бы кто-нибудь вздумал написать по поводу «Войны и Мира» статью, подобную статье Добролюбова «Темное царство», то нашел бы в произведении гр. Л. Н. Толстого обильные материалы для этой темы». (Н. Страхов, Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом, стр. 240 — 1.)

Но перейдем к Ростову, которого Толстой не опрокинул и не хотел опрокинуть. Двойственность переживаний Ростова состоит в том, что он все время боя своим восприятием выпадает из батальной традиции. Здесь есть аналогия с героями Стендаля.

«Высвободив ногу, он поднялся. «Где, с какой стороны была теперь та черта, которая так резко отделяла два войска?» он спрашивал себя и не мог ответить. «Уж не дурное ли что-нибудь случилось со мной? Бывают ли такие случаи, и что надо делать в таких случаях?» спросил он сам себя, вставая; и в это время почувствовал, что что-то лишнее висит на его левой онемевшей руке. Кисть ее была как чужая. Он оглядывал руку, тщетно отыскивая на ней кровь. «Ну, вот и люди», подумал он радостно, увидав несколько человек, бежавших к нему. «Они мне помогут!» Впереди этих людей бежал один в странном кивере и в синей шинели, черный, загорелый, с горбатым носом. Еще два и еще много бежало сзади. Один из них проговорил что-то странное, не русское. Между задними такими же людьми, в таких же киверах, стоял один русский гусар. Его держали за руки; позади него держали его лошадь.

«Верно, наш пленный... Да. Неужели и меня возьмут? Что эти за люди?» все думал Ростов, не веря своим глазам. «Неужели французы?» Он смотрел на приближавшихся французов и, несмотря на то, что за секунду скакал только затем, чтобы настигнуть этих французов и изрубить их, близость их казалась ему теперь так ужасна, что он не верил своим глазам. «Кто они? Зачем они бегут? Неужели ко мне? Неужели ко мне они бегут? И зачем? Убить меня? Меня, кого так любят все?» Ему вспомнилась любовь к нему его матери, семьи, друзей, и намерение неприятелей убить его показалось невозможно. «А, может, и убить!» Он более десяти секунд стоял, не двигаясь с места и не понимая своего положения. Передний француз с горбатым носом подбежал так близко, что уже видно было выражение его лица, и разгоряченная чуждая физиономия этого человека, который со штыком на перевес, сдерживая дыханье, легко подбежал к нему, испугала Ростова. Он схватил пистолет и вместо того, чтобы стрелять из него, бросил им во француза и побежал к кустам, что было силы. Не с тем чувством сомнения и борьбы, с каким он ходил на Энский мост, бежал он, а с чувством зайца, убегающего от собак. Одно нераздельное чувство страха за свою молодую, счастливую жизнь владело всем его существом». (Т. I, стр. 179.)

Еще раньше другой бой остраняется традиционно небом.

...«Николай Ростов отвернулся и, как будто отыскивая чего-то, стал смотреть на даль, на воду Дуная, на небо, на солнце. Как хорошо показалось небо, как голубо, спокойно и глубоко! Как ярко и торжественно опускающееся солнце! Как ласково-глянцевито блестела вода в далеком Дунае! И еще лучше были далекие, голубеющие за Дунаем горы, монастырь, таинственные ущелья, залитые до макуш туманом сосновые леса... Там тихо, счастливо». (Т. I, стр. 141.)

Кроме восприятия Ростова, в дело, как я уже говорил, введено восприятие свитских офицеров, смотрящих на мост, и словесное остранение через слова не умеющего говорить по-русски командира.

Я разбирал уже в своих прежних книгах чрезвычайно интересно мотивированное остранение через героя, данное Толстым в линии Наташи. Недоверчивость к обычному восприятию распространяется Толстым вообще на всех его героев, и можно сказать, что традиционное восприятие у толстовских героев есть только тогда, когда их восприятие вообще не анализируется. Толстовское остранение мало

может быть оценено как метод характеристики героя; оно вообще — метод характеристики события.

В линии Наташи ярко выраженное остранение встречается два раза. Это Наташа в церкви и Наташа в опере.

Почти не остранена Соня, но зато Толстой один раз изменил ее гримом и мужским костюмом.

...«Николай оглянулся на Соню и пригнулся, чтобы ближе рассмотреть ее лицо. Какое-то совсем новое, милое лицо, с черными бровями и усами, в лунном свете, близко и далеко, выглядывало из соболей.

«Это прежде была Соня», подумал Николай. Он ближе взглянул в нее и улыбнулся.

— Вы что, Nicolas?

— Ничего,— сказал он и повернулся опять к лошадям». (Т. II, стр. 226.)

Не создавая характеристики героя, остранение, все-таки, увеличивает его вес, и поэтому Соня, так безжалостно обобранная Толстым и служившая эталоном для Наташи, ее фоном, не могла быть использована писателем для применения любимого приема.

Я уже, кажется, говорил про случай не остраненной передачи через героя. Это рассказ о толках в городе, переданный через вестовщика; он целиком и полностью взят из книги Корфа о Сперанском.

Лев Николаевич создает мнимого вестовщика. У него есть определенная цитата, нуждающаяся во введении в книгу. Ее можно было бы ввести безлично, но Лев Николаевич вместо этого, с настоящей скупостью мастера, дает след человека; только знак системы появления этого человека; этот человек появляется, рассказывает что-то и сейчас же исчезает. Ввиду характерности приведу это место вместе с его источником:

«Приехавший был Бицкий, служивший в различных комиссиях, бывший во всех обществах Петербурга, страстный поклонник новых идей и Сперанского и озабоченный вестовщик Петербурга, один из тех людей, которые выбирают направление, как платье — по моде, но которые поэтому-то кажутся самыми горячими партизанами направления. Он озабоченно, едва успев снять шляпу, вбежал к князю Андрею и тотчас же начал говорить. Он только-что узнал подробности заседания государственного совета ны-

нешнего утра, открытого государем, и с восторгом рассказывал о том. Речь государя была необычайна. Это была одна из тех речей, которые произносятся только конституционными монархами. «Государь прямо сказал, что совет и сенат суть государственные сословия; он сказал, что правление должно иметь основанием не произвол, а твердые начала. Государь сказал, что финансы должны быть преобразованы и отчеты быть публичны», рассказывал Бицкий, ударяя на известные слова и значительно раскрывая глаза.

— «Да, нынешнее событие есть эра, величайшая эра в нашей истории,— заключил он». (Т. II, стр. 165—6.)

— «Александр провозглашал перед лицом России, что «законы гражданские, сколько бы они ни были совершенны, без государственных установлений не могут быть тверды; совет и сенат прямо названы были сословиями; впервые всенародно выражено сознание, что положение государственных доходов и расходов требует неукоснительного рассмотрения и определения; впервые возвещено, что разум всех усовершений государственных должен состоять в учреждении образа правления на твердых и непременяемых основаниях закона; наконец, все образование совета, в котором была особая глава под названием коренных его законов, носило на себе явный отпечаток понятий и форм, совершенно новых в нашем общественном устройстве». (Барон Корф, Жизнь графа Сперанского. М. 1861 г.)

Замечу здесь же, что Л. Н. довольно часто вводил таких людей для реплики — людей, характеризуемых только цитатой.

Так человек больших достоинств в салоне Анны Павловны Шерер характеризует запаздывание мнений, т.-е.— он мера вчерашнего дня, от него отсчитывается изменение политического или салонного настроения.

Еще любопытнее введение русского писателя в другой салон. Этот писатель появляется только для того, чтобы выразить мнение, что выражение «удовольствие быть»— галлицизм. Характеристики этот человек не имеет. Рядом с ним находится Сергей Глинка, но писатель этот — не Сергей Глинка. Это Толстой, просунувшийся в роман, но говорящий свою реплику через условный знак маски.

Таким образом, героя нет, есть только знак героя. Но одно упоминание — намек на характеристику позволяет воспринимать исторические сведения как нечто романное и создает, все-таки, слабый сдвиг исторического события, некоторый комизм серьезности сообщения. Таким образом, герой может остранять событие, почти не существуя сам.

Имя героя во многих случаях может с успехом заменить его характеристику. Но встречаются и противоположные примеры: герой может двигать сюжет, оставаясь безыменным или даже не имея одного, твердо установленного, имени.

Во всех частях «1805-го года», напечатанных в «Русском Вестнике», и в 3 первых томах «Войны и Мира» Пьер называется: граф Безухий или (гораздо реже) граф Безухой. Не только фамилия Пьера, но и его титул не были окончательно выяснены Л. Н. Толстым, потому что они не имели конструктивного значения в романе. Отсюда — колебания между графом Безухим и князем Безухим.

...«Разговор зашел о главной городской новости того времени, о болезни известного богача и красавца Екатерининского времени, старого графа Безухого, и его незаконном сыне, Пьере, который так неприлично вел себя на вечере у Анны Павловны Шерар». («1805 год». Стр. 106.)

В то же время на стр. 122... «вот князь Кирилл Владимирович Безухий живет один»...

На той же стр. ...«Двор известного, с колоннами дома графа Кирилла Владимировича Безухого»...

На стр. 126 (гл. XX). ... «по завещанию графа Безухого».

На стр. 133 (гл. XXII). «когда Анна Михайловна уехала с сыном к князю Кириллу Владимировичу Безухому»... («Русский вестник» 1865 г., кн. I.)

На стр. 602. (XXXIV). ... est la mort du vieux comte Безухой; дальше — par consequent comte Безухой, est devenue comte Безухий». «Русский Вестник» 1865 г., кн. 2.)

И только в I томе «Войны и Мира» на стр. 97 (изд. 1868 г.) Пьер Безухий неожиданно становится Пьером Безуховым.

Фамилия Пьера, бывшая до этого времени вполне нейтральным материалом, здесь выдвигается в новой конструктивной функции: сумма ее букв должна составить «звериное число», связывающее Пьера с Наполеоном.

Суффиксы «ий» или «ой» давали значительно большие числа и поэтому были заменены суффиксом «ов».

L'	*r*	*u*	*s*	*s*	*e*	*B*	*e*	*s*	*u*	*h*	*y*
20 +	80 +	110 +	90 +	90 +	5 +	2 +	5 +	90 +	110 +	8 +	150
100 +		200 +		102 +				200 +		158	

a = 1	*l* = 20	*v* = 120	
в = 2	*m* = 30	*w* = 130	
c = 3	*n* = 40	*x* = 140	
d = 4	*o* = 50	*y* = 150	
e = 5	*p* = 60	*z* = 160	
f = 6	*q* = 70		
g = 7	*r* = 80		
h = 8	*s* = 90		*L'russe Besuhy* = 760
i = 9	*t* = 100		*L'russe Besuh* = 760 — 150 = 610
k = 10	*u* = 110		*L'russe Besuh* + *of* = 610 + 56 = 666

Конец пребывания Наташи в церкви представляет локальный момент. Обычное течение службы нарушено, и молятся о победе над французами. Тут использование необычайности молитвы подчеркнуто знанием службы Наташей. Дан момент: неожиданной вынос скамеечки, который является как бы вывешиванием дощечки о необыкновенной службе. В молитве просят о победе над врагами.

«В том состоянии раскрытости душевной, в которой находилась Наташа, эта молитва сильно подействовала на нее. Она слушала каждое слово о победе Моисея на Амалика, и Гедеона на Мадиама, и Давида на Голиафа, и о разорении Иерусалима твоего, и просила бога с тою нежностью и размягченностью, которой было переполнено ее сердце; но не понимала хорошенько, о чем она просила бога в этой молитве. Она всей душой участвовала в прошении о духе правом, об укреплении сердца верою, надеждою и о воодушевлении их любовью. Но она не могла молиться о попрании под ноги врагов своих, когда она за несколько минут перед этим только желала иметь их больше, чтобы молиться за них. Но она тоже не могла сомневаться в правоте читаемой коленопреклонной молитвы. Она ощущала в душе своей благоговейный и трепетный ужас пред наказанием, постигшим людей за их грехи, в особенности за свои грехи,

и просила бога о том, чтобы он простил их всех и ее и дал бы им всем и ей спокойствия и счастья в жизни. И ей казались, что бог слышит ее молитву». (Т. III, стр. 63.)

Наташа, несмотря на противоречивость молитвы христианской схеме, молится за покорение врагов, за которых она только-что молилась. Тут ирония Толстого тоже превышает рамки его романа, и все изображение церкви предвосхищает его будущее отношение к официальной религии. Художественный прием продолжен Толстым на материале, который, казалось бы, для него был запрещен.

Для анализа традиционного остранения, любопытно просмотреть изображение восприятий Наташи. Неузнавание вещей Наташей мотивировано здесь тем, что она попала в Москву из деревни. Прием осуществлен следующим образом: вещи не узнаются и описываются методами других рядов.

«На сцене были ровные доски посредине, с боков стояли крашеные картины, изображавшие деревья, позади было протянуто полотно на досках. В середине сцены сидели девицы в красных корсажах и белых юбках. Одна, очень толстая, в шелковом белом платье, сидела особо на низкой скамеечке, к которой был приклеен сзади зеленый картон. Все они пели что-то. Когда они кончили свою песню, девица в белом подошла к будочке суфлера, и к ней подошел мужчина в шелковых, в обтяжку, панталонах на толстых ногах, с пером и кинжалом и стал петь и разводить руками.

Мужчина в обтянутых панталонах пропел один, потом пропела она. Потом оба замолчали, заиграла музыка, и мужчина стал перебирать пальцами руку девицы в белом платье, очевидно выжидая опять такта, чтобы начать свою партию вместе с нею. Они пропели вдвоем, и все в театре стали хлопать и кричать, а мужчины и женщины на сцене, которые изображали влюбленных, стали, улыбаясь и разводя руками, кланяться». (Т. II, стр. 261.)

Второй отрывок еще более деформирован. В первом отрывке еще осталась будочка суфлера и сцена. Были переложены своими словами только «кулисы» (крашенные картинки) и «актеры». Во втором акте переложено все, кроме первых слов «во втором акте», которые должны ввести театральность и которые просто нельзя было выкинуть.

Дальше идет пересказ не действия, производимого на публику, а техники действия, при чем все мотивировки выкинуты. Это типичный случай остранения, и в этом отрывке лежит календарный план книги Толстого «Что такое искусство», потому что существует несколько искусств. Есть искусство цитатное, работающее на привычной эмоциональности образов и комбинирующее эти образы. В одном из своих ответвлений это искусство называется романтизмом; это искусство, работающее необычайными вещами. И существует искусство, делающее вещи необычайными, основанное на недоверии к вещам; и таким было искусство Льва Николаевича Толстого:

«Во втором акте были картины, изображающие монументы, и была дыра в полотне, изображающая луну, и абажуры на рампе подняли, и стали играть в басу трубы и контрабасы, и справа и слева вышло много людей в черных мантиях. Люди стали махать руками, и в руках у них было что-то вроде кинжалов; потом прибежали еще какие-то люди и стали тащить прочь ту девицу, которая была прежде в белом, а теперь в голубом платье. Они не утащили ее сразу, а долго с ней пели, а потом уже ее утащили, и за кулисами ударили три раза во что-то металлическое, и все стали на колени и запели молитву. Несколько раз все эти действия прерывались восторженными криками зрителей». (Т. II, стр. 263.)

Наташа принадлежит к романной линии произведения, она—скрещение интересов действующих лиц, и поэтому место в опере, сперва недоверие Наташи, а потом вера к опере могут быть об'яснены как характеристика Наташи, при чем любопытно, что остранение в церкви и остранение в театре дано главным образом через автора и только потом оно связано с отношением Наташи к Анатолю.

Между тем, в первоначальной толстовской характеристике про Наташу сказано, что она хочет замуж и вообще. К этому «вообще» профессор Грузинский, специальность которого вообще история литературы, поставил знак вопроса. Между прочим в этом «вообще» нет ничего странного. Сам Толстой пишет: «Наташе нужен муж, а не-то и два». Она хочет жить с мужчинами; у нее есть любовь, и она

подбирает любовника. Поэтому дополнительные мотивировки к Наташиной измене ни в каком театре не были нужны: мотивировка измены физиологическая; и вот, на эту физиологическую линию мотивировки сильно сердились современники Толстого. Таким образом, и сцена в театре может быть слабо использована как характеристика изменения психики Наташи. И вообще говорить, что определенный эпизод служит для характеристики определенного героя, человеку, знающему механизм романа, нельзя. Это лишь ретроспективное ощущение, ощущение уже получившегося: эпизод переходит от героя к герою совершено просто.

Я уже указывал на неудачный отрывок толстовской прозы, названной автором:—«Сон». Он предлагался в романе то Пьеру Безухову, то Николаю Ростову. Таким образом, этот «Сон» не может быть уже характеристикой героя, если он, по мнению Толстого, мог присниться в разное время разным героям. Но, конечно, здесь можно возразить, что он не приснился, что он не привился роману — это пример толстовской неудачи.

Приведу здесь показание Срезневского:

«Сон»—небольшая вещица: в первой редакции его в нем около 600 слов, в последней всего около 430. В «Сне» Толстой в один из первых раз применил тот им излюбленный впоследствии прием изложения, который применял очень часто в течение своей деятельности до конца своих дней,—изображение ощущений героя или своих мыслей как бы вне действительной жизни, как сон или бред.

«Он стоял на каком-то странном возвышении, белом, колеблющемся, над громадной, как море, толпой, и, гипнотизируя эту толпу, говорил ей.

И вот во время вдохновенной речи он вдруг ощутил на себе чей-то взгляд —«чужой, свободный», не похожий на взгляды восхищенных им людей: в толпе, не соединяясь с ней, шла женщина. В ней, в этой женщине, было все, что любят. И к ней «сладко и больно» его тянула непреодолимая сила. Она посмотрела и отвернулась, и во взгляде ее была «кроткая насмешка и чуть заметное сожаление».— Она ничего не понимала из того, что он говорил, и не жалела об этом, а жалела только о нем. Ему стало стыдно от ее взгляда. Он хотел говорить еще, но слов уже не было. Он

весь ушел в нее и не мог «вынуть из себя ее взгляда». Она же была полна счастья, ей никого не нужно было, и потому он чувствовал, что без нее нельзя жить. Но мрак закрыл ее от него, и он заплакал; он плакал о прошедшем, о чужом счастьи... но в слезах его было и счастье — настоящего»... (Толстой 1850—1860. Редакция Срезневского. Материалы, статьи. Ленинград, 1927, стр. 73.)

... Через пять лет, в 1863 г., какие-то обстоятельства опять вызвали «Сон» к жизни. Толстой снова его пересмотрел, переправил, дал переписать и на этот раз решился предложить его издать. Он остановился и, конечно, неудачно на Иване Сергеевиче Аксакове, редакторе славянофильского «Дня». Впрочем, и тут своего имени он не захотел связать со «Сном», считая его, может быть, произведением слишком далеким от тех, которые дали ему известность, слишком идущим с ними в разрез и своим стилем, и течением мыслей. Он решил скрыться за другое лицо и послал свой «Сон» от имени Натальи Петровны Охотницкой, как первый ее «литературный опыт».

Этой попыткой передать «Сон» гласности дело не ограничилось. Слова Толстого, что он знает, что написал свой «Сон» хорошо, записаны были им в дневнике не по-русскому. Через год или два, в 1864 или в начале 1865 г., во время работы над «Войной и Миром», тогда еще называвшимся «1805-м годом», он вспомнил про свое произведение и решил включить его в роман. В рукописи «Войны и Мира» нашелся вложенный листок с третьею редакцией «Сна», написанный не тем почерком, которым Л. Н. писал в эпоху «Войны и Мира», а более ранним, с поправками почерка времени «Войны и Мира»; в этих поправках главное место занимают переправки стоящих везде в «Сне» оборотов в первом лице на обороты в третьем: вместо «Я во сне стоял на колеблющемся возвышении», «он во сне стоял»... и пр. «Сон» должен был войти в главу, в которой рассказывается о падении Николая Ростова, и как и вся эта глава, в печатный текст не вошел.

Но и на этот раз Толстой не хотел помириться с мыслью о возможности забыть «Сон». Продолжая работу над «Войной и Миром», он предположил связать его с Пьером. (Толстой 1850 — 1860. Редакция Срезневского, стр. 77.)

Есть чрезвычайно любопытная история о сватовстве Сперанского. Привожу ее:

«Незнакомка была дочь вдовы Стивено, Елисавета. Сперанский до тех пор не только никогда не видел ни матери,

ни дочери, но даже не знал об их существовании». (Бар. Корф. Жизнь графа Сперанского, стр. 71.)

...«Девушка говорила с сидевшею возле нее дамой по-английски и обворожительно гармонический голос довершил действие, произведенное на меня ее наружностью. Одна лишь прекрасная душа может издавать такие звуки, подумал я, и если хоть слово произнесет на знакомом мне языке это прелестное существо, то оно будет моею женою. Никогда в жизни не мучили меня так сомнение и нетерпеливость узнать мою судьбу, пока на вопрос, сделанный кем-то из общества по-французски, девушка, закрасневшись, отвечала тоже по-французски, с заметным, правда, английским ударением, но правильно и свободно. С этой минуты участь моя была решена и, не имея понятия ни о состоянии и положении девушки, ни даже о том, как ее зовут, я тут же в душе с нею обручился». (Бар. Корф, op. cit., стр. 72.)

Толстой использовал ее и использование находится имено в этом отрезке романа, но использовал он ее, передав не Сперанскому, а Андрею Болконскому.

«Ежели она подойдет прежде к своей кузине, а потом к другой даме, то она будет моей женой», сказал совершенно неожиданно сам себе князь Андрей, глядя на нее. Она подошла прежде к кузине». (Т. II, стр. 164.)

Разница в характеристике между Сперанским и Болконским очевидна, но отрывок перешел удачно.

Мнение Кузьминской о «биографическом» происхождении эпизода, ни на чем не основано и представляет собой обычную ошибку этого мемуариста-беллетриста. Вся книга Кузьминской для человека, занимающегося фольклором,— собрание легенд.

«Лев Николаевич в романе «Война и Мир» взял тип сватовства жениха Тали—Мебеса. Мебес, увидя Талю в первый раз в ложе театра, прельстясь ею, сказал себя: «Das soll mein Weid werden» (эта должна быть моей женой), и действительно менее, чем через год, он женился на ней». (Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне, ч. II, 1863—1864, стр. 39).

Как видите, приведенное Кузминской воспоминание не совпадает с Толстовским местом, так как у Кузминской нет загадывания.

Но наиболее прославленный и наиболее разработанный случай отстранения имеет реального носителя; — это чело-

сказ части Бородина через восприятие штатского человека — Пьера. Любопытно отметить, что Пьер, композиционно говоря, выехал на Бородино не в первый раз. Толстой уже применял этот прием, выпустивши в один из боев вместо Багратиона аудитора, т.-е. штатского человека. Аудитор появился только для создания контраста, но по своей телесной характеристике и по композиционной роли он совершенно совпадает с Пьером.

«За князем Багратионом ехали: свитский офицер, личный ад'ютант князя, Жерков, ординарец, дежурный штаб-офицер на энглизированной красивой лошади и статский чиновник, аудитор, который из любопытства попросился ехать в сражение. Аудитор, полный мужчина с полным лицом, с наивной улыбкой радости оглядывался вокруг, трясясь на своей лошади, представляя странный вид в своей камлотовой шинели на фурштатском седле среди гусар, казаков и ад'ютантов.

— Вот хочет сражение посмотреть,— сказал Жерков Болконскому, указывая на аудитора,— да под ложечкой уж заболело.

— Ну, полно вам,— проговорил аудитор с сияющею, наивною и вместе хитрою улыбкой, как будто ему лестно было, что он составлял предмет шуток Жеркова, и как будто он нарочно старался казаться глупее, чем он был в самом деле.

— Très drôle, mon monsieur prince,— сказал дежурный штаб-офицер. (Он помнил, что по-французски как-то особенно говорится титул князь, и никак не мог наладить.)

В это время они все уже под'езжали к батарее Тушина, и впереди их ударилось ядро.

— Что же это упало?— наивно улыбаясь, спросил аудитор.

— Лепешки французские,— сказал Жерков.

— Этим-то бьют, значит? — спросил аудитор.— Страсть-то какая!

И он, казалось, распускался весь от удовольствия. Едва он договорил, как опять раздался неожиданно страшный свист, вдруг прекратившийся ударом во что-то жидкое и ш-ш-ш-шлеп — казак, ехавший несколько правее и сзади аудитора, с лошадью рухнулся на землю. Жерков и дежурный штаб-офицер пригнулись к седлам и прочь поворотили лошадей. Аудитор остановился против казака, со вни-

мательным любопытством рассматривая его. Казак был мертв, лошадь билась». (Т. I, стр. 170 — 1.)

Присутствие Пьера на Бородине показалось натянутым современникам Льва Николаевича Толстого. О нем есть целая литература возражений, например, возражение «Петербургской Газеты»:

...«Здесь мы должны об'яснить читателю, какую роль играет Пьер Безухов в этой кровавой трагедии. Он участвует в Бородинской битве просто как любитель; приехал туда на дрожках, в зеленом фраке и белой шляпе, безо всякого оружия, и отправился прямо на батарею Раевского, на тў самую, которую французы называли: La redoute du centre, la grande redoute, la fatale redoute... На этой-то роковой батарее, вокруг которой (по словам автора) были положены десятки тысяч людей и на которой, наконец, был сосредоточен огонь всей французской артиллерии,— Пьер Безухов разгуливает, как на маневрах под Красным Селом... Впрочем, мы сомневаемся, чтобы и на маневрах позволено было какому-нибудь фрачнику толкаться около орудий и мешать солдатам!» («Петербургская Газета» 1869 г., № 3, стр., 1 — 2.)

Пародия „Искры“

Безухой, главный член романа,
Явился в поле утром рано
И стал смотреть из шарабана:
Полна французами поляна,
И всех врагов не счесть...

Под ранним солнцем блещут ружья.
С Безухим не было оружья.
Подумал он: «и так ведь дюж я,
Неустрашим, как слон»...

Безухой был в сраженьи этом
Одет легко, как будто летом.
Вооружась одним лорнетом,
Он любовался, как балетом,
Военною стрельбой.

Средь пушек, касок, пик, фуражек,
Блестящих блях, стволов и пряжек:
«Вот так веселенький пейзажик!»
Сказал Безухой Пьер.

Прошу припомнить, что граф Безухой выехал на Бородинское поле, как на прогулку, с одной тросточкой и лорнетом. (»Искра», 1868 г., № 16. Примечание автора пародии Д. Минаева, писавшего под псевдонимом «Михаил Бурбонов»).

Возражения не прекращены, даже когда роман был канонизирован. Вот что пишет Орест Миллер:

...«Также недостаточно обусловленным в психологическом смысле оказывается и присутствие Пьера, в качестве зрителя, на Бородинском поле. Говорят, что такой факт действительно был и что автор почерпнул его в каких-то, прочитанных им в рукописи, современных записках. Но он как бы и остается у нашего автора голым фактом, недостаточно, по крайней мере, освещенным психологически». (О. Миллер. Русские писатели после Гоголя, том II, изд. 1915 г., стр. 335.)

Л. Н. Толстой точно указывает литературную традицию присутствия Пьера — это Фабриций Стендаля, присутствующий на Ватерлоо и ничего не понимающий. Таким образом, мы видим здесь один из истоков приема Льва Николаевича, но то, что было факультативно у Стендаля, для Льва Николаевича Толстого легло в основу романного приема.

Позднейшие исследования (см. выше) указывали, что Лев Николаевич здесь использовал исторический факт присутствия князя П. Вяземского на Бородине в штатском костюме; основывались они на небольшой заметке из письма Волковой:

...«Кстати о полке Мамонова: в нем находится большая часть известной московской молодежи: тут Левашев, Гусятников и князь Вяземский. Сей последний возымел дерзкую отвагу участвовать в качестве зрителей в Бородинском сражении. Под ним убили двух лошадей, и сам он не раз рисковал быть убитым, потому что Валуев пал возле него. По окончании сражения он вернулся в Москву. Не слыхав никогда пистолетного выстрела, он затесался в такое адское дело, которому, как говорят, не было подобного». («Вестник Европы», август, 1784 г., кн. 8. Письма М. А. Волковой к В. И. Ланской.)

Указания этих историков литературы к сожалению основаны только на этом куске, потому что они называют Вяземского «каким-то», а это не какой-то Вяземский, а очень известный писатель Вяземский, который, однако, написавши возражения на «Войну и Мир» Толстого, не заметил собственного своего участия в Бородине, не узнал себя в Пьере, и вот почему. Князь Вяземский был на войне

необстреленным офицером. Но он был в форме, форма его состояла из синего чекменя с голубыми обшлагами и из большого кивера с высоким султаном. Кивер этот, офицера и ад'ютанта Милорадовича. Пьер же присутствует Вяземский присутствовал в бою в качестве ополченского похожий на французский, впоследствии заменял фуражки. в битве совершенно штатским: в зеленом фраке и в белой шляпе, т.-е. штатский человек Вяземский обратился в человека в штатском. Произошла своеобразная реализация метафоры, т.-е. определенный исторический факт, попавши в полосу наибольшего реалистического благоприятствования, совершенно исказился и обратился в факт стилистический.

Нужно же было Льву Николаевичу во всей этой истории восприятие непонимающего человека и пересказывание своими словами, что такое редут и что такое атака. Как видно из прилагаемого отрывка:

«Курган на который взошел Пьер, был то знаменитое (потом известное у русских под именем курганной батареи или батереи Раевского, а у французов под именем la grande redoute, la fatale redoute la redoute du centre*), место, вокруг которого положены десятки тысяч людей и которое французы считали важнейшим пунктом позиции.

Редут этот состоял из кургана, на котором с трех сторон были выкопаны канавы. В окопанном канавами месте стояли десять стрелявших пушек, высунутых в отверстие валов.

В линию с курганом стояли с обеих сторон пушки, тоже беспрестанно стрелявшие. Немного позади пушек стояли пехотные войска. Всходя на этот курган, Пьер никак не думал, что это окопанное небольшими канавами место, на котором стояло и стреляло несколько пушек, было самое важное место в сражении. (Т. III, стр. 188.)

«В то время, как Пьер входил в окоп, он заметил, что на батарее выстрелов не слышно было, но какие-то люди что-то делали там. Пьер не успел понять того, какие это были люди. Он увидел старшего полковника, задом к нему лежащего на валу, как будто рассматривающего что-то внизу, и видел одного замеченного им солдата, который,

---

*) Большой редут, роковой редут, центральный редут.

порываясь вперед от людей, державших его за руку, кричал: «братцы!» и видел еще что-то странное.

Но он не успел еще сообразить того, что полковник был убит, что кричавший «братцы» был пленный, что на глазах его был заколот штыком в спину другой солдат. Едва он вбежал в окоп, как худощавый, желтый, с потным лицом человек, в синем мундире, со шпагой в руке, набежал на него, крича что-то. Пьер, инстинктивно обороняясь от толчка, так как они, не видав, разбежались друг против друга, выставил руки и схватил этого человека (это был французский офицер) одной рукой за плечо, другой за горло. Офицер, выпустив шпагу, схватил Пьера за шиворот». (Т. III, стр. 192.)

По манере описания эти куски очень близки к Севастопольским рассказам, что можно легко показать.

Нова в них лишь мотивировка остранения.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ МЕТОД ВКЛЮЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Толстой утверждал, что «везде, где в моем романе говорят и действуют исторические лица, я не выдумывал, а пользовался материалом». В другой главе я разобрал качество и количество этого материала. Пользование Л. Н. Толстым материалом, хотя и не очень обильным, несомненный факт. Конечно, пользоваться фактами истории ему удавалось более всего там, где фактов записано много, т.-е. в фиксированных местах, в «событиях».

Правда, Л. Н. Толстой стремился открыть бесконечно малые величины в истории — законы движения масс. Но характер материала и заинтересованность Л. Н. Толстого определенным кругом людей не давали возможности осуществить эти намерения.

Опустелая Москва дана не фактами, а длинной метафорой улья, солдаты под Бородиным характеризованы фразой, взятой у Багратиона и несколькими замечаниями исторического характера *), официозность которых была настолько ясна Толстому, что он вложил их в уста отрицательного персонажа, Бориса Друбецкого.

Самое количество страниц, которое уделил Толстой на массы, очень невелико. Это отсутствие героев крестьян было при появлении романа отмечено сразу же в прогрессивной юмористической журналистике.

---

*) Взятыми из книги Федора Глинки «Очерки Бородинского сражения», т. I, стр. 93.

Рассуждения же Льва Николаевича о народном характере войны двенадцатого года тоже не лично его, а «видовые».

«Народность» поражения Наполеона противопоставлялась случайности. То-есть, она нужна для славы народа-государства.

Ген. Липранди в книге «Некоторые замечания о действительных причинах гибели наполеоновых полчищ в 1812 г.» (СПБ. 1855 г.), а раньше его Денис Давыдов, с цыфрами и выкладками доказывали, что французы погибли не от морозов. При чем партизан Давыдов доказывал, что причиной гибели отступавшей армии был голод, а Липранди выставлял причиной партизанскую войну.

Толстой в своих рассуждениях скорее следует за Липранди, чем за Давыдовым.

До какой степени спор о причинах поражения Наполеона был типовой, доказывает весьма цветное место у Гоголя:

... «После второго блюда генерал заговорил с Тентетниковым о его сочинении и коснулся двенадцатого года. Чичиков струхнул и со вниманием ждал ответа. Тентетников ловко вывернулся. Он ответил, что не его дело писать историю кампании, отдельных сражений и отдельных личностей, игравших роль в этой войне, что не этими геройскими подвигами замечателен 12-й год, что много было историков этого времени и без него; но что надобно взглянуть на эту эпоху с другой стороны: важно, по его мнению, то, что весь народ встал, как один человек, в защиту отечества; что все расчеты, интриги и страсти умолкли на это время; важно, как все сословия соединились в одном чувстве любви к отечеству, как каждый спешил отдать последнее свое достояние и жертвовал всем для спасения общего дела; вот что важно в этой войне, и вот что желал он описать в одной яркой картине, со всеми подробностями этих невидимых подвигов и высоких, но тайных жертв! Тентетников говорил довольно долго и с увлечением, весь проникнулся в эту минуту чувством любви к России. Бетрищев слушал его с восторгом, и в первый раз такое живое, теплое слово коснулось его слуха. Слеза, как бриллиант чистейшей воды, повисла на седых усах. Генерал был прекрасен; а Улинька? Она вся впилась глазами в Тентетникова; она, казалось, ловила с жад-

ностью каждое его слово; она, как музыкой, упивалась его речами; она любила его, она гордилась им! Испанец еще более потупился в тарелку; англичанка, с глупым видом, оглядывала всех, ничего не понимая. Когда Тентетников кончил, водворилась тишина, все были взволнованы... Чичиков, желая поместить и свое слово, первый прервал молчание.— «Да — сказал он, — страшные холода были в 12-м году». — «Не о холодах тут речь»,— заметил тут генерал, взглянув на него строго. Чичиков сконфузился». (Н. В. Гоголь, Мертвые души.)

Здесь мнение Чичикова оказалось не достаточно патриотичным. Л. Толстой же примыкает по своим доказательствам к Тентетникову.

Описание боя ко времени «Войны и Мира» было уже традиционно для Толстого.

Обычный материал этого описания — это страх смерти и страх трусости. Повторение одного и того же мотива здесь один из любопытнейших видов самоповторения у Толстого. Тургенев отметил эти повторения.

Но они пережили Толстого и революцию. Русский психологический роман, особенно если он большое полотно, всегда повторяет эти приемы, они стали штампами художественности. Любопытно было бы проследить дальнейшую работу этих приемов, хотя бы по «Железному потоку» Серафимовича.

Платон Каратаев совсем фольклорен, он состоит из одних пословиц.

Интересно сравнить его со злыми, недоверчивыми, не говорящими пословицами мужиками из «Утра помещика».

По счету Тихона Полнера на 1821 печатную страницу «Войны и Мира» едва наберется 150 страниц, отведенных на народ (в счет входит и убийство Верещагина, и пожар Смоленский, и Богучаровский бунт).

Поэтому исторический материал гуще всего использован Толстым в изображениях битв, особенно в Бородине, вообще во всей линии Наполеона и, в частности, в описании поездки Балашева с мирными предложениями.

К разбору методов использования исторического материала в этом куске мы и приступаем.

Характеризуя приемы Л. Н. Толстого, мы всегда должны отмечать то, что прием изменяется не только в пределах творчества одного писателя, но и в пределах одного произведения. Как я уже неоднократно указывал в своих прежних книгах, классическим примером может служить появление психологии у Дон-Кихота Сервантеса. В этом романе двойственность материала, т.-е. эксцентрика выходок сумасшедшего и нанизывание мудрых изречений, в результате создало то, что называется «сложным психологическим типом».

Способ использования исторического материала подвергался в «Войне и Мире» сложному изменению. Можно сказать, что дело, грубо говоря, сводилось к увеличению деформации материала. В самых ранних примерах применения исторического материала — материал почти совершенно не деформирован, а только развернут.

Типичным примером может быть описание начала Аустерлицкого боя у Михайловского-Данилевского и у Толстого.

Л. ТОЛСТОЙ.

1) «Было 9 часов утра. 2) Туман сплошным морем расстилался по низу, но при деревне Шлапанице, на высоте, на которой стоял Наполеон, окруженный своими маршалами, было совершенно светло. Над ними было ясное голубое небо, и огромный шар солнца, как огромный пустотельный багровый поплавок, колыхался на поверхности молочного моря тумана. 5) Не только все французские войска, но сам Наполеон со штабом находился не по ту сторону ручьев и низов деревень Сокольниц и Шлапаниц, за которыми мы намеревались занять позицию и начать дело, но по его сторону, так близко от наших войск, что Наполеон простым глазом мог в нашем войске различать конного от пешего. Наполеон стоял несколько впереди от своих маршалов на маленькой серой арабской лошади, в синей шинели, в той самой, в которой он делал итальянскую кампанию. 3) Он молча взглядывал на холмы, которые как бы выступали из моря тумана и по

МИХАЙЛОВСКИЙ-ДАНИЛЕВСКИЙ.

1) «Ноября 20-го, в 8 часу утра, первые три колонны выступили с ночлега. Дохтуров подошел к Тельницу; на правом крыле его следовал граф Ланжерон; Пржибышевский спускался от Працена к Сокольницу. 2) Наполеон стоял на кургане при Шлапанице, окруженный своими маршалами, еще до зари к нему созванными. Движения наши были сперва скрыты от него туманом. 3) Когда солнце озарило вершины гор, Наполеон увидел, что занимаемые нами высоты обнажились от войск и наши колонны приняли направление, 4) совершенно согласное с об'явленным им в приказе по армии. Очевидно, убедясь в том, отдал он маршалам окончательные повеления: Бернадоту и Сульту, овладев Праценскими высотами, разрезать нашу армию на две части и начать атаку через полчаса, рассчитывая, что к тому времени союзные войска еще более разобщатся; резервной коннице Мюрата, гренадерам Удино и гвардии Бессиера следовать за Сультом

которым вдалеке двигались русские войска, и прислушиваясь к звукам стрельбы в лощине. В то время еще худое лицо его не шевелилось ни одним мускулом; блестящие глаза были неподвижно устремлены на одно место.

[4]) Его предположения оказывались верными. Русские войска частью уже спустились в лощину к прудам и озерам, частью очищали те Праценские высоты, которые он намерен был атаковать и считал ключем позиции. Он видел среди тумана, как в углублении, составляемом двумя горами около деревни Прац, все по одному направлению к лощинам двигались, блестя штыками, русские колонны, и одна за другой скрывались в море тумана. По сведениям, полученным им с вечера, по звукам колес и шагов, слышанным ночью на аванпостах, по беспорядочности движения русских колонн, по всем предположениям он ясно видел, что союзники считали его далеко впереди себя, что колонны, двигающиеся близ Працена, составляли центр русской армии и что центр уже достаточно ослаблен для того, чтобы успешно атаковать его. Но он все еще не начинал дела».

и Бернадотом; Ланну и Даву действовать на флангах оборонительно, пока не решится успех в центре. [5]) Бивачный дым и туман, покрывая долины, не позволяли нам видеть войск, собранных Наполеоном в предшествовавший вечер, по сю сторону дефилей, и у нас оставались в мнении, что неприятель стоит за ручьями и озерами.

Первые ружейные выстрелы раздались на нашем левом крыле, где ближе всех к французам, у Аугеста, находился отряд Кинмейера, долженствовавший взять Тельниц и очистить путь для 1-ой колонны Дохтурова».. (Описание первой войны императора Александра с Наполеоном в 1805 г. Т. I, стр. 153.)

Изменение, которое претерпел здесь материал, сводится к введению характеристики Наполеона, к описанию его наружности. (В дальнейшем в отрывок вводится проходящая деталь Наполеона: его белые руки.) В то же время точечные моменты источника преобразуются в линейные моменты художественной прозы: развернут упомянутый историком туман, дано описание солнца. Может быть, этот нажим на солнце был вызван тем, что солнце Аустерлица поговорный образ, образ, имеющий на себе ударение... Смысл сражения Толстым в данном случае не развернут, может быть, потому, что военная теория Толстого еще не вылилась в окончательную форму, а, может быть, потому, что случай Аустерлица чрезвычайно не подходит к толстовским выкладкам.

Наполеон разбил русских, как хотел, т.-е. план битвы был в продолжение битвы выполнен. У Толстого от этого осталось воспоминание в виде беглой фразы: «его предположения оказывались верными».

У Михайловского-Данилевского есть место, которое Толстой использовал дважды, как видно из приводимой ниже сводки. Средина отрывка (о Наполеоновском плане)

выпала у Толстого. Исторический материал оказался неудобным для деформации, а кроме того, метод деформации еще не был хорошо разработан Толстым. Впоследствии, Толстой обрабатывал эту вещь чисто стилистическими приемами и добился нужного ему эффекта.

Во втором использовании прилагаемого отрывка, разведка передана герою, герою романному, т.-е. мы имеем довольно обычный прием исторического романиста.

«Крики и огни в неприятельской армии происходили оттого, что в то время как по войскам читали приказ Наполеона, сам император верхом об‘езжал свои бивуаки. Солдаты, увидав императора, зажигали пуки соломы и с криками: «vive l'empereur» бежали за ним.

— Поверьте,—говорил Долгоруков, обращаясь к Багратиону, — что это больше ничего, как хитрость его, он отступил и в ариергарде велел зажечь огни и шуметь, чтобы обмануть нас.

— Едва ли, — сказал Багратион, — с вечера я их видел на том бугре; коли ушли, так и оттуда снялись. Г. офицер, — обратился князь Багратион к Ростову, — стоят там еще его фланкеры?» («Война и Мир», стр. 253 — 56).

«Наполеон поехал вдоль бивуаков и разглядывал наши огни. Лагерь французский встрепенулся. Солдаты подняли вверх зажженные пуки соломы и клялись Наполеону отпраздновать победою наступавшую в следующий день годовщину коронования его.

Огромное зарево, отблеск торжественной встречи Наполеона с войском, навело у нас к заключению о намерении французов отступить; думали, что неприятель нарочно увеличил огни, желая скрыть свое обратное движение.

Генерал-ад‘ютант князь Долгоруков приехал на передовые посты полковника графа Орурка и приказывал ему наблюдать, по какой дороге пойдут французы назад, говоря, что знаем наверное о решении их отступать. Таково было почти общее мнение в нашей главной квартире. Боялись, что Наполеон не примет сражения, и торопились составить диспозицию». (Михайловский-Данилевский, стр. 149 — 150.)

Несколько сложнее переработка материала в отрывке с фразой Кутузова: «я подожду». Здесь, при сличении, сразу бросается в глаза то, что отрывок художественной прозы значительно длиннее того исторического материала, который лег в его основу. Происходит это от следующих причин. Обычно Толстой в отдельном отрывке до конца использует определенное сравнение или противоположение.. Так, например, сцена битвы и атаки Ростова построена на охотничьей терминологии. Прилагаемый же отрывок основан на противопоставлении молодости государя и его свиты и старости Кутузова, при чем противоположение дается четыре раза. Кроме того, мы имеем развертывание

картинное, довольно любопытное. Вообще, как я уже отмечал, Л. Н. располагал не очень большим количеством исторических деталей. И исторические детали у него обычно, раз попадая в поле его зрения, используются им уже до конца.

Любопытно отметить поэтому, что, желая выбрать у него детали, всякий исследователь указывает на одни и те же, потому что они выгодно расположены, и исследователь оказывается в роли читателя; они так и поставлены, чтобы он их заметил. В этом отношении Толстой напоминает Наполеона, который в данном участке боя, который ему нужен, имел всегда превосходство сил, если даже общее взаимоотношение сил воюющих сторон складывалось не в его сторону. В этом отношении Л. Н. использует деталь белых австрийских мундиров. До этого он использовал их уже три раза: первые два раза использована странность мундира белого среди черных, а в третий — впечатление резюмируется как разноцветность.

«По широкой, обсаженной деревьями, большой, бесшоссейной дороге, слегка погромыхивая рессорами, шибкою рысью ехала высокая голубая венская коляска цугом. За коляской скакали свита и конвой кроатов. П о д л е К у т у з о в а с и д е л а в с т р и й с к и й г е н е р а л в с т р а н н о м, с р е д и ч е р н ы х р у с с к и х, б е л о м м у н д и р е. Коляска остановилась у полка. Кутузов и австрийский генерал о чем-то тихо говорили, и Кутузов слегка улыбнулся в то время, как тяжело ступая, он опускал ногу с подножки, точно как-будто и не было этих 2.000 людей, которые, не дыша, смотрели на него и на полкового командира». («Война и Мир». Т. I., стр. 110.)

— «А другой-то, австрияк с ним был, словно мелом вымазан. Как мука белый. Я чай, как амуницию чистят!

— Что, Федешоу...—сказал он,—что ли, когда стражения начнутся, ты ближе стоял. Говорили все, в Брунове сам Бунапарте стоит». (Т. I, стр. 114.)

... «По дороге из Працена скакал как бы эскадрон разноцветных всадников. Два из них крупным галопом скакали рядом впереди остальных. Один был в черном мундире с белым султаном на рыжей энглизированной лошади, другой — в белом мундире на вороной лошади. Это были два императора со свитой. Кутузов, с аффектацией служаки, находящегося во фронте, скомандовал

«смирно» стоявшим войскам и, салютуя, под'ехал к императору». (Т. I, стр. 262).

Кроме того, Толстой в конце отрывка изменяет или, вернее, углубляет смысл фразы Кутузова, подчеркивает ее мимикой и интонацией Кутузова и мимикой государя. Появляется второй план действия; и то, что для Михайловского-Данилевского лицо, для Толстого — маска.

КУТУЗОВ И РАЗГОВОР ЕГО С АЛЕКСАНДРОМ

У Михайловского-Данилевского:

«В десятом часу прибыли на поле сражения император Александр и Франц. Государя сопровождали генералы: Сухтелен и граф Аракчеев, генерал-ад'ютанты: граф Ливен, Винценгероде и князь Гагарин, тайные советники: князь Чарторижский, граф Строганов и Новосильцев. Под'ехав к Кутузову и видя, что ружья стояли на козлах, император Александр спросил его: — Михайло Ларионович, почему не идете вы вперед? — Я поджидаю,— отвечал Кутузов,— чтобы все войска колонны пособрались.— Император сказал: — Ведь мы не на Царицыном лугу, где не начинают парада, пока не придут все полки.— Государь,— отвечал Кутузов,— потому-то я и не начинаю, что мы не на Царицином лугу. Впрочем, если прикажете.— Приказание было отдано. Войско начало становиться в ружье и пр.». (Михайловский-Данилевский, op. cit. стр. 155.)

У Л. Толстого:

На Ольмюцком смотру он был величавее, здесь он был веселее и энергичнее. Он, несколько разрумянился, прогалопировав эти три версты и остановив лошадь, отдохновенно вздохнул и оглянулся на такие же молодые, такие же оживленные, как и его, лица своей свиты. Чарторижский, и Новосильцев, и князь Волконский, и Строганов, и другие, все богато одетые, веселые молодые люди на прекрасных, выхоленных, свежих, только-что слегка вспотевших лошадях, переговариваясь и улыбаясь, остановились позади. Император Франц, румяный длиннолицый молодой человек, чрезвычайно прямо сидел на красивом вороном жеребце и озабоченно и неторопливо оглядывался вокруг себя. Он подозвал одного из своих белых ад'ютантов и спросил что-то. «Верно, в котором часу они выехали» — подумал князь Андрей, наблюдая своего

старого знакомого, с улыбкой, которую он не мог удержать, вспоминая свою аудиенцию. В свите императоров были отборные молодцы - ординарцы, русские и австрийские, гвардейских и армейских полков. Между ними велись берейторами в расшитых попонах красивые запасные царские лошади.

Как будто через растворенное окно вдруг пахнуло свежим полевым воздухом в душную комнату, так пахнуло на невеселый кутузовский штаб молодостью, энергией и уверенностью в успехе от этой прискакавшей блестящей молодежи.

— Что же вы не начинаете, Михаил Ларионович,— поспешно обратился император Александр к Кутузову, в то же время учтиво взглянув на императора Франца.

— Я поджидаю, ваше величество,— отвечал Кутузов, почтительно наклоняясь вперед.

Император пригнул ухо, слегка нахмурясь и показывая вид, что он не расслышал.

— Поджидаю, ваше величество, — повторил Кутузов (князь Андрей заметил, что у Кутузова неестественно дрогнула верхняя губа в то время, как он говорил это «поджидаю»). Не все колонны еще собрались, ваше величество.

Государь расслышал, но ответ этот, видимо, не понравился ему, он пожал сутуловатыми плечами, взглянул на Новосильцева, стоявшего подле, как будто взглядом этим жалуясь на Кутузова.

— Ведь мы не на Царицыном лугу, Михаил Ларионович, где не начинают парада, пока не придут все полки,—сказал государь, снова взглянув в глаза императору Францу, как бы приглашая его, если не принять участия, то прислушаться к тому, что он говорит; но император Франц, продолжая оглядываться, не слушал.

— Потому и не начинаю, государь,— сказал звучным голосом Кутузов, как бы предупреждая возможность не быть расслышанным, и в лице его еще раз что-то дрогнуло.—Потому и не начинаю, государь, что мы не на параде и не на Царицыном лугу,—выговорил он ясно и отчетливо.

В свите государя на всех лицах, мгновенно переглянувшихся друг с другом, выразился ропот и упрек. «Как он ни стар, он не должен бы, никак не должен бы говорить эдак»,— выразили эти лица.

Государь пристально и внимательно посмотрел в глаза Кутузову, ожидая, не скажет ли он еще чего. Но Кутузов, с своей стороны, почтительно нагнул голову, тоже, казалось, ожидал. Молчание продолжалось около минуты.

— Впрочем, если прикажете, ваше величество,— сказал Кутузов, поднимая голову и снова изменяя тон на прежний тон тупого, нерассуждающего, но повинующегося генерала». («Война и Мир», т. I, стр. 262-3).

Знаменитая сцена попытки атаки под предводительством Болконского сделана тоже по материалам Михайловского-Данилевского и, так сказать, инсценирована Толстым увеличением количества деталей. Эта сцена, вероятно, и вызвала появление фамилии Волконских (Болконские в романе); к ней мы подготовлены автором мечтою Андрея о Тулоне, и здесь, в сущности говоря, и должен был быть конец эпизодической роли Болконского.

Действия и интонация Кутузова детализированы и остранены. Кутузов мычит и шепчет.

Андрей кричит детски - пронзительно и с наслаждением слушает свист пуль; его эмоция представляет обычное остранение храбрости. Таким образом, в этих примерах мы видим сложную психологизацию исторического события, но не видим еще последовательно проведенной деформации материала и изменения смысла событий.

... «Громады французов валили на высоты с разных сторон. Кутузов понесся вперед и был ранен пулею в щеку. Император Александр послал ему лейб-медика Виллие.

— Поблагодари государя, сказал Кутузов врачу,— доложи, что моя рана не опасна, но смертельная рана вот где,—прибавил он, указывая на французов.

Неприятели были так близко, что Кутузов мог видеть лица их. Облитый кровью, под пулями отдавал он приказания, слабо внимаемые в суматохе. Австрийский генерал Юрчек, шефы малороссийского гренадерского полка Берг и новгородского Репнинский были ранены. Любимый зять Кутузова флигель-ад'ютант граф Тизенгаузен, с знаменем в руках, повел вперед один расстроенный батальон и пал, пронзенный насквозь пулей...

...В то время, когда приехал к нему Кутузов с дежурным генералом князем Волконским, бригада графа Каменского была опрокинута. Князь Волконский схватил знамя Фанагорийского полка, велел бить сбор и устроил бригаду. Яростно атаковала она неприятеля, при чем Фанагорийский полк взял два орудия, но вновь обращена назад, с потерею отбитых у французов пушек, и

опять собрана князем Волконским. (Михайловский-Данилевский, op. cit. стр. 157-9.)

«Кутузов стоял на том же месте и, не отвечая, доставал платок. [1]) Из щеки его текла кровь. Князь Андрей протеснился до него.— Вы ранены?—спросил он, едва удерживая дрожание нижней челюсти.

— Рана не здесь, а вот где,— сказал Кутузов, прижимая платок к раненой щеке и указывая на бегущих.— Остановите их,— крикнул он и в то же время, вероятно убедясь, что невозможно было их остановить, ударил лошадь и поехал вправо.

Вновь нахлынувшая толпа бегущих захватила его с собой и повлекла назад.

...— Остановите этих мерзавцев,—задыхаясь проговорил Кутузов полковому командиру, указывая на бегущих; в то же мгновение, как-будто в наказание за эти слова, как рой птичек, со свистом пролетели пули по полку и свите Кутузова.

Французы атаковали батареи и, увидав Кутузова, выстрелили по нем. С этим залпом полковой командир схватился за ногу; упало несколько солдат, и подпрапорщик, стоявший со знаменем, выпустил его из рук; знамя зашаталось и упало, задержавшись на ружьях соседних солдат. Солдаты без команды стали стрелять.

— Ох!—с выражением отчаяния промычал Кутузов и оглянулся.—Болконский—прошептал он, указывая на расстроенный батальон и на неприятеля,—что же это?

Но прежде, чем он договорил эти слова, князь Андрей, чувствуя слезы стыда и злобы, подступившие ему к горлу, уже соскакивал с лошади и бежал к знамени.

— Ребята, вперед!—крикнул он детски-пронзительно.— «Вот оно»—думал князь Андрей, схватив древко знамени и с наслаждением слыша свист пуль, очевидно, направленных именно против него. Несколько солдат упало.

— Ура!—закричал князь Андрей, едва удерживая в руках тяжелое знамя, и побежал вперед с несомненную уверенностью, что весь батальон побежит за ним.

Действительно, он пробежал один только несколько шагов. Тронулся один, другой солдат, и весь батальон с криком «ура!» побежал вперед и обогнал его. («Война и Мир», Т. I, глава XVI, стр. 266.)

Близкое следование материалу и последующая психологизация его, вот способ отношения Толстого к своему материалу в это время.

Толстой обычно (в начале романа) пользуется источником подряд и не изменяет его мизансцен.

Пользование Тьером такое же, как и Михайловским-Данилевским. Нужно запомнить это место, чтобы потом сравнить его с последующим использованием материала.

Нарастание деформации исторического материала по мере развития романа очень любопытно и сравнительно компактно. Его можно проследит по тому, как Толстой использовал, или вернее, как он изменял пользование одного из своих основных источников,— Тьера. Первоначально Тьер был для него исторический источник, впоследствии Тьер сделался об'ектом полемических выпадов и традицией, подлежащей разрушению. Вот первое упоминание о Тьере:

Тут произошла та атака, про которую Тьер говорит: «Les russes se conduisirent vaillamment, et chose rare à la guerre, on vie deux masses d'infanterie marcher résolument l'une contre l'autre sans qu'aucune des deux céda avant d'être abordée»; а Наполеон на острове святой Елены сказал: «Quelques bataillons russes montrèrent de l'intrépidité». («Война и Мир» т. I, стр. 176.)

Теперь посмотрим психологизацию Тьера.

Л. ТОЛСТОЙ.

«Генералы, казалось, неохотно слушали трудную диспозицию. Белокурый, высокий генерал Буксгевден стоял, прислонившись спиною к стене, и, остановив свои глаза на горевшей свече, казалось, не слушал и даже не хотел, чтобы думали, что он слушает. Прямо против Вейротера, устремив на него свои блестящие открытые глаза... сидел румяный Милорадович с приподнятыми усами и плечами. Он упорно молчал, глядя в лицо Вейротера, и спускал с него глаза только в то время, когда австрийский начальник штаба замолкал. В это время Милорадович значительно оглядывался на других генералов. Но по значению этого значительного взгляда нельзя было понять, был ли он согласен или несогласен, доволен или недоволен диспозицией.

Ближе всех к Вейротеру сидел граф Ланжерон...

Пржебышевский, с почтительною, но достойною учтивостью, пригнул рукой ухо к Вейротеру, имея вид человека, поглощенного вниманием. Маленький ростом Дохтуров сидел прямо против Вейротера, с старательным и скромным видом, и, нагнувшись над

ТЬЕР.

«В час ночи, когда мы все собрались, прибыл генерал Вейротер, разложил на большом столе огромную и очень точную карту окрестностей Брюна и Аустерлица и прочитал нам свою диспозицию, торжественным тоном, с самоуверенным видом, показавшим его внутреннее убеждение в своих заслугах и в нашей неспособности.

Он походил на школьного учителя, читающего урок школьникам. Быть может, мы действительно были школьниками, но он далеко не был хорошим учителем. Кутузов, который сидя на половину спал, под конец заснул совсем до нашего ухода. Буксгевден стоя слушал и, наверное, не понимал ничего. Милорадович молчал. Пржебышевский держался сзади; один Дохтуров внимательно рассматривал карту.

Когда Вейротер кончил свою болтовню, я один взял слово. Я сказал: —Генерал, все это прекрасно, но что если неприятель предупредит нас и атакует около Працена...

— Этот случай не предусмотрен, ответил он,— вам известна смелость Буонапарта. Если бы он мог нас атаковать, он бы сделал это нынче

разложенной картой, добросовестно изучал диспозицию и неизвестную ему местность... (т. I, стр. 248—9).

...Возражения Ланжерона были основательны, но было очевидно, что цель этих возражений состояла преимущественно в желании дать почувствовать генералу Вейротеру, столь самоуверенно как школьникам-ученикам читавшему свою дипозицию, что он имел дело не с одними дураками...

Ланжерон доказывал, что Бонапарте легко может атаковать вместо того, чтобы быть атакованным (стр. 250.)

— Ежели бы он мог атаковать нас, то он нынче бы это сделал,— сказал он (Вейротер).

— Вы, стало быть, думаете, что он бессилен, — сказал Ланжерон.

— Много, если у него 40 тысяч войска, — отвечал Вейротер с улыбкой доктора, которому лекарка хочет указать средства лечения...

— В таком случае он идет на свою погибель, ожидая нашей атаки,—с тонкой, иронической улыбкой, сказал Ланжерон...

— Неприятель погасил огни, и слышен непрерывный шум в его лагере,— сказал он (Вейротер). — Что это значит—или он удаляется, чего одного мы должны бояться, или он переменяет позицию (он усмехнулся). Но даже если бы он и занял позицию в Тюрасе, он только избавляет нас от больших хлопот, а распоряжения все до малейших подробностей остаются те же...

...Кутузов проснулся» (стр.249 – 50.)

— Вы, стало быть, не считаете его сильным,— сказал я.

— Много, если у него 40 тысяч войска.

— В таком случае он идет на свою погибель, ожидая нашей атаки; но я считаю его слишком искусным для такой неосторожности. Потому что, если, как вы предполагаете, мы отрежем его от Вены, то ему останется отступить в Богемские горы; но я предполагаю, что у него другой план.

Онпотушил огни, в его лагере слышен сильный шум...

— Это потому, что неприятель отступает или переменяет позицию; но даже если допустить, что он займет позицию в Тюрасе, он нас избавит от многих хлопот, а диспозиция останется прежняя.

В это время Кутузов проснулся и отпустил нас»... (Из записок генерала Ланжерона. VI, стр. 302-303.)

Толстой все время пользуется готовыми ситуациями французского текста: Буксгевден стоит, Милорадович молчит, Дохтуров внимателен и т. д., только психологизует их.

Наибольшее совпадение дает сцена разговора Наполеона с пленными русскими офицерами. Здесь снижение исторического материала дано только прилагательными и иным построением фразы. Вместо «смело, но выразительно» ответил Сухтелен, оказалось «проговорил обрывающимся голосом Сухтелен».

...«Бонапарте, под‘ехав галопом, остановил лошадь.

—Кто старший?—сказал он, увидав пленных.

...«Отдав приказания, Наполеон отправился ночевать в Позоржиц. Дорогою, встретил он пленных и, узнав, что между ними находятся русские

Назвали полковника князя Репнина.

— Вы командир кавалергардского полка императора Александра?—спросил Наполеон.

—Я командовал эскадроном — отвечал Репнин.

— Ваш полк честно исполнил долг свой — сказал Наполеон.

— Похвала великого полководца есть лучшая награда солдату,—сказал Репнин.

— С удовольствием отдаю ее вам, — сказал Наполеон. — Кто этот молодой человек подле вас?

Князь Репнин назвал поручика Сухтелена.

Посмотрев на него, Наполеон сказал улыбаясь:

— Молод же явился он состязаться с нами.

— Молодость не мешает быть храбрым,—проговорил обрывающимся голосом Сухтелен.

— Прекрасный ответ,—сказал Наполеон: — молодой человек, вы далеко пойдете». («Война и Мир» т. I, стр. 278.)

гвардейские офицеры, спросил: «Кто старший?» Назвали полковника князя Репнина. «Вы командир кавалергардского полка императора Александра?» спросил у него Наполеон. —«Я командовал эскадроном», отвечал князь Репнин. «Ваш полк честно исполнил долг свой», сказал Наполеон. —«Похвала великого полководца есть лучшая награда солдату», было ему ответом. «С удовольствием отдаю ее вам», возразил Наполеон, и спросил: «Кто этот молодой человек подле вас?» Князь Репин назвал поручика Сухтелена, едва выходившего из отроческих лет. Посмотрев на него, Наполеон сказал, улыбаясь: «Он слишком молодым вздумал помериться с нами».—«Молодость не мешает быть храбрым», смело, но выразительно ответил Сухтелен. «Прекрасный ответ», сказал Наполеон: «Молодой человек, вы далеко пойдете». Прощаясь с пленниками, Наполеон приказал отвести их на бивуаки его и перевязать раненых. Приказание было исполнено» (Михайловский-Данилевский, т. I, стр. 170—171).

Это место, как видите, целиком исторично. Способ его включения и метод обработки довольно традиционен. Но не традиционно равнодушие Андрея к Наполеону.

«Князь Андрей, для полноты трофея пленников выставленный также вперед, на глаза императору, не мог не привлечь его внимания. Наполеон, видимо, вспомнил, что он видел его на поле, и, обращаясь к нему, употребил то самое наименование молодого человека — jeune homme, под которым Болконский в первый раз отразился в его памяти.

— Et vous, jeune homme? Ну, а вы, молодой человек?— обратился он к нему,— как вы себя чувстуете, mon brave?

Несмотря на то, что за пять минут перед этим князь Андрей мог сказать несколько слов солдатам, переносившим его, он теперь, прямо устремив свои глаза на Наполеона, молчал... Ему так ничтожны казались в эту минуту все интересы, занимавшие Наполеона, так мелочен казался ему сам герой его, с этим мелким тщеславием и радостью победы, в сравнении с тем высоким, справедливым и добрым небом, которое он видел и понял,— что он не мог отвечать ему». (Т. I, стр. 279).

Место это повторяет встречу Наполеона с раненым Андреем. Сама встреча традиционна, такие мы знаем у Р. Зотова и Ф. Булгарина, традиционна и фраза Наполеона: «Поднять этого молодого человека, ce jeune homme, и свезти на перевязочный пункт». Это место повторяет аналогичное положение Петра Выжигина перед Наполеоном в записи Фаддея Булгарина.

«Ад'ютант, отведите этого храброго и благородного офицера к доктору Ларрею, чтобы он осмотрел его рану»... (Петр Иванович Выжигин, нравоописательный исторический роман XIX века Фаддея Булгарина, СПБ. 1831 г., т. III, стр. 148.)

Ново здесь только отсутствие реплики Андрея. Я не думаю, конечно, что Лев Толстой заимствовал сцену у Ф. Булгарина. Но он принужден был, по законам жанра, осуществить эту типовую сцену, по-своему переработав ее.

Бытовой материал для Толстого, в частности изображение дворянской жизни в Москве, не подвергался у Льва Николаевича сильным изменениям. Та ирония, которую он вкладывал в свои описания, не идет выше и дальше иронии мемуаристов. Известия о поражении под Аустерлицем даны по Жихареву. Введено только ироническое замечание о причине выбора Багратиона, как героя.

«На другой день, 3-го марта, во 2-м часу пополудни, 250 человек членов Английского клуба и 50 человек гостей ожидали к обеду дорогого гостя и героя Австрийского похода, князя Багратиона. В первое время по получении известия об Аустерлицком сражении Москва пришла в недоумение. В то время русские так привыкли к победам, что, получив известие о поражении, одни просто не верили, другие искали об'яснений такому странному событию в каких-нибудь необыкновенных причинах. В Английском клубе, где собиралось все, что было знатного, имеющего верные сведения и вес, в декабре месяце, когда стали приходить известия, ничего не говорили про войну и последнее сражение, как будто все сговорились молчать о нем. Люди, дававшие направление разговорам, как-то: граф Растопчин, Юрий Владимирович Долгорукий, Валуев, гр. Марков, князь Вяземский, не показывались в клубе, а собирались по домам в своих интимных кружках, и москвичи, говорившие с чужих голосов (к которым принадлежал и Илья Андреевич Ростов), оставались на короткое время без определенного суждения о деле войны и без руководителей. Москвичи чув-

ствовали, что что-то нехорошо и что обсуждать эти дурные вести трудно и потому лучше молчать. Но через несколько времени, как присяжные выходят из совещательной комнаты, появились и тузы, дававшие мнение в клубе, и все заговорило ясно и определенно. Были найдены причины тому неимоверному, неслыханному и невозможному событию, что русские были побиты, и все стало ясно, и во всех углах Москвы заговорили одно и то же. Причины эти были: измена австрийцев, дурное продовольствие войска, измена поляка Пржебышевского и француза Ланжерона, неспособности Кутузова и (потихоньку говорили) молодость и неопытность государя, вверившегося дурным и ничтожным людям. Но войска, русские войска, говорили все, были необыкновенны и делали чудеса храбрости. Солдаты, офицеры, генералы были герои. Но героем из героев был князь Багратион, прославившийся своим Шенграбенским делом и отступлением от Аустерлица, где он один провел свою колонну нерасстроенною и целый день отбивал вдвое сильнейшего неприятеля. Тому, что Багратион выбран был героем в Москве, содействовало и то, что он не имел связей в Москве и был чужой. В лице его отдавалась должная честь боевому, простому, без связей и интриг, русскому солдату, еще связанному воспоминаниями Итальянского похода с именем Суворова. Кроме того, в воздаянии ему таких почестей лучше всего показывалось нерасположение и неодобрение Кутузову.

«Ежели бы не было Багратиона, il faudrait l'inventer», сказал шутник Шиншин, пародируя слова Вольтера. Про Кутузова никто не говорил, и некоторые шепотом бранили его, называя придворною вертушкой и старым сатиром.

По всей Москве повторялись слова князя Долгорукова: «лепя, лепя и облепишься», утешавшегося в нашем поражении воспоминанием прежних побед, и повторялись слова Растопчина про то, что французских солдат надо возбуждать к сражениям высокопарными фразами, что с немцами надо логически рассуждать, убеждая их, что опаснее бежать, чем итти вперед; но что русских солдат надо только удерживать и просить: потише. Со всех сторон слышны были новые и новые рассказы об отдельных примерах мужества, оказанных нашими солдатами и офицерами при Аустерлице. Тот спас знамя, тот убил пять французов, тот один заряжал пять пушек. Говорили и про Берга, кто его не знал, что он, раненый в правую руку, взял шпагу в левую и пошел вперед». («Война и Мир», т. II стр. 12—13.)

...« В Английском клубе заметили, что некоторые notabilités, например, князь Ю. В. Долгорукий, П. С. Валуев, генерал

Марков и др., как-то все особятся и долго о чем-то втихомолку рассуждают. Многих ежедневных посетителей Английского клуба вовсе не видно. И. И. Дмитриев, Карамзин и князья Оболенские вечера проводят у князя Андрея Ивановича Вяземского; Ю. А. Нелединский и Обрезков тоже там». (Записки Жихарева, стр. 105—6.)

...«Я сегодня воспользовался воскресением и об'ездил почти всех знакомых, важных и неважных, и у всех только и разговору слышал, что о Багратионе. Сказывали, что генерал Кутузов доносил о нем в необыкновенно сильных выражениях. Кажется, что мы разбиты и принуждены были ретироваться по милости наших милых союзников; но там, где действовал один, и в самой ретираде войска наши оказали чудеса храбрости. Так и должно быть». (Записки Жихарева, стр. 112.)

...«Старички, которые руководствуют общим мнением, пораздумали, что нельзя же, чтобы мы всегда имели одни только удачи; не даром есть поговорка: «лепя, лепя и облепишься», а мы лепим более сорока лет и, кажется, столько налепили, что Россия почти вдвое больше стала». (Записки Жихарева, стр. 112.)

«Граф Растопчин говорит, что русская армия такова, что ее не понуждать, а скорей сдерживать надобно, и если что может заставить иногда страшиться за нас, так это одна ее излишняя храбрость и даже запальчивость. Он уверяет, что нашим солдатам стоит только сказать перед сражением: «За бога, царя и святую Русь», чтобы они без памяти бросились в бой и ниспровергли все преграды; но что с французами и немцами надобно говорить умеючи. Так Генрих IV говаривал первым: «Господа, вы французы, и неприятель перед вами»; а с последними генерал Цитен рассуждал: «Государи мои, сегодня у нас сражение, следовательно, все должно итти как по маслу». Suum cuique. Балагур!» (Записки Жихарева, стр. 101.)

Совершенно не деформирован материал праздника в честь Багратиона; изменение зависит только от введения романных героев в исторические события; при чем романные герои не действуют во время введения исторического материала. Происходит только персонализация истории и усвоение определенных поступков героями романа. Так, например, старый граф Ростов оказывается устроителем вечера.

Несколько усилено, сравнительно с мемуаристами, снижение образа Багратиона—подчеркиванием в его фигуре наивно-праздничного.

Отдельные, точно взятые из истории, мотивы используются и обыгрываются, как сказал бы сейчас кинематографист, в личных отношениях героев. Так, с следующей главы, сунутый в руку гостю экземпляр стихотворения потом служит причиной ссоры между Пьером и Долоховым, с некоторыми изменениями, правда, смысла источника, так как факта выдачи текста кантаты почетным гостям и намека на оскорбление в том, что Долохов взял чужой листок, мы не находим в обстановке вечера, где кантата Кутузова раздавалась всем гостям. Здесь романисту понадобилось как-нибудь вплести исторический момент или, вернее, бытовую деталь в сюжетное построение для того, чтобы она не казалась лишней, чтобы подробность подчинилась генерализации:

Гость: — Благодарю за угощенье
За ласку и за все про все.—
Мысль хороша, но исполненье (всторону)
Мне кажется ни то, ни се.

Из оперы «Откупщик-хлебосол».

«Конечно, князь Багратион не только сказать, но и подумать этого не может. Прием торжественный, радушие небывалое, энтузиазм неподдельный и угощение подлинно на славу: вот что вчера встретил желанный гость в Английском клубе.

Стол был накрыт кувертов на 300, т.-е. на все число наличных членов клуба и 50 человек гостей; убранство великолепное, о провизии нечего и говорить. Все, что только можно было отыскать лучшего и редчайшего из мяса, зелени, вин и плодов — все было отыскано и куплено за дорогую цену; а те предметы, которых по раннему времени года у торговцев в продаже не было, доставлены богатыми владельцами из подмосковных оранжерей бесплатно: все наперерыв старались оказать чем-нибудь свое усердие и участие в угощении.

Ровно в два часа пополудни (обыкновенное время обедов в клубе) приехали: князь Багратион, градоначальник и генерал-ад'ютант Уваров и вместе вошли в большую гостиную. Члены клуба, жадничая увидеть ближе героя, так столпились вокруг его и в дверях, что старшины, предшествовавшие ему и градоначальнику по обязанности, в качестве хозяев, насилу могли проложить им дорогу.

Князь Багратион имеет физиономию чисто-грузинскую: большой с горбиной нос, брови дугой, глаза очень умные и быстрые; но в телодвижениях он показался мне не очень ловким.

Лишь только отворили двери в столовую, оркестр заиграл тот же вечный польский, которым всегда начинаются танцы в Благородном собрании: «Гром победы раздавайся», а старшины поднесли князю на серебряном подносе приветные стихи и тотчас же потом начали раздавать, или, вернее, совать в руки прочим присутствующим. Мне досталось три экземпляра этого высокопарного произведения Николаева в котором, разумеется, не обошлось без Тита, Цезаря, Алкида и прочих нехристей. Вот последние стихи:

Славь тако Александра век
И охраняй нам Тита на престоле.
Будь купно страшный вождь и добрый человек,
Рифей в отечестве, а Цесарь в бранном поле.
Да, счастливый Наполеон,
Познав чрез опыты, каков Багратион,
Не смеет утруждать Алкидов русских боле.

За обедом князь сидел между двумя Александрами: А. А. Беклешовым и А. Л. Нарышкиным. За Нарышкиным особенно ухаживали князья Цицианов и Грузинский и В. А. Всеволожский, потчевая его то тем, то другим, и надо ему отдать справедливость, что он не обижал отказом. С Уваровым не расставался красавец-генерал, князь Андрей Иванович Горчаков, племянник Суворова, командующий здесь каким-то полком, чуть ли не Нащебургским.

С третьего блюда начались тосты, и когда дежурный старшина, бригадир граф Толстой, вставая провозгласил: «Здоровье государя императора», все, начиная с градоначальника, встали с мест своих, и собрание разразилось громким «ура», что, кажется, встрепенулся бы и мертвый, если б в толпе этих людей, одушевленных такою живою любовью к государю и отечеству, мог находиться мертвец. За сим последовал тост в честь князя Багратиона, и такое же громкое «ура» трижды опять огласило залу. Но вместе с этим «ура» грянул хор певчих, и вот раздалась, наконец, кантата Павла Ивановича Кутузова:

Тщетны Россам все препоны;
Храбрость есть побед залог;
Есть у нас Багратионы:
Будут все враги у ног.

В продолжение пения этих комплетцов, как назвал их умный циник З. Н. Поснецов (вместо куплетцов), сочинитель поминутно вскакивал из-за стола, подбегая то к градоначальнику, то к князю Багратиону и к другим начальным лицам и оделял всех, кто только попадался под руку, экземплярами своей кантаны. Простодушный старец Бабенов, которому достался также экземпляр этой кантаты, прочитывая ее несколько раз, никак не мог вразумиться, кому именно принадлежат эти ноги, у которых будут враги, упоминаемые в последнем куплете, и адресовался к многим с просьбой разрешить его недоумение.

«Тут нечего и думать»—преважно заметил ему красноносый весельчак Дружинин, и смысл этого стиха (будут все враги у ног) есть тот, что все враги будут побеждены нами, т.-е. русскими. Конечно, автор мог бы сказать это яснее: «будет враг у наших ног», но как быть? В пылу поэтического вдохновения немудрено ошибиться выражением. Айда толки! Вот что значит пересыпать из пустого в порожнее.

Между тем тосты продолжались: сперва в честь почтенного начальника Александра Андреевича, А. Л. Нарышкина и генерал-ад'ютанта Уварова, потом некоторых других почтенных москвичей: князя Долгорукова, Апраксина, Валуева и многих других и, наконец, старшин клуба и всех его членов. Эти тосты были причиною, что многие нечувствительно понаклюкались. По окончании обеда гости перешли в гостиную, и там старшины об'явили князю Багратиону, что он единогласно и без баллотировки избран членом клуба в воспоминание того дня, в который он осчастливил клуб своим посещением.

Этой церемонии я не видел, потому что в гостиную попасть не мог et pour cause.

Многие уверяли, что генерал Уваров прислан от государя с секретным поручением узнать мнение московской публики насчет несчастного Аустерлицкого сражения и делаемых приготовлений к новой войне с французами. Не думаю: это просто пустые разглагольствования. Государь, вероятно, знает и без того, что мнение Москвы состоит единогласно в том, чтобы не иметь никакого мнения, а делать только угодное государю, в полной к нему доверенности». (Записки Жихарева, стр. 162.)

«3-го марта во всех комнатах Английского клуба стоял стон разговаривающих голосов, и, как пчелы на весеннем пролете, сновали взад и вперед, сидели, стояли, сходились и расходились в мундирах, фраках, и еще кое-кто в пудре и кафтанах, члены и гости клуба. Пудренные, в чулках и

башмаках, ливрейные лакеи стояли у каждой двери и напряженно старались уловить каждое движение гостей и членов клуба, чтобы предложить свои услуги. Большинство присутствовавших были старые, почтенные люди, с широкими, самоуверенными лицами, толстыми пальцами, твердыми движениями и голосами. Этого рода гости и члены сидели по известным, привычным местам и сходились в известных, привычных кружках. Малая часть присутствовавших состояла из случайных гостей, преимущественно молодежи, в числе которых были Денисов, Ростов и Долохов, который был опять семеновским офицером. На лицах молодежи, особенно военной, было выражение того чувства презрительной почтительности к старикам, которое как будто говорит старому поколению: уважать и почитать вас мы готовы, но помните, что все-таки за нами будущность...

Пьер, одетый по-модному, но с грустным и унылым видом ходил по залам. Его, как и везде, окружала атмосфера людей, преклонявшихся перед его богатством, и он с привычкой царствования, с рассеянной презрительностью обращался с ними.

По годам он бы должен был быть с молодыми, но по богатству и связям он был членом кружков старых, почтенных гостей, и потому он переходил от одного кружка к другому. Старики из самых значительных составляли центр кружков, к которым почтительно приближались даже незнакомые, чтобы послушать известных людей. Большие кружки составлялись около графа Растопчина, Валуева и Нарышкина. Растопчин рассказывал про то, как русские были смяты бежавшими австрийцами и должны были штыком прокладывать себе дорогу сквозь беглецов.

Валуев конфиденциально рассказывал, что Уваров был прислан из Петербурга для того, чтобы узнать мнение москвичей об Аустерлице.

В третьем кружке Нарышкин говорил о заседании Австрийского военного совета, в котором Суворов закричал петухом в ответ на глупость австрийских генералов. Шиншин, стоявший тут же, хотел пошутить, сказав, что Кутузов, видно, и этому нетрудному искусству — кричать по петушиному — не мог выучиться у Суворова: но старички строго посмотрели на шутника, давая ему тем чувствовать, что здесь и в нынешний день так неприлично было говорить про Кутузова.

Граф Илья Андреевич Ростов озабоченно, торопливо похаживал в своих мягких сапогах из столовой в гостиную, поспешно и совершенно одинаково здороваясь с важными и неважными лицами, которых он всех знал, и, изредка оты-

скивая глазами своего стройного молодца-сына, радостно останавливал на нем свой взгляд и подмигивал ему. Молодой Ростов стоял у окна с Долоховым, с которым он недавно познакомился и знакомством которого он дорожил. Старый граф подошел к ним и пожал руку Долохова.

— Ко мне милости прошу, вот ты с моим молодцом знаком... вместе там... вместе геройствовали... А, Василий Игнатьич... здорово, старый — обратился он к проходившему старичку, но не успел еще договорить приветствия, как все зашевелилось, и прибежавший лакей с испуганным лицом доложил: «Пожаловали».

Раздались звонки: старшины бросились вперед; разбросанные в разных комнатах гости, как встряхнутая рожь на лопате, столпились в одну кучу и остановились в большой гостиной, у дверей залы.

В дверях передней показался Багратион, без шляпы и шпаги, которые он, по клубному обычаю, оставил у швейцара. Он был не в смушковом картузе, с нагайкой через плечо, как видел его Ростов в ночь накануне Аустерлицкого сражения, а в новом узком мундире, с русскими и иностранными орденами и с георгиевской звездой на левой стороне груди. Он, видимо, сейчас, перед обедом, подстриг волосы и бакенбарды, что невыгодно изменяло его физиономию. На лице его было что-то наивно-праздничное, дававшее в соединении с его твердыми, мужественными чертами даже несколько комическое выражение его лицу. Беклешов и Федор Петрович Уваров, приехавшие с ним вместе, остановились в дверях, желая, чтобы он, как главный гость, прошел вперед их. Багратион смешался, не желая воспользоваться их учтивостью; произошла остановка в дверях, и, наконец, Багратион, все-таки прошел вперед. Он шел, не зная, куда девать руки, застенчиво и неловко по паркету приемной: ему привычнее и легче было ходить под пулями по вспаханному полю, как он шел перед Курским полком в Шенграбене. Старшины встретили его у первой двери, сказав ему несколько слов о радости видеть столь дорогого гостя, и, не дождавшись его ответа, как бы завладев им, окружили его и повели в гостиную. В дверях гостиной не было возможности пройти от столпившихся членов и гостей, давивших друг друга и через плечи друг друга старавшихся, как редкого зверя, рассмотреть Багратиона. Граф Илья Андреевич, энергичнее всех, смеясь и приговаривая: «пусти, mon cher, пусти, пусти», протолкал толпу, провел гостей в гостиную и посадил на средний диван. Тузы, почтеннейшие члены клуба, обступили вновь прибывших. Граф

Илья Андреевич, проталкиваясь опять через толпу, вышел из гостиной и с другим старшиной через минуту явился, неся большое серебряное блюдо, которое он поднес князю Багратиону. На блюде лежали сочиненные и напечатанные в честь героя стихи. Багратион, увидав блюдо, испуганно оглянулся, как бы отыскивая помощи. Но во всех глазах было требование того, чтобы он покорился. Чувствуя себя в их власти, Багратион решительно обеими руками взял блюдо и сердито, укоризненно посмотрел на графа, подносившего его. Кто-то услужливо вынул из рук Багратиона блюдо (а то бы он, казалось, намерен был держать его так до вечера и так итти к столу) и обратил его внимание на стихи. «Ну и прочту», как будто сказал Багратион и, устремив усталые глаза на бумагу, стал читать со сосредоточенным и серьезным видом. Сам сочинитель взял стихи и стал читать. Князь Багратион склонил голову и слушал.

Славь тако Александра век
И охраняй нам Тита на престоле,
Будь купно страшный вождь и добрый человек,
Рифей в отечестве, а Цесарь в бранном поле.
Да, счастливый Наполеон,
Познав чрез опыты, каков Багратион,
Не смеет утруждать Алкидов русских боле...

Но еще он не кончил стихов, как громогласный дворецкий провозгласил: «Кушанье готово». Дверь отворилась, загремел из столовой польский: «Гром победы раздавайся, веселися, храбрый Росс», и граф Илья Андреевич, сердито посмотрев на автора, продолжавшего читать стихи, раскланялся перед Багратионом. Все встали, чувствуя, что обед был важнее стихов, и опять Багратион впереди всех пошел к столу. На первом месте, между двух Александров — Беклешова и Нарышкина,— что тоже имело значение по отношению к имени государя, посадили Багратиона: 300 человек разместились в столовой по чинам и важности, кто поважнее — поближе в чествуемому гостю: так же естественно, как вода разливается туда глубже, где местность ниже.

Перед самым обедом граф Илья Андреевич представил князю своего сына. Багратион, узнав его, сказал несколько нескладных, неловких слов, как и все слова, которые он говорил в этот день. Граф Илья Андреевич радостно и гордо оглядывал всех в то время, как Багратион говорил с его сыном.

Граф Илья Андреевич сидел напротив Багратиона с другими старшинами и угощал князя, олицетворяя в себе московское радушие.

— Здоровье государя императора!—крикнул он, и в ту же минуту добрые глаза его увлажнились слезами радости и восторга. В ту же минуту заиграли: «Гром победы раздавайся». Все встали с своих мест и закричали «ура», и Багратион закричал «ура» тем же голосом, каким он кричал на Шенграбенском поле. Восторженный голос молодого Ростова был слышен из-за всех 300 голосов. Он чуть не плакал. «Здоровье государя императора»,— кричал он — «ура»! Выпив залпом свой бокал, он бросил его на пол. Многие последовали его примеру. И долго продолжались громкие крики. Когда замолкли голоса, лакеи подобрали разбитую посуду, и все стали усаживаться и, улыбаясь своему крику, переговариваться. Граф Илья Андреевич поднялся опять, взглянул на записочку, лежавшую подле его тарелки, и провозгласил тост за здоровье героя нашей последней кампании, князя Петра Ивановича Багратиона, и опять голубые глаза графа увлажнились слезами; «ура» опять закричали голоса 300 гостей, и вместо музыки послышались певчие, певшие кантату сочинения Павла Ивановича Кутузова;

Тщетны Россам все препоны,
Храбрость есть побед залог,
Есть у нас Багратионы,
Будут все враги у ног и т. д.

Только-что кончили певчие, как последовали новые и новые тосты, при которых все больше и больше расчувствовался граф Илья Андреич, и еще больше билось посуды, и еще больше кричалось. Пили за здоровье Беклешова, Нарышкина, Уварова, Долгорукова, Апраксина, Валуева, за здоровье старшин, за здоровье распорядителя, за здоровье всех членов клуба, за здоровье всех гостей клуба и, наконец, отдельно, за здоровье учредителя обеда графа Ильи Андреича. При этом тосте граф вынул платок и, закрыв им лицо, совершенно расплакался». («Война и Мир» т. II, стр. 127.)

Нова вся эта сцена только благодаря композиционной обработке. Л. Толстой не только ввел в нее своих героев, но и дал им другое действие, сцена остранена мыслями Пьера об измене жены, его колебаниями перед вызовом.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ДЕФОРМАЦИЯ

ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В РОМАНЕ

Рассматривая источники «поездки Балашева» и толстовский текст ее, мы видим, что материала стало больше, Толстой уже начал сводить источники, контаминировать их. Одновременно изменялся и способ использования источника.

Толстовское отношение к истории изменилось, он начал борьбу с ее традиционными построениями.

Начало «поездки» как будто представляет переходный этап от манеры «Аустерлица» к новой манере. Развертыванию подвергается все тот же Михайловский-Данилевский, но установка автора дана на снижение исторической фразы.

Михайловский-Данилевский:

...«Скучая однообразно жизнью, генерал-ад'ютанты просили его величество удостоить своим присутствием приготовленный ими в тот день бал в Закрете,[1]) загородном доме Бенигсена. Во время бала приехал курьер с донесением,[2]) что неприятели наводят мосты на Немане.[3]) Министр полиции Балашев, к которому явился курьер, тихонько доложил государю о полученном известии. Император приказал Балашеву хранить его в тайне. Бал длился еще около часа. Никто не догадывался о важности привезенного донесения.

Большая часть ночи с 12 на 13 проведена государем в трудах и без сна. Ему одному предлежало под'ять исполинское бремя защиты империи и прав человечества.

...13-го июня в 10 часов вечера император велел позвать к себе Балашева и сказал ему:

«Ты, верно, не ожидаешь, зачем я тебя призвал. Я намерен отправить тебя к Наполеону. Я сейчас получил донесе-

ние из Петербурга, что нашему министерству иностранных дел прислана нота от французского посла графа Лористона, с из'яснением, что неотступное требование паспортов князем Куракиным для выезда из Франции принимается за разрыв и вследствие того дано приказание Лористону просить пропусков и ехать из России.

Итак, в первый еще раз я вижу причину, хотя весьма слабую, которою пользуется Наполеон, как предлогом к войне, но и та ничтожна, потому что князь Куракин требовал паспартов сам собою, не имея от меня на то повеления. Он видел, что все едут из Парижа, и Наполеон, и Маре, и заключая, что после них не от кого будет получить паспорта, настоятельно требовал его прежде от'езда Наполеона.

Наполеон прислал ко мне своего генерал-ад'ютанта графа Нарбонна, который когда-то был военным министром; в соответственность сего я решился отправить тебя. Хотя, впрочем, между нами сказать, я не ожидаю от этой посылки прекращения войны, но пусть же будет известно Европе и послужит новым доказательством, что начинаем ее не мы. Я дам тебе письмо к Наполеону. Будь готов к от'езду».

Во втором часу пополуночи государь опять послал за Балашевым, прочитал ему свое письмо к Наполеону и, отдавая оное, велел сказать Наполеону словесно, что если он намерен вступить в соглашение, то переговоры могут тотчас же начаться, однако, с одним непременным условием, чтобы армии его отступили за нашу границу.[4])—В противном случае,—присовокупил государь,—даю Наполеону обещание: пока хоть один вооруженный француз будет в России, не говорить и не принимать ни одного слова о мире». (Михайловский-Данилевский, «Описание отечественной войны». Ч. I, стр. 168-172.)

Л. Толстой:

После многих балов и праздников у польских магнатов, у придворных и у самого государя, в июне месяце одному из польских генерал - ад'ютантов государя пришла мысль дать обед и бал государю от лица его генерал-ад'ютантов. Мысль эта радостно была принята всеми. Государь из'явил согласие. Генерал-ад'ютанты собрали по подписке деньги. Особа, которая наиболее была приятна государю, была приглашена быть хозяйкой бала. Граф Бенигсен, помещик

Виленской губернии, предложил свой загородный дом для этого праздника, и 13-го июня был назначен бал, обед, катанье на лодках и фейерверк в Закрете,[1]) загородном доме графа Бенигсена.

В тот самый день, в который Наполеоном[2]) был отдан приказ о переходе через Неман и передовые войска его, оттеснив казаков, перешли через русскую границу, Александр проводил вечер на даче Бенигсена — на бале, даваемом генерал ад'ютантами.

Государь не танцовал; он стоял в дверях и останавливал то тех, то других теми ласковыми словами, которые он один только умел говорить.

...[3]) При начале мазурки Борис видел, что генерал-ад'ютант Балашев, одно из ближайших лиц к государю, подошел к нему и не-придворно остановился близко от государя, говорившего с польской дамой. Поговорив с дамой, государь взглянул вопросительно и, видно поняв, что Балашев поступил так только потому, что на это были важные причины, слегка кивнул даме и обратился к Балашеву. Только-что Балашев начал говорить, как удивление выразилось на лице государя. Он взял под руку Балашева и пошел с ним через залу, бессознательно для себя расчищая с обеих сторон сажени на три широкую дорогу сторонившихся перед ним. Борис заметил взволнованное лицо Аракчеева в то время, как государь пошел с Балашевым. Аракчеев, исподлобья глядя на государя и посапывая красным носом, выдвинулся из толпы, как бы ожидая, что государь обратится к нему. (Борис понял, что Аракчеев завидует Балашеву и недоволен тем, что какая-то, очевидно, важная, новость не через него передана государю.)

Но государь с Балашевым прошли, не замечая Аракчеева, через выходную дверь в освещенный сад. Аракчеев прошел шагах в двадцати за ними.

Пока Борис продолжал делать фигуры мазурки, его не переставала мучить мысль о том, какую новость привез Балашев и каким бы образом узнать ее прежде других.

В фигуре, где ему надо было выбирать даму, шепнув Элен, что он хочет взять графиню Потоцкую, которая, кажется, вышла на балкон, он, скользя ногами по паркету, выбежал в входную дверь в сад и, заметив входящего с Балашевым на террасу государя, приостановился. Государь с Балашевым направились к двери. Борис, заторопившись, как будто не успел отодвинуться, почтительно прижался к притолке и нагнул голову.

Государь с волнением лично оскорбленного человека договаривал следующие слова:

[4]) — Без объявления войны вступить в Россию! Я помирюсь только тогда, когда ни одного вооруженного неприятеля не останется на моей земле,—сказал он.

Как показалось Борису, государю приятно было высказать эти слова, он был доволен формой выражения своей мысли, но был недоволен тем, что Борис услыхал их.

— Чтоб никто не знал! — прибавил государь, нахмурившись.

Борис понял, что это относилось к нему, и, закрыв глаза, слегка наклонил голову. Государь опять вошел в залу и еще около получаса пробыл на бале.

Борис первый узнал известие о переходе французскими войсками Немана и, благодаря этому, имел случай показать некоторым важным лицам, что многое, скрытое от других, бывает ему известно, и через то имел случай подняться выше во мнении этих особ». (Т. III. Стр. 10-12.)

Итак мы видим, что кусок построен на материале книги Михайловского-Данилевского.

Роман развертывает упоминание историка о том, что извещение о вторжении Наполеона в Россию было получено во время бала.

Для ввода сообщения в роман использовано подслушивание Бориса. Элен, приехавшая неизвестно для чего в Вильно, также служит для пришивания отрывка к личной линии в романе.

Использование Борисом сведений для поднятия мнения о себе служит той же цели и одновременно дает или должно давать историческое событие в сниженном бытовом плане. Ту же роль играет злоба Аракчеева. Благодаря «слушателю» Толстой может дать разговор государя с пропуском, т.-е. только конец.

Пропущенное место использовано дальше в разговоре Балашева с Наполеоном. «Изречение» Александра дается таким образом сразу и получает акцент. После этого оно обращается в проходящий мотив.

Для удобства подачи материала, фраза рождается тут же на балу, а не при втором приходе Балашева. Что же касается бала, то он играет роль «второго действия». Сочетание бала с сообщением о войне и смерти выгодно для

романиста. Толстой использовал материал исторический, но у Загоскина в «Рославлеве» известие о войне приходит в поместье тоже во время бала. Толстой, вводя бал исторически, его конкретизирует и развивает, так как исторический материал совпал с требованием жанра.

В другом месте Толстой уже с чистым произволом художника монтирует смерть старика Безухого с балом у Ростовых.

За то выкинут из описания бала сюжетно неувязывающийся случай с падением построенной колоннады. Не привожу этой истории, чтобы не загромождать текста.

От изучения Шишкова получил Толстой указание о значении фразы Александра, о влюбленности императора в нее.

.. «Неожиданное известие о переходе французами Немана было особенно неожиданно после месяца несбывшегося ожидания,—и на бале. Государь в первую минуту получения известия, под влиянием возмущения и оскорбления, нашел то, сделавшееся потом знаменитым, изречение, которое самому нравилось ему и выражало вполне его чувства. Возвратившись домой с бала, государь в два часа ночи послал за секретарем Шишковым и велел написать приказ войскам и рескрипт фельдмаршалу князю Салтыкову, в котором он непременно требовал, чтобы были помещены слова о том, что он не помирится до тех пор, пока хоть один вооруженный француз останется на русской земле». («Война и Мир». Т. III., стр. 12.)

«Довольно долгое пребывание наше в Вильно и препровождение времени в разных увеселениях привело почти в забвение мысль о враждебном против нас намерении французского императора. В один день (июня 13 числа), проведя вечер с приятностью, пришел я домой, ни о чем не помышляя, лег спокойно спать, как вдруг в два часа пополуночи будят меня и говорят, что государь прислал за мною. Удивляясь сему необычайному зову, вскочил я, с торопливостью оделся и побежал к нему. Он был уже одет и сидел за письменным столом в своем кабинете. При входе моем, сказал он мне:—Надобно теперь же написать приказ нашим войскам и в Петербург к фельдмаршалу графу Салтыкову о вступлении неприятеля в наши пределы и между прочим сказать, что я не помирюсь, покуда хоть один неприятельский воин будет оставаться в нашей земле». (Краткие записки ген. Шишкова. Изд. 2-е, СПБ. 1832 г., стр. 299.)

Фраза эта в дальнейшем использована Толстым чрезвычайно характерно. Заметив ее невключенность в письменную ноту, он работает все время на то, что Балашев хочет ее передать и не может. Унижение Балашева впоследствии все время Толстым преувеличивается, а невозможность произнести «исторические слова» дает расстояние между

положением Балашева (фактом) и изречением. Изречение Александра и история его передачи как бы персонализируют ту борьбу, которую ведет Толстой против строя обычной истории.

Вообще же прием Толстого состоит в том, что он, передавая событие, доказывает, что оно произошло совершенно не так или вовсе не произошло.

Любопытно отметить, что фраза Александра, как это видно из текста Тьера, очевидно, была передана.

Но непереданной она нужней Л. Толстому. Повторяясь, она все время остраняется и играет ту же роль, как характеристика Мюрата, к которой мы сейчас перейдем.

Л. ТОЛСТОЙ.	ИСТОЧНИКИ.
...«Только-что они выехали за корчму на гору, как навстречу им из-под-горы показалась кучка всадников, впереди которой на вороной лошади с блестящей на солнце сбруей, ехал высокий ростом человек (п[1]) в шляпе с перьями и черными, завитыми по плечам волосами, в красной мантии и с длинными ногами, выпяченными вперед, как ездят французы. Человек этот поехал галопом навстречу Балашеву, блестя и развеваясь на ярком июньском солнце (п[2]) своими перьями, каменьями и золотыми галунами.	...«Наконец, его признали и проводили к Мюрату, который (п) весь расшитый золотом, с головой украшенной перьями, скакал среди своих многочисленных эскадронов». (Тьер, XIV, стр. 24.)
Балашев уже был на расстоянии двух лошадей от скачущего ему навстречу с торжественно-театральным лицом всадника (п[3]) в браслетах, перьях, ожерельях и золоте, когда Юльнер, французский полковник, почтительно прошептал (к[1]): „Король неаполитанский“*). Действительно это был Мюрат (к[2]), называемый теперь неаполитанским королем. Хотя и было совершенно непонятно, почему он был (к[3]) неаполитанский король, но его называли так, и он сам был убежден в этом и потому имел более торже-	«Мюрат, как всегда, легкий, любезный, но нескромный, принял г-на Балашева самым приветливым образом. Он сделал вид, что он в отчаянии от этой новой войны, что он сожалеет о своем милом (к) неаполитанском королевстве, и вовсе не желает королевства польского; и представился, наконец (с), разумным орудием в руках неразумного господина; все эти мудрые разговоры Мюрат сопровождал множеством любезностей, к выражению которых, он, несмотря на

*) Здесь и в дальнейшем мы даем Толстовские подстрочные переводы французских фраз для того, чтобы можно было их сравнить с источниками, переведенными на русский язык.

ственный и важный вид, чем прежде. Он так был уверен в этом, что он (к[4]) действительно неаполитанский король, что, когда, накануне отъезда из Неаполя, во время его прогулки с женой по улицам Неаполя, несколько итальянцев прокричали ему: (к[5]) «Да здравствует король!»—он с грустной улыбкой повернулся к супруге и сказал: «Несчастные, они не знают, что завтра я их покидаю».

Но, несмотря на то, что он твердо верил в то, что он был (к[6]) неаполитанский король и что он сожалел о горести своих, покидаемых им подданных, в последнее время, после того, как ему велено было опять поступить на службу, и особенно после свидания с Наполеоном в Данциге, когда августейший шурин, сказал ему: «Я вас сделал королем (к[7]), чтобы вы царствовали по-моему, а не по-своему»,—он весело принялся за знакомое ему дело и, как раз'евшийся, но не зажиревший конь, почуяв себя в упряжке, заиграл в оглоблях и, разрядившись как можно пестрее и дороже, веселый и довольный, скакал, сам не зная, куда и зачем, по дорогам Польши.

Увидав русского генерала, он (к[8]) по-королевски, торжественно откинул назад голову с завитыми по плечам волосами и вопросительно поглядел на французского полковника. Полковник почтительно передал (к[9]) его величеству значение Балашева, фамилию которого он не мог выговорить.

— De Bal-machève!—сказал (к[10]) король (своею решительностью превозмогая трудность, представлявшуюся полковнику. [1])—Очень приятно с вами познакомиться, генерал,—прибавил он (к[11]) с королевски милостивым жестом.

Как только (к[12]) король начал говорить громко и быстро, все (к[13]) королевское достоинство мгновенно оставило его, и он, сам не замечая, перешел в тон добродушной фамильярности. Он положил свою руку на холку лошади Балашева.

[2])—Ну, генерал, кажется, война,—сказал он, как-будто сожалея об об-

недостаток воспитания, имел природное дарование». (Тьер, XIV, стр. 24.)

«На пути Балашев съехался с Муратом, окруженным большою свитою и красовавшимся в богатом, несколько изысканном, костюме. Король соскочил с лошади. Балашев—тоже. Мюрат встретил его словами: [1])—Очень рад вас видеть и познакомиться с вами, генерал». (Богданович, т. I., стр. 139).

([2])—Кажется, здесь все предвещает войну.

стоятельстве, о котором он не мог судить.

— Ваше величество (к[14]), — отвечал Балашев, — император государь мой не желает войны, как ваше величество (к[15]) изволите видеть,— говорил Балашев, во всех падежах употребляя (к[15]) ваше величество с неизбежной аффектацией учащения титула, обращаясь к лицу, для которого титул этот еще новость.

Лицо Мюрата сияло глупым довольствием в то время, как он слушал monsieur de Balachoff. Но (к[17]) королевское звание обязывает, он чувствовал необходимость переговорить с посланником Александра о государственных делах, (к[18]) как король и союзник. Он слез с лошади и взял под руку Балашева, отойдя на несколько шагов от почтительно дожидавшейся свиты, стал ходить с ним взад и вперед, стараясь говорить значительно. Он упомянул о том,[4]) что император Наполеон оскорблен требованием вывода войск из Пруссии, в особенности тогда, когда это требование сделалось всем известно и когда этим оскорблено достоинство Франции.

Балашев сказал, что в требовании этом нет ничего оскорбительного, потому что... Мюрат перебил его.

[3])—Так вы считаете зачинщиком не императора Александра,— сказал он неожиданно с добродушно-глупой улыбкой.

Балашев сказал, почему он действительно полагал, что начинатель войны был Наполеон.

[5]) — Ах, любезный генерал,—опять перебил его Мюрат, — от всей души я желаю, чтобы императоры покончили дело между собой, и чтобы война начатая не по моему желанию, кончилась, как можно скорее, сказал он тоном разговора слуг, которые желают остаться добрыми друзьями, несмотря на ссору между господами.

И он перешел к расспросам о великом князе, о его здоровье и о воспоминаниях весело и забавно проведенного с ним времени в Неаполе. Потом вдруг, как-будто вспомнив о (к[19]) сво-

— Действительно, ваше величество, кажется, император Наполеон желает вести ее,—отвечал Балашев».

(Богданович. Стр. 139).

[4]) — «А нота, которою вы повелительно требовали, чтобы французские войска очистили Пруссию, не входя ни в какие об‘яснения». (Богданович. Стр. 139.)

[3]) —«Итак, вы считаете зачинщиком войны не императора Александра». — «Нисколько, я имею при себе тому доказательство». (Богданович. Стр. 139.)

— «Сколько мне известно, ваше величество, это требование не было важнейшим из условий ноты». — «Но все-таки мы не могли принять его. Впрочем, продолжал Мюрат,[5]) — душевно желаю, чтобы императоры поладили между собою, и чтобы война, начавшаяся против моей воли, была окончена как можно скорее». (Богданович. Стр. 139.)

ем королевском достоинстве, Мюрат торжественно выпрямился, стал в ту же позу, в которой он стоял на коронации, и, помахивая правой рукой, сказал:

⁶) — Я вас более не задерживаю, генерал; желаю успеха вашему посольству,— и, развеваясь красной шитой мантией (п⁴) и перьями и блестя драгоценностями, он пошел к свите, почтительно ожидавшей его. («Война и мир», т. III, стр. 14-6.)

⁶) —«Не буду вас задерживать долее, генерал. Можете продолжать ваш путь. Не знаю наверно, где император, но вероятно, он недалеко отсюда». (Богданович. Стр. 139.)

Построение этого отрывка и перестроение в нем исторического материала ясно из одного сопоставления текстов.

Во-первых, описание костюма Мюрата, достаточно характерное само по себе, остранено повторением четыре раза. Также повторяются (19 раз) выражения «король», «королевский» и т. д.

Теза доказывается Толстым здесь та, что Мюрат не настоящий король; здесь обычный толстовский, очень архаичный, легитимизм. Прием, которым доказывается теза, двойной.

Во-первых,— повторение и усиление. Перья и костюм, расшитый золотом, обращены в браслеты, перья и ожерелья.

Во-вторых,— апсихологизм Мюрата. В источниках Мюрат хитрит. Хитрость Мюрата мог знать и Толстой, хотя бы по письмам Билибина. Но здесь Толстой этого не знает, у него Мюрат имеет внешнее проявление эмоций, но не имеет вообще эмоций.

Он не только не хитрит, он даже не думает, не переживает, он только телесно подражает выражению разных эмоций.

Этот прием для Толстого вместе с повторением—основной. На нем построен Наполеон и вообще это прием отрицательной характеристики у Толстого.

Л. ТОЛСТОЙ.

...«Балашев застал маршала Даву в сарае крестьянской избы (б¹) сидящего на боченке и занятого письменными работами (он поверял счеты). Ад'ютант стоял подле него.

ИСТОЧНИКИ.

...«Представленный маршалу Даву, он был принят в атмосфере холодности, сдержанности и молчания. ...Под вечер он (Даву) предложил Балашеву разделить с ним ужин и

Возможно было найти лучшее помещение, но маршал Даву был один из тех людей, которые нарочно ставят себя в самые мрачные условия жизни для того, чтобы иметь право быть мрачными. Они для того же всегда поспешно и упорно заняты. «Где тут думать о счастливой стороне человеческой жизни, когда, вы видите, я на бочке сижу в грязном сарае и работаю»,—говорило выражение его лица. Главное удовольствие и потребность этих людей состоит в том, чтобы, встретив оживление жизни, бросить этому оживлению в глаза свою мрачную, упорную деятельность. Это удовольствие доставил себе Даву, когда к нему ввели Балашева. Он еще более углубился в свою работу, когда вошел русский генерал, и, взглянув через очки на оживленное, под впечатлением прекрасного утра и беседы с Мюратом, лицо Балашева, не встал, не пошевелился даже, а еще больше нахмурился и злобно усмехнулся.

Заметив на лице Балашева неприятное впечатление, Даву поднял голову и холодно спросил, что ему нужно.

Предполагая, что такой прием мог быть сделан только потому, что Даву не знает, что он генерал-ад‘ютант императора Александра и даже представитель его перед Наполеоном, Балашев поспешил сообщить свое звание и значение. В противность ожидания его Даву, выслушав Балашева, стал еще суровее и грубее.

— 1) Где же ваш пакет,—сказал он,— дайте мне его; я пошлю его императору.

2) Балашев сказал, что он имеет приказание лично передать пакет самому императору.

— Приказания вашего императора исполняются в вашей армии, а здесь,— сказал Даву,— 3) вы должны делать то, что вам говорят.

И как-будто для того, чтобы еще больше дать почувствовать русскому генералу его зависимость от грубой силы, Даву послал ад‘ютанта за дежурным.

усадил его за стол (б), состоявший из двери, сорванной с петель и укрепленной на нескольких боченках. Ужин был самый скудный. Даву извинился по поводу этого чисто военного гостеприимства, и не сказал Балашеву ни одного слова, которое касалось бы военных или политических дел». (Тьер, стр. 24—25.)

«На другое утро... Даву предоставил Балашеву свою ставку, просил его свободно всем воспользоваться, приставил к нему офицера, такого же молчаливого, как он сам. Сам же сел на лошадь с тем, чтобы принять начальствование над армией». (Тьер, стр. 25.)

«По прибытии в корпусную квартиру, Балашев был встречен с недоверчивостью суровым маршалом.

«Не знаю, где теперь император,— сказал Даву, — 1) отдайте мне ваш пакет; я перешлю его». Балашев вынул письмо из кармана, но, вместе с тем, заметил, что ему повелено вручить 2) письмо государя лично императору Наполеону.

3) «Все равно,— возразил маршал:—вы здесь не у себя, делайте то, что от вас требуют».

4) —Вот письмо,—с негодованием отвечал Балашев,—пре-

Балашев вынул пакет, заключавший письмо государя, и положил его на стол (стол, состоявший из двери, на которой торчали оторванные петли, положенной на два боченка). Даву взял пакет и прочел надпись.

[4]) — Вы совершенно правы оказывать или не оказывать мне уважение,—сказал Балашев.— Но позвольте вам заметить, что я имею честь носить звание генерал-ад‘ютанта его величества.

Даву взглянул на него молча и некоторое волнение и смущение, выразившееся на лице Балашева, видимо, доставили ему удовольствие.

[5])—Вам будет оказано должное, — сказал он и, положив конверт в карман, вышел из сарая.

Через минуту вощел ад‘ютант маршала г-н де-Кастре и провел Балашева в приготовленное для него помещение.

Балашев обедал в этот день в сарае б[2]) с маршалом на той же доске на бочках.

На другой день Даву выехал рано утром и, пригласив к себе Балашева, внушительно сказал ему, что он просит его оставаться здесь, подвигаться вместе с багажом, ежели они будут иметь на то приказания, и не разговаривать ни с кем, кроме как с господином де-Кастре». («Война и Мир». Т. III, стр. 17-18.)

доставляю вам не обращать внимания на мою особу, но прошу вас помнить, что я имею честь носить звание генерал-ад‘ютанта его императорского величества, императора Александра. Даву отвечал, что [5]) будет оказано ему все должное внимание, и вслед за тем приказал подать обед, говорил мало, как-будто нехотя. (Богданович, стр. 141.)

«Подробности посылки Балашева суть следующие:

Отправившись на рассвете 14 июня из Вильны, он встретил в Рыконтах неприятельские раз‘езды и был ими препровожден сперва к Мюрату, потом к Даву. Мюрат обошелся с ним вежливо, но Даву с холодностью и настоятельно требовал, чтобы Балашев отдал ему письмо от государя к Наполеону. На возражение, что письмо велено вручить лично Наполеону, Даву отвечал: [3]) «Не забудьте, что не вы здесь распоряжаетесь; я тоже имею приказания». Наш посланный удовлетворил желание Даву. (Михайловский-Данилевский.) Т. I., стр. 227.)

«На следующий день, за обедом, маршал сказал Балашеву, что, получив приказание итти дальше, предоставляет в его распоряжение квартиру, багажи и своего ад‘ютанта де-Кастре.

«Прошу вас только об одном, —прибавил Даву,—[6]) —не говорите ни с кем, кроме ад‘ютанта, и не переходите за цепь часовых». (Богданович, стр. 141.)

В приведенном отрывке интересно введение характеристики маршала Даву.

Она и желание усилить унижение Балашева, которое должно, вероятно, контрастировать с будущим торжеством Александра, сгустили краски отрывка. Не вошла в отрывок суровая любезность Даву (предоставление квартиры). Обстановка Даву сделана еще суровей, чем в источниках. Прибавлен сарай при избе, при чем неудобность помещения

(о котором нет упоминания в источниках) специально оговорена, как характеристика Даву. Перейдем к свиданию с Наполеоном.

Л. ТОЛСТОЙ.

...«И он (Наполеон), ясно и коротко стал излагать причины своего неудовольствия против русского правительства. Судя по умеренно-спокойному и дружелюбному тону, с которым говорил французский император, Балашев был твердо убежден, что он желает мира и намерен вступить в переговоры.

— Sire! L'Empereur, mon maître... начал Балашев давно приготовленную речь, когда Наполеон, окончив свою речь, вопросительно взглянул на русского посла; но взгляд устремленных на него глаз императора смутил его. «Вы смущены, — оправьтесь», — как-будто сказал Наполеон, с чуть заметной улыбкой оглядывая мундир и шпагу Балашева.

Балашев оправился и начал говорить: 1) *Он сказал, что император Александр не считает достаточной причиной для войны требование паспортов Куракиным, что Куракин поступил так по своему произволу и без согласия на то государя*, [2]) *что император Александр не желает войны и что с Англией нет никаких сношений.*

— Еще нет, — вставил Наполеон и, как-будто боясь отдаться своему чувству, нахмурился и слегка кивнул головой, давая этим чувствовать Балашеву, что он может продолжать.

Высказав все, что было приказано, Балашев сказал, что император Александр желает мира; [3]) *но не приступит к переговорам иначе, как с тем условием, что*бы...Тут Балашев замялся: он вспомнил те слова, которые император Александр не написал в письме, но которые непременно приказал вставить в рескрипт Салтыкову и которые приказал Балашеву передать Наполеону. Балашев помнил про эти слова: [3]) «*пока ни один вооруженный неприятель не останется на земле русской*», но какое-

ИСТОЧНИКИ.

...«Наполеон, встретив Балашева ласково, изложил поводы к своему неудовольствию на русское правительство и старался выставить нас зачинщиками войны. На это [1]) *Балашев отвечал, что государь очень удивлен вторжением французской армии в наши пределы без об'явления войны, под предлогом требования паспортов князем Куракиным, и что император Александр сам не одобряет в этом случае действий своего посла.* (Богданович. Т. I, стр. 141.)

«Вместе с тем, мне повелено уверить ваше величество, [2]) *что наше правительство не вошло ни в какие отношения с Англией*». (Op. cit. стр. 141.)

«Государь поручил мне доложить вашему величеству,—продолжал Балашев,—что и теперь, как и прежде, он готов на мир, с одним лишь условием непременным, [3]) *чтобы французы немедленно перешли за наши границы*». (Op. cit. стр. 141.)

то сложное чувство удержало его. Он не мог сказать этих слов, хотя и хотел это сделать. Он замялся и сказал: [3]) «С условием, чтобы французкие войска отступили за Неман».

Наполеон заметил смущение Балашева при высказывании последних слов: лицо его дрогнуло, (и[1]) левая икра ноги начала мерно дрожать. Не сходя с места, он голосом более высоким и поспешным, чем прежде, начал говорить. Во время последующей речи Балашев, не раз опуская глаза, невольно наблюдал (и[2]) дрожание икры в левой ноге Наполеона, которое тем более усиливалось, чем более он возвышал голос.

— Я желаю мира не менее императора Александра,—начал он.—Не я ли восемнадцать месяцев делаю все, чтобы получить его. [4]) Я восемнадцать месяцев жду об'яснений. Но для того, чтобы начать переговоры, чего же требуют от меня,—сказал он, нахмурившись и делая энергически вопросительный жест своей маленькой, белой и пухлой рукой.

— Отступления войск за Неман, государь,— сказал Балашев.

— За Неман,—повторил Наполеон.

— Так теперь вы хотите, чтобы отступили за Неман—только за Неман, — повторил Наполеон, прямо взглянув на Балашева.

Балашев почтительно наклонил голову.

Вместо требования четыре месяца тому назад отступить из Померании, теперь требовали только отступить за Неман. Наполеон быстро повернулся и стал ходить по комнате.

— Вы говорите, что от меня требуют отступления за Неман для начатия переговоров; но от меня требовали точно так же два месяца тому назад отступления за Одер и Вислу, и, несмотря на то, вы согласны вести переговоры.

Он молча прошел от одного угла до другого и опять остановился против Балашева: Балашев заметил, что (и[3]) левая нога его дрожала еще быстрее, чем прежде, и лицо как-будто

(и)...«Мое волнение должно было быть велико, так как я почувствовал дрожание левой икры. Это большой признак у меня, и это давно уже со мной не случалось». (De las Cases. Le Memorial de Sainte-Hélène. Том I, гл. 5. Визит губернатора, стр. 572.)

«Наполеон, продолжая исчислять мнимые поводы к войне, поданные императором Александром, сказал в ответ Балашеву:

[4]) —Вот уже прошло 18 месяцев с тех пор, как я требую, чтобы вы об'яснились со мною. Не вы ли требовали от меня, чтобы я очистил Пруссию». (Богданович, стр. 141.)

[5]) «Такие ноты не могут иметь места в сношениях с самыми небольшими державами—даже с Швециею; а французскому правительству, верно, еще никто не отважился делать подобного предложения. Не могу при-

окаменело в своем строгом выражении. Это дрожание (и[4]) левой ноги Наполеон знал за собой. (и[5]) Le vibration de mon mollet gauche est un grand signe chez moi, — говорил он впоследствии.

нять его даже и в таком случае, если бы вы мне за то давали Петербург и Москву. Не вы ли первые стали вооружаться?. Ваш государь прибыл в армию прежде меня. (Богданович, стр. 141.)

[5])—Такие предложения, как то, чтобы очистить Одер и Вислу можно делать Принцу Баденскому, а не мне, — совершенно неожиданно для себя почти вскрикнул Наполеон. Ежели бы вы дали мне Петербург и Москву, я бы не принял этих условий. Вы говорите, я начал эту войну. А кто прежде приехал к армии? — император Александр, а не я. И вы предлагаете мне переговоры, тогда как я издержал миллионы, тогда как вы в союзе с Англией и когда ваше положение дурно. Вы предлагаете мне переговоры. А какая цель вашего союза с Англией? Что она дала вам? — говорил он поспешно, очевидно, уже направляя свою речь не для того, чтобы высказать выгоды заключения мира и обсудить его возможность, а только для того, чтобы доказать неправоту и ошибки Александра.

Вступление его речи было сделано, очевидно, с целью высказать выгоду своего положения и показать, что, несмотря на то, он принимает открытие переговоров. Но он уже начал говорить, и чем больше он говорил, тем менее он был в состоянии управлять своею речью...

Вся цель его речи теперь уже, очевидно, была в том, чтобы только возвысить себя и оскорбить Александра, то-есть именнс сделать то самое, чего он менее всего хотел при начале свидания.

[5]) «Наполеон сказал, что такие предложения, как предложения отступить за Вислу и Одер, едва ли можно делать принцу Баденскому, что в довершение всего г. Куракин настойчиво требовал свои паспорта и что г. Лористону было отказано в аудиенции у императора Александра, — что тогда мера переполнилась и французская армия должна была перейти через Неман». (Тьер, стр. 54.)

«Выслушав предложения, привезенные от императора, Наполеон отвечал, что не он подал повод к разрыву, не он первый стал вооружаться, не он, а государь сам прежде приехал к армии.

— Я верю тому, сказал Наполеон, что вы еще свободны от обязательств по отношению к Англии; но сближение скоро произойдет. Одного курьера достаточно для соглашения, и для того, чтобы завязать новый союз, ваш император давно уже начал сближаться с Англией; давно уже я слежу за этим движеним в его политике». (Михайловский-Данилевский, op. cit., т. I, стр. 227.)

[6]) — Говорят, вы заключили мир с турками?

Балашев утвердительно наклонил голову.

— Мир заключен...— начал он.

Но Наполеон не дал ему говорить. Ему, видно, нужно было говорить одному самому, и он продолжал говорить с тем красноречием невоздержанием раздраженности, к которому так склонны балованные люди.

[6]) ...«Говорят даже, — добавил Наполеон, — тоном вопроса, что вы заключили мир с турками, не присоединив эти провинции.

Балашев ответил утвердительно. И Наполеон, скрывая впечатление, которое это на него произвело, продолжал беседу». (Тьер, XIV, стр. 54.)

6_1) — Да, я знаю, вы заключили мир с турками, не получив Молдавии и Валахии. А я бы дал вашему государю эти провинции так же, как я дал ему Финляндию. Да, — продолжал он, — я обещал и дал бы императору Александру Молдавию и Валахию, а теперь он не будет иметь этих прекрасных провинций... Он бы мог, однако, просоединить их к своей империи, и в одно царствование он бы расширил Россию от Ботнического залива до устья Дуная. Екатерина Великая не могла бы сделать более, — говорил Наполеон, все более и более разгораясь, ходя по комнате и повторяя Балашеву почти те же слова, которые он говорил самому Александру в Тильзите.

(д) Всем этим он был бы обязан моей дружбе. (ц) О, какое прекрасное царствование! повторил он несколько раз, остановился, достал золотую табакерку из кармана и жадно потянул из нее носом.

(ц[2]) Как прекрасно могло бы быть царствование Александра!

7) Он с сожалением взглянул на Балашева, и только-что Балашев хотел заметить что-то, как он опять поспешно перебил его.

— Чего он мог искать и желать такого, чего бы он не нашел в моей дружбе... сказал он, с недоумением пожимая плечами. Нет, он нашел лучшим окружить себя моими врагами, и кем же? — продолжал Наполеон. 7) Он призвал к себе Штейнов, Амфельдов, Бенигсенов, Винценгероде. Штейн, прогнанный из своего отечества изменник; Армфельд — развратник и интриган; Винценгероде — беглый подданный Франции; Бенигсен — несколько более военный, чем другие, но все-таки неспособный, который ничего не сумел сделать в 1807 году и который бы должен был возбуждать в императоре Александре ужасные воспоминания... Положим, ежели бы они были способны, можно бы их

...«Да, — продолжал он, — я обещал и дал бы императору Александру Молдавию, Валахию, а теперь он не будет иметь этих прекрасных провинций. (Тьер, стр. 54.)

(Толстой сохраняет в речи Наполеона весь французский строй, вплоть до явных галлицизмов, как «прекрасные» провинции В. Ш.).

(ц) ...«Боже, Боже мой. Как бы прекрасно было его царствование, если бы он не разладил со мною»... (Богданович, стр. 142.)

(д) «Всем этим он был обязан моей дружбе. О, какое прекрасное царствование могло бы быть царствование Александра. О, какое прекрасное (ц) царствование! повторил он несколько раз»... (Тьер, стр. 54.)

...«(ц) — Какое прекрасное царствование могло бы быть его царствование, если бы он этого хотел. Для этого ему нужно было только согласовать свои действия с моими... Я дал ему Финляндию (важная ошибка, которую Наполеону не следовало бы хвастать), я обещал ему Молдавию и Валахию и он получил бы их»... (Тьер, стр. 53.)

7) «Император Александр окружен низкими людьми: при нем Армфельд, Штейн, Бенигсен. Армфельд — человек развратный, бессовестный, проныра; Штейн — негодяй, изгнанный из своего отечества; Бенигсен, выказавший свою неспособность в 1807 г.». (Богданович, стр. 142.)

употреблять,— продолжал Наполеон, едва успевая словом поспевать за беспрестанно возникающими соображениями, показывающими ему его правоту или силу (что в его понятии было одно и то же) — но и того нет: они не годятся ни для войны, ни для мира. [8]) Барклай, говорят, дельней их всех, но я этого не скажу, судя по его первым движениям. А они что делают, что делают все эти придворные? Пфуль предлагает, Армфельд спорит, Бенигсен рассматривает, а Барклай, призванный действовать, не знает, на что решиться: и время проходит, ничего не принося. Один Багратион — военный человек. Он глуп, но у него есть опытность, глазомер и решительность... И что за роль играет ваш молодой государь в этой безобразной толпе? Они его компрометируют и на него сваливают ответственность всего совершающегося.—Государь должен находиться при армии только тогда, когда он полководец, — сказал он, очевидно, посылая эти слова прямо как вызов в лицо государя. Наполеон знал, как желал император Александр быть полководцем.

[9]) — Уже неделя, как началась кампания, и вы не сумели защитить Вильну. Вы разрезаны на-двое и прогнаны из польских провинций.[11]) Ваша армия ропщет.

[12]) —Напротив, ваше величество, — сказал Балашев, едва успевший запомнить то, что говорилось ему, и с трудом следовавший за этим фейерверком слов,— войска горят желанием...

— Я все знаю,— перебил его Наполеон,— я все знаю, и знаю число ваших батальонов так же верно, как и моих. У [13]) вас нет 200 тысяч войска, а у меня втрое больше; даю вам честное слово,— сказал Наполеон, забывая, что это его честное слово никак не могло иметь значения, — даю вам честное слово, что у меня по сю сторону Вислы 530 тысяч человек. Турки вам не помощь: они никуда

[8]) «Я не знаю Барклая-де Толи, но судя по первым вашим распоряжениям, его таланты весьма ограничены войска ваши двигаются без определенной цели; вы сами сожгли многие из своих магазинов; лучше было бы вовсе не устраивать их. Неужели вы думаете, что я пришел к вам только за тем, чтобы посмотреть на Неман?» (Богданович, стр. 142.)

...«В противном случае он должен удалиться, представляя свободу действий ответственному военачальнику, вместо того, чтобы раздражать последнего своим присутствием и принимать на себя всю ответственность. Рассмотрите ваши первые операции: [9]) уже неделя, как началась кампания, и вы не сумели защитить Вильну. Вы разрезаны на-двое и прогнаны из ваших польских провинций. Ваша армия жалуется, ропщет, и она права. Кроме того, я знаю ваши силы; я сосчитал ваши батальоны так же верно, как мои. [13]) Вы не можете выставить против меня и 200 тысяч войска, а у меня втрое больше... (Тьер, XIV, 56.)
[11]) «Напрасно вы надеетесь на своих солдат; до Аустерлица они считали себя непобедимыми; теперь они заранее уверены, что мои войска побьют их». (Богданович, стр. 142.)

не годятся и доказали это, замирившись с вами. Шведы — их предопределение быть управляемыми сумасшедшими королями. Их король был безумный; они переменили его и взяли другого — Бернадота, который тотчас же сошел с ума, потому что сумасшедший только, будучи шведом, может заключать союзы с Россией.

Наполеон злобно усмехнулся и опять поднес к носу табакерку.

На каждую из фраз Наполеона Балашев хотел и имел, что возражать; беспрестанно он делал движение человека, желавшего сказать что-то, но Наполеон перебивал его. Против безумия шведов Балашев хотел сказать, что Швеция есть остров, когда Россия за нее; но Наполеон сердито вскрикнул, чтобы заглушить его голос. Наполеон находился в том состоянии раздражения, в котором нужно говорить, говорить и говорить только для того, чтобы самому себе доказать свою справедливость. Балашеву становилось тяжело: он, как посол, боялся уронить свое достоинство и чувствовал необходимость возражать; но, как человек, он сжимался нравственно перед забытьем беспричинного гнева, в котором, очевидно, находился Наполеон. Он знал, что все слова, сказанные теперь Наполеоном, не имеют значения, что он сам, когда опомнится, устыдится их. Балашев стоял, опустив глаза, глядя на движущиеся толстые ноги Наполеона, и старался избегать его взгляда.

— Да что мне ваши союзники, — говорил Наполеон. [131]) — У меня союзники — это поляки: их 80 тысяч, они дерутся, как львы. И их будет более 200 тысяч.

И, вероятно, еще более возмутившись тем, что, сказав это, он сказал очевидную неправду, и что Балашев в той же, покорной судьбе позе, молча стоял перед ним, он круто повернулся назад, [14]) подошел к самому лицу Балашева и, делая энергические и быстрые жесты своими белыми руками, закричал почти: [14]) — Знайте,

— «Даю вам честное слово, что у меня 530 тысяч человек по сю сторону Вислы. Турки вам не помощь: они никуда не годятся и доказали это, замирившись с вами. Шведы предназначены к тому, чтобы ими управляли безумцы. У них был сумасшедший король, они переменили его и взяли другого, который тоже сошел с ума, потому что сумасшедший только, будучи шведом, может заключить союз с Россией». (Тьер, стр. 56.)

...«Наполеон не соглашался с Балашевым, говорил, что в России никто не хочет войны, и снова исчислял свои огромные средства, [13]) уверяя, что одних поляков в его армии 80 тысяч и что он наберет их до 200 тысяч. — «А они сражаются, как львы», — сказал он.

— Если вы станете продолжать войну, то я отниму у вас польские области.

Но чего стоят ваши союзники вместе взятые. Что они могут сделать. Другое дело — мои союзники. поляки. Их 80 тысяч, они дерутся с иступлением. Скоро их будет 200 тысяч. (Тьер, стр. 56.)

...Затем он распространился о выгодах, которые Россия могла извлечь из союза с Францией, угрожая, что он уничтожит Пруссию, и кончил свою речь изъявлением наклонности к миру». (Богданович, стр. 142.)

что ежели вы поколеблете Пруссию против меня, знайте, что я сотру ее с карты Европы, — сказал он с бледным, искаженным злобою лицом, энергическим жестом одной маленькой руки ударяя по другой. — Да, я заброшу вас за Двину, за Днепр и восстановлю против вас ту преграду, которую Европа была преступна и слепа, что позволила разрушить. Да, вот что с вами будет, вот что вы выиграли, удалившись от меня, — сказал он и молча прошел несколько раз по комнате, вздрагивая своими толстыми плечами.

Он положил в жилетный карман табакерку, опять вынул ее, несколько раз приставил ее к носу и остановился против Балашева. Он помолчал, поглядел насмешливо прямо в глаза Балашеву и сказал тихим голосом:

— А между тем, что за прекрасное царствование мог бы иметь ваш государь!

Балашев, чувствуя необходимость возражать, сказал, что со стороны России дела не представляются в таком мрачном виде. Наполеон молчал, продолжая насмешливо глядеть на него и, очевидно, его не слушая. Балашев сказал, что в России ожидают от войны всего хорошего. Наполеон снисходительно кивнул головой, как бы говоря: «Знаю, так говорит ваша обязанность, но вы сами в это не верите, вы убеждены мною».

В конце речи Балашева Наполеон вынул опять табакерку, понюхал из нее и, как сигнал, стукнул два раза ногой по полу. Дверь отворилась; почтительно изгибающийся камергер подал императору шляпу и перчатки, другой подал носовой платок. Наполеон, не глядя на них, обратился к Балашеву:

15) —«Уверьте от моего имени императора Александра,— сказал он, взяв шляпу,—что я ему предан попрежнему: я знаю его совершенно и весма высоко ценю его высокие качества. 16) Я вас более не задерживаю, генерал, вы по-

14) «Если вам удастся поколебать Пруссию, я сотру ее с карты Европы, и я дам вам в соседи заклятого врага». (Тьер, стр. 56.)

«Я заброшу вас за Двину и за Днепр и восстановлю ту преграду, которую Европа в преступной слепоте позволила разрушить. Вот что вы выиграли, удалившись от меня, и порвав со мной союз». (Тьер, стр. 56.)

...«Какое прекрасное царствование, — повторил Наполеон,— могло бы быть царствованием вашего государя. (Тьер, стр. 56.)

«Г. Балашев, с трудом сдерживаясь, ответил все же почтительно, что... в России на предстоящую войну не смотрят так безнадежно»... (Тьер, стр. 56.)

12) — «Смею уверить ваше величество, — прервал Балашев,— что русские войска, вместо того, чтобы сомневаться в своих силах, с нетерпением желают боя, и в особенности с тех пор, как наши границы подвержены опасности. Эта война будет ужасна; вы будете иметь дело не с одними войсками, а со всем русским народом, который предан государю и отечеству». (Богданович, стр. 142.)

15) «... — Уверьте от моего имени императора Александра, что я ему предан попрежнему; я знаю его. совершенно и весьма высоко ценю высокие его качества».

16) — Не стану долее удерживать вас, генерал. Вы получите от меня письмо к вашему государю». (Богданович, стр. 144.)

лучите мое письмо к императору.

И Наполеон пошел быстро к двери. Из приемной все бросились вперед и вниз по лестнице». (Т. III, стр. 20—24.)

Речь Наполеона перед Балашевым построена Толстым по материалу целиком.

Здесь мы видим следующую обработку:

1) Введено телесное проявление эмоций Наполеона, описано, как он выглядит тогда, когда говорит.

Деталь дрожащей икры введена с чуть пародийным переводом.

«La vibration de mon mollet gauche est un grand signe chez moi» —не обязательно переводить: «движение левой икры у меня—великий признак».

Здесь ирония достигается переводом grand через «великий», и сопоставлением этого слова со словом «икра» да еще точно «левая», чуждым по семантическому тону. Можно было бы перевести — «важный» и смысл изменится. Менее важны жесты Наполеона с табакеркой и т. д. Дальнейшая обработка заключается в обращении фразы: «каким прекрасным могло бы быть царствование Александра» через ряд повторений в припев.

Как я уже говорил, у Толстого Балашев не передает исторической фразы.

Главный же смысл толстовских переделок в том, что Наполеон, по заданию, у него говорит не то, что хотел сказать, его захватила фраза, он сердится на себя за ложь и не может удержаться.

Получается впечатление, что Наполеон хотел заключить мир, и только не сумел.

Вероятно, это связано с толстовской мыслью об обреченности Наполеона.

Нужно отметить, что в разбираемом куске Наполеон имеет психологию.

Наполеон играет с Балашевым, как лев с мышкой.

Л. ТОЛСТОЙ.

После всего того, что сказал ему Наполеон, после этих взрывов гнева и после последних сухо сказанных слов: «Je ne vous retiens plus, général, vous recevrez ma lettre», Балашев был уверен, что Наполеон не только не пожелает его видеть, но постарается не видеть его — оскорбленного посла и, главное, свидетеля его непристойной горячности. Но, к удивлению своему, Балашев через Дюрока получил приглашение в этот день к столу императора.

На обеде были Бессьер, Коленкур и Бертье.

1 (н) Наполеон встретил Балашева с веселым и ласковым видом. Не только не было в нем выражения застенчивости или упрека себе за утреннюю вспышку, но он, напротив, старался ободрить Балашева. Видно было, что уже давно для Наполеона в его убеждении, не существовало возможности ошибок, и что в его понятии все то, что он делал, было хорошо не потому, что оно сходилось с представлением того, что хорошо и дурно, но потому, что он делал это.

1[1]) Император был очень весел после своей верховой прогулки по Вильне, в которой толпы народа с восторгом встречали и провожали его. Во всех окнах улиц, по которым он проезжал, были выставлены ковры, знамена, вензеля его, и польские дамы, приветствуя его, махали ему платками.

За обедом, посадив против себя Балашева, он обращался с ним не только ласково, но обращался так, как-будто он и Балашева считал в числе своих придворных, в числе тех людей, которые сочувствовали его планам и должны были радоваться его успехам. Между прочим разговором, он заговорил о Москве и стал спрашивать Балашева о русской столице, не только как спрашивает любознательный путешественник о новом месте, которое он намеревается посетить, но как бы с убеждением, что Балашев, как русский, должен быть польщен этой любознательностью.

2 (ц) — Сколько жителей в Москве, сколько домов? Прав-

ИСТОЧНИКИ.

Пригласив г. Балашева к своему столу (4), Наполеон обошелся с ним ласково (благосклонно), но с фамильярностью почти оскорбительной. (Тьер XIV, стр. 57).

...«К обеду Наполеон пригласил Балашева, Коленкура, Бертье и Бессьера». (Михайловский-Данилевский, стр. 229.)

[1]) «Разговор Наполеона за столом был выражением мыслей избалованного счастливца, твердо уверенного в совершенном успехе своих предприятий». (Тьер, стр. 58.)

(Далее у Тьера Наполеон раскаивается в своем «легкомысленном» разговоре с Балашевым и пытается его загладить серьезными предложениями. Толстой заменяет это не менее легкомысленным разговором за кофе. В.Ш.)

...«В числе вопросов, сделанных им Балашеву, он из'явил желание получить понятие о Москве.

[2]) ...«Много ли там жителей?» — спросил он. «300 тысяч«. «А домов?»—«10 тысяч».

да ли, что Moscou называют Moscou la sainte? Сколько церквей в Москве?— спрашивал он.

И на ответ, что церквей более двухсот, он сказал:

[4]) — К чему такая бездна церквей?

[5]) — Русские очень набожны, — отвечал Балашев.

[0]) — Впрочем, большое количество монастырей и церквей есть всегда признак отсталости народа,—сказал Наполеон, оглядываясь на Коленкура за оценкой этого суждения.

Балашев почтительно позволил себе не согласиться с мнением французского императора.

— У каждой страны свои нравы,— сказал он.

[6]) — Но уже нигде в Европе нет ничего подобного,— сказал Наполеон.

[7]) — Прошу извинения у вашего величества, — сказал Балашев,— кроме России, есть еще Испания, где также много церквей и монастырей.

Этот ответ Балашева, намекавший на недавнее поражение французов в Испании, был высоко оценен, по рассказам Балашева, при дворе императора Александра и очень мало был оценен теперь за обедом Наполеона и прошел незаметно.

По равнодушным и недоумевающим лицам господ маршалов было видно, что они недоумевали, в чем здесь состояла острота, на которую намекала интонация Балашева. «Ежели и была она, то мы не поняли ее или она вовсе не остроумна»,—говорили выражения лиц маршалов. Так мало был оценен ответ, что Наполеон даже решительно не заметил его и наивно

[3]) «А церквей?» — «Более 240». (Богданович, стр. 144.)

[4]) ...«К чему такое множество».—[5]) «Русский народ набожен». (Богданович, стр. 144.)

...«Наполеон, наведя затем разговор на многочисленные монастыри, которые встречаются в Польше и особенно в России, сказал, [0]) что это признаки, свидетельствующие о плачевном состоянии страны и что они указывают на культурную отсталость»... (Тьер, стр. 58.)

[6]) ...«Полноте, какая теперь набожность».

[7]) ...«Извините меня, ваше величество, — сказал Балашев, — может быть в Германии и Италии мало набожных, но их еще много в Испании и России»... (Богданович, стр. 144.)

...«Г. Балашев, снова выведенный из терпения, ответил, что действительно (р), религиозное чувство почти исчезло в Европе, но сохранилось в двух, странах — Испании и России. Этот намек на сопротивление, которое он встретил в Испании и которое мог встретить в другом месте, несколько смутил Наполеона, который, несмотря на свой блестящий ум столь же живой в беседе, как на войне, не нашелся ответом». (Тьер, XIV, стр. 58.)

«Наполеон недовольный этим намеком на сопротивление, им встреченное в Испании, замолчал, но вдруг, обратясь к Балашеву спросил:

спросил Балашева о том, [8]) на какие города идет отсюда прямая дорога к Москве. Балашев, бывший все время обеда настороже, отвечал, что, как всякая дорога ведет к Риму, так всякая дорога ведет к Москве, (ц) что есть много дорог и что „в числе этих разных путей есть дорога на Полтаву, которую избрал Карл XII,—сказал Балашев, невольно вспыхнув от удовольствия в удаче этого ответа. Не успел Балашев досказать последних слов: „Poltawa", как уже Коленкур заговорил о неудобствах дороги из Петербурга в Москву и о своих Петербургских воспоминаниях.

[8]) — По какой дороге можно пройти к Москве.

— Ваше величество поставили меня в затруднение, — отвечал он: [9])—Русские, как и французы, говорят, что к Риму можно пройти по всякой дороге. В Москву тоже ведут многие пути. Карл XII туда шел на Полтаву». (Богданович, стр.144.)

...«Когда Наполеон заговорил о различных дорогах, ведущих в Москву, Балашев, задетый за живое, ответил, что дорог этих несколько, что выбор зависит от точки отправления, и (п) что в том числе имеется дорога на Полтаву». (Тьер, стр. 58.)

Таким образом, самое главное — недоверие, здесь от Толстого, а не от источников.

Л. ТОЛСТОЙ.

Есть в человеке известное послеобеденное расположение духа, которое сильнее всяких разумных причин заставляет человека быть довольным собой и считать всех своими друзьями. Наполеон находился в этом расположении. Ему казалось, что он окружен людьми, обожающими его. Он был убежден, что и Балашев после обеда был его другом и обожателем. Наполеон обратился к нему с приятной и слегка насмешливой улыбкой.

— Это та же комната, как мне говорили, в которой жил император Александр. Странно, не правда ли, генерал, — сказал он, очевидно, не сомневаясь в том, что это обращение не могло не быть приятно его собеседнику, так как оно доказывало превосходство его, Наполеона, над Александром.

Балашев ничего не мог отвечать на это и молча наклонил голову.

— Да, в этой комнате, четыре дня тому назад, совещались Винценгероде и Штейн, — с той же насмешливой, уверенной улыбкой продолжал Наполеон. — Чего я не могу понять,—сказал он, — это того, что император Александр приблизил к себе всех личных моих неприятелей. Я этого не... понимаю. Он не думал о том, что я могу сделать тоже, — с вопросом об-

ИСТОЧНИКИ.

...«В продолжение этого обеда, на котором, кроме императора французов и Балашева, были Бертье, Бессьер и Коленкур, Наполеон был гораздо надменнее, нежели прежде». (Богданович, стр. 144.)

...«В таком положении Балашев оставался до 18-го июня, когда получено было приказание отправить его к Наполеону в Вильну.

Его привезли на квартиру Бертье, и в следующий же день Наполеон, прислав за ним своего камергера, графа Тюренни, принял нашего генерала в своем кабинете, той самой комнате, из которой он был отправлен, за пять дней перед тем, императором Александром». (Богданович, стр. 141.)

...«Замечаю, что император Александр руководим ненавистью ко мне, но я отомщу ему, и свергну с престолов родственных императорскому дому владетелей в Виртемберге, Бадене, Веймаре: пусть ваш государь го-

ратился он к Балашеву, очевидно, это воспоминание втолкнуло его опять в тот след утреннего гнева, который еще был свеж в нем.

— И пусть знает он, что я это сделаю, — сказал Наполеон, вставая и отталкивая рукой свою чашку. — Я выгоню из Германии всех его родных: Виртембергских, Баденских, Веймарских... — да, я выгоню их. Пусть он готовит для них убежище в России.

Балашев наклонил голову, видом своим показывая, что он желал бы откланяться и слушает только потому, что он не может не слушать того, что ему говорят. Наполеон не замечал этого выражения; он обращался к Балашеву не как послу своего врага, а как к человеку, который теперь вполне предан ему и должен радоваться унижению своего бывшего господина.

— И зачем император Александр принял начальство над войсками? К чему это? Война — мое ремесло, а его дело царствовать, а не командовать войсками. Зачем он взял на себя такую ответственность? (Т. III, стр. 24—27.)

товит для них убежище. Я внесу войну во внутренность России; употреблю на то три, четыре похода; проникну в ваши степи». (М и х а й л о в с к и й - Д а н и л е в с к и й, стр. 229.)

Затем, Наполеон, со всеми, сидевшими с ним за столом, перешел в кабинет и снова стал упрекать в недоброжелательстве к себе императора Александра.

— Он приблизил к себе личных моих неприятелей; он нанес мне личное оскорбление. Я в праве сделать то же.

— Я выгоню из Германии всех его родных: Виртембергских, Баденских Веймарских. Пусть он готовит им убежище в России... (Б о г д а н о в и ч, стр. 145.)

...«Мне сказывали, что ваш государь принял начальство над своими войсками. К чему это? Война — мое ремесло; я привык к нему. Императору Александру вовсе этого не нужно; его дело—ц а р с т в о в а т ь, а н е к о м а н д о в а т ь в о й с к а м и. Напрасно он берет на себя такую ответственность».(Б о г д а н о в и ч, стр. 145.)

Здесь Толстой работает приемом остранения, мотивируя его эгоистическим автоматизмом Наполеона, который относится к Балашеву, как к французу. Вся линия доигрывается жестом Наполеона.

Наполеон опять взял табакерку, молча прошелся несколько раз по комнате и вдруг неожиданно подошел к Балашеву и с легкой улыбкой так уверенно, быстро, просто, как - будто он делал какое-нибудь не только важное, но и приятное для Балашева дело, поднял руку к лицу сорокалетнего русского генерала и, взяв его за ухо, слегка дернул, улыбнувшись одними губами.

«Avoir l'oreille tirée par l'empereur» считалось величайшею честью и милостью при французском дворе.

— Eh bien, vous ne dites rien, admirateur et courtisan de l'empereur Alexandre,— сказал он, как будто смешно было быть в его присутствии чьим-нибудь admirateur (и courtisan), кроме его Наполеона. — Г о т о в ы л и

«Затем, пройдя несколько раз через комнату, Наполеон подошел к Коленкуру и, тронув его слегка по щеке, сказал ему:

— Ну что же вы ничего не говорите, угодник императора Александра? Г о т о в ы л и л о ш а д и д л я г е н е р а л а, д а й т е е м у м о и х, е м у д а л е к о е х а т ь. (Б о г-

лошади для генерала?— прибавил он, слегка наклоняя голову в ответ на поклон Балашева. — Дайте ему моих, ему далёко ехать.

Письмо, привезенное Балашевым, было последнее письмо Наполеона к Александру. Все подробности разговора были переданы русскому императору, и война началась»... («Война и Мир», т., III, стр. 27.)

данович, стр. 145.)

Отправленное с Балашевым письмо было последнее, писанное Александром к Наполеону. С сей поры император прекратил с ним всякие сношения и предоставил решение борьбы оружию»... (Михайловский-Данилевский, т. I, стр. 172.)

В конце всего эпизода Толстой повторяет приемы «недоверия к исторической фразе».

Балашев произносит ряд острот. Толстой подчеркивает, что они не звучали в гостиной Наполеона, несколько расходясь в этом вопросе с Тьером.

Построение сцены основано также на том, что Наполеон говорит, не чувствуя собеседника. Колебание в себе, типичное для героев Толстого и являющееся его основным приемом построения психологии, отсутствует у Наполеона (толстовского).

Наполеон относится к Балашеву, как к своему придворному, эта ошибка в отношении должна была, вероятно, дискредитировать Наполеона. Кульминационным пунктом отрывка и в то же время типичнейшим случаем деформации исторического материала является перенесение об'ектов. Наполеон говорит фразу и щиплет за ухо не своего придворного, а Балашева, что подчеркивается. «поднял руку к лицу сорокалетного русского генерала».

«Поднял руку к лицу» имеет тон оскорбления. Здесь Наполеон по воле Толстого осуществляет привычки и навыки своего двора на человеке другой среды. Это создает и увеличивает странность поступка. Таким же невероятным образом перенесена фраза: «Eh bien vous ne dites rien, admirateur et courtisan de l'empereur Alexandre», которую Наполеон в действительности сказал Коленкуру, бывшему в то время французским послом в России.

Эта историческая неточность была отмечена при появлении романа военным историком ген. Богдановичем.

«Но хотя мы и согласны с автором «Войны и Мира» насчет несовершенной достоверности и отсутствия здравой

критики в трудах Данилевского и Тьера, однакож, все-таки, верим им более, нежели художественному представлению, основанному на исторических документах, графа Толстого. Иначе мы бы поверили ему, что Наполеон взял за ухо прибывшего к нему, в качестве доверенного лица российского монарха, генерал-ад'ютанта Балашева.

(Наполеон, беседуя с Балашевым, взял за ухо Коленкура. «А вы что скажете, угодник императора Александра?», сказал он ему. (Подлинная записка генерал-ад'ютанта Балашева хранящаяся в архиве главного штаба)». (Статья М. Б. Богдановича «За и против». «Голос» 1868 г. № 129.)

Мне кажется, что благодаря введению в речь Наполеона «психологии», то-есть благодаря созданию в его ряду своего рода причинности, отрывок не удался и читатель не принимает в целом (в этом месте) снижения Наполеона.

...«Сцена приема Балашева Наполеоном и затем следующая за нею, в которой описывается послеобеденная беседа Наполеона с русским генерал-ад'ютантом, принадлежит к лучшим страницам романа. Несмотря на затаенное желание выставить Наполеона тщеславным и ограниченным человеком, художник граф Толстой невольно проговаривается, и Наполеон рисуется далеко не согласно с философией автора... Перед энергичной фигурой Наполеона Балашев кажется таким маленьким, в особенности во время неофициального обеда, когда Наполеон «милостиво шутит» с ним, как лев с котенком, не замечая знаменитых острот генерала насчет множества церквей в России и Испании и насчет дорог, ведущих к Москве. Описывая этот разговор с большим искусством граф Толстой вставляет от своего лица некоторые комментарии, которыми старается опошлить Наполеона и придать мелкое значение его словам, но если эти комментарии оставить в стороне, то сцена, изображенная романистом, оставляет относительно личности Наполеона именно то впечатление, на какое мы указали...» (Газ. «С-Петербургские Ведомости», апрель 1886 г., № 86. Библиография. «Война и Мир» соч. гр. Толстого, т. 4, реценз. подписан. Z.)

Во всем отрывке Наполеон занимает столько места, что уже как-будто становится героем произведения.

Но несмотря на то, что в романе уже во время его писания вошла новая композиционная задача — противопоставление Александра Наполеону — Наполеон не связан с остальными героями романа фабульно.

Как-будто остатком прежнего приема (от которого не удержался бы традиционный романист) остаются места (два) с Наполеоном перед раненым Андреем. Рана изменяет обычное восприятие и мотивирует общение героев личной линии с исторической... Особенно заметно это в описании второй встречи, где непринятие Наполеона Андреем резко контрастирует с «исторической болтовней» кавалергардов.

В дальнейшем Толстой строит еще более нетрадиционные сцены.

Балашев уехал при Борисе Трубецком, т.-е. условно связан с романом.

Сцена Балашева с Наполеоном связана со сценой бала повторением обстановки (та же комната). Но Наполеон при Бородине фабульно не связан с личными линиями романа. Качественно от героев романа Наполеон отличается тем, что ему не придано психологии. По тенденции (жанровой) сцены с Наполеоном на Бородине, стремятся обратиться в историческую статью, в ней появляются ссылки, это сцена с цитатами.

Удобнее всего проследить изменение метода пользования материалом у Толстого на его цитатах из Тьера. Первая цитата, как я уже указывал, просто призывает Тьера в свидетели русской славы, при чем в это время скептицизм Толстого на атаку не простирается. В дальнейшем дело изменяется. Тьер становится олицетворением официальной истории. Цитаты из него (как и первая) снабжены фамилией автора (этого Толстой никогда не делает с Михайловским-Данилевским). Для удобства полемики сами показания Тьера несколько изменяются. Приведу примеры.

В последних томах своего сочинения Лев Николаевич пользует материал Тьера с упоминанием его фамилии много раз. Некоторые из этих случаев разобраны отдельно, а сейчас дам краткую сводку. Справа я привожу текст Тьера, слева — Толстого, с указанием размеров отступления от подлинника, на которые идет Толстой для дискредитации историка:

«Потом, по красноречивому изложению Тьера, он велел раздать жалование своим войскам русскими, сделанными им, фальшивыми деньгами». (Толстой, IV, стр. 72.)

«Он приказал выдать армии жалование в бумажных рублях, но при этом имел осторожность добавить (что было проявлением необходимой честности по отношению к армии), что офицерам, пожелавшим отправить свое жалование во Францию, будет предоставлено право во всех казначейских конторах обменивать на серебро эти иностранные ассигнации». (Тьер, XIV, стр. 392.)

Можно подумать, что Тьер красноречиво говорит о поддельности денег. Таким образом, сама манера цитировать источник его искажает.

К этому обвинению в распространении фальшивых денег и к этой фразе Тьера Толстой возвращался несколько раз. Нужно отметить, что даже русскими военными историками, печатающимися, как говорил Толстой, иждивением правительства, обвинение Наполеона в распространении фальшивых денег поддерживалось весьма неохотно. От обвинения этого отказался, например, генерал Богданович, что вызвало ряд нападок несколько доносительного характера со стороны Липранди.

Толстой, вчитывая в Тьера определенную свою историческую концепцию и не находя ее, называет лицемерной не поддающуюся толкованию тьеровскому фразу. Два раза задевает Толстой Тьера по поводу термина «гениальный», умело остраняя показания Тьера и иронически давая понять нелепость спора о дате плана, выполнение которого привело в результате к небывалому разгрому армии.

(Тьер ничего подобного не доказывает. У Фена не 4 октября, а 16, 17 сентября. У Тьера именно начало октября, а не 15, которое есть срок предполагаемого **выполнения** плана. Следовательно, Толстой перевирает все цифры.)

«Гениальный план кампании, про который Тьер говорит: «Гений его никогда не изобретал ничего более глубокого, более искусного и более удивительного» (в цитате переставлены слова), и относительно которого Тьер, вступая в полемику с г-м Феном, доказывает, что соста-

(Речь идет о дальнейшем плане русской кампании, который Наполеон составил в Москве, т.-е. тогда, когда он, по мнению Толстого, действовал как бы со специальной целью погубить свою армию.)

вление этого гениального плана должно быть отнесено не к 4-му, а к 15-му октября, план этот никогда не был и не мог быть исполнен, потому что ничего не имел близкого к действительности». («Война и Мир». Т.IV, стр. 73.)

«Гений его никогда не изобретал ничего более искусного, более глубокого и более удивительного. План этот, задуманный в последних числах сентября, законченный и обработанный в течение первых двух-трех дней октября, план этот, в случае немедленного выступления, мог быть выполнен к 15-му октября.

Извлечение из подстрочного примечания Тьера:

«План этот приведен в совершенно искаженном виде в рассказе г. Фена. Он отнесен к заведомо ложной дате, потому что г-н Фен утверждает, что император задумал и подписал его в Петровском дворце, где он пребывал во время московского пожара с 16-го по 19-е сентября. (Тьер, XIV, 392.)

Этот способ дискредитировать противника, оспаривая его придаточные предложения и не точно их передавая, – проявление обычного приема, и можно сказать, что неточность пересказа у Толстого была в это время правилом. Он распространил влияние одних кусков на другие, например, чутье офицера Мюрата обращается у Толстого в ненавистный ему эпитет «гениальность», что после комической характеристики, даваемой несколько раз Мюрату, производит снижающий эффект.

«Преследование русской армии, которое озабочивало Наполеона, представило неслыханное явление.

Французские военноначальники потеряли 60-тысячную русскую армию, и только, по словам Тьера, искусству и, кажется, тоже гениальности Мюрата удалось найти, как булавку, эту 60-тысячную русскую армию». («Война и Мир». T.VI, стр. 73.)

«Ошибка генерала Сабастьянова была скоро обнаружена, и Мюрат с его верным чутьем офицера, привыкшего к службе на передовых постах, Мюрат, свернув направо и поднявшись вверх по течению реки Пахры, — быстро напал на след неприятеля». (Тьер, XIV, 404-405.)

Иногда деформация сводится к введению несуществующей у источника реплики.

...«Увидав обоз, загромождавший армию, Наполеон ужаснулся (как говорит Тьер). Но он, с своей опытностью войны, не велел сжечь все лишние повозки, как он это сделал с повоз-

...«Это зрелище удивило, задело, встревожило Наполеона. Сначала он хотел прекратить этот беспорядок. Но, подумав, решил, что все равно самое движение армии, дорожные случай-

ками маршала, подходя к Москве; он посмотрел на эти коляски и кареты, в которых ехали солдаты, и сказал, что это очень хорошо, что экипажи эти употребятся для провианта, больных и раненых». (Толстой, т. IV, стр. 5.)

ности, ежедневное потребление продуктов — скоро сократят количество этого багажа. Что потому не стоило огорчать владельцев суровостью, которую все равно заменит необходимость.

Кроме того, в случае сражений эти коляски могли послужить для перевозки раненых, - по этим причинам он согласился позволить каждому тащить за собой все, что только возможно». (Тьер, т. XIV, стр. 463.)

У Тьера Наполеон вовсе не говорит, что «это хорошо».

Ко времени деформации Тьера относится и построение толстовского Бородина, но к описанию Бородина Толстой пришел со сравнительно большим (максимальным для него) материалом. Не изменяя прием деформации, Толстой изменяет ее методы, он переводит точно, не остраняет мест подлинника повторением, но зато сталкивает цитаты, перенакапливает события вокруг Наполеона, в то же время лишая его психологии. Наполеон становится куклой, танцующей без музыки.

Комизм показа Наполеона здесь достигается путем сгущения деталей и перестановкой их, а также путем умалчивания мотивировок и выкидывания психологии.

Я должен извиниться здесь перед своим читателем в том, в чем я не виноват: в чрезвычайной трудности анализа прозы, благодаря величине об'екта. В прозе определенный стилистический прием осуществляется и может быть прослежен только на большом пространстве. Выборки не достигают своей цели, потому что изолированный языковой факт выглядит иначе, чем в контексте. Самый факт непрерывности пользования Толстого литературой— парад источников, который он здесь производит, настолько характерен, что в пропуске он сильно снизил бы значение анализа. Начало Бородина открывается у Толстого описанием туалета Наполеона, при чем деформация материала состоит в том, что эти процедуры исторически верны не для Бородина, а для комнатной жизни Наполеона, а странными кажутся потому, что происходят на поле битвы.

...«Император Наполеон еще не выходил из своей спальни и оканчивал свой туалет. Он, пофыркивая и покряхтывая, поворачивался то толстой спиной, то обросшей жирной грудью под щетку, которою камердинер растирал его тело. Другой камердинер, придерживая пальцем склянку, брызгал одеколоном на выхоленное тело императора с таким выражением, которое говорило, что он один мог знать, сколько и куда надо брызнуть одеколону. Короткие волосы Наполеона были мокры и спутаны на лоб, но лицо его, хотя опухшее и желтое, выражало физическое удовольствие: «Allez ferme, allez toujours!»—приговаривал он, пожимаясь и покряхтывая, растиравшему камердинеру. Ад'ютант, вошедший в спальню с тем, чтобы доложить императору о том, сколько было во вчерашнем деле взято пленных, передав то, что нужно было, стоял у двери, ожидая позволения уйти. Наполеон, сморщась, взглянул исподлобья на ад'ютанта». (Толстой, т. III, стр. 173—4.)

...«Император снимает свой фланелевый жилет. У него жирное белое тело, почти без волос. Он отличается толстотой такого рода, какая не свойственна мужчинам, — над чем он сам иногда подсмеивается.

Император растирает себе грудь и руки жесткой щеткой, которую он затем передает камердинеру с тем, чтобы тот растирал ему спину и плечи. При этом он округляет спину и, если хорошо настроен, то приговаривает: «Allons fort, comme sur un âne». (Ну-ка, крепче три меня, как осла). Затем он обливался одеколоном, пока имел его в своем распоряжении...» (Т. 3, стр. 42.)

(Де-Ля-Каз описывает туалет Наполеона уже в заточении.)

Здесь совершенно ясна тенденция автора: снижение. Для нас отрывок не вырывается из общего тона толстовской прозы. Но современники очень точно реагировали на это место почти в одинаковых выражениях.

«...Но взгляд автора на Наполеона, начиная с изображения его в обнаженном виде, фыркающего под руками камердинеров, вытирающих одеколоном его тучное тело, 24 августа, и кончая описанием его фигуры в конце сражения, где он сидел на Шевардинском кургане: желтый, опухлый, тяжелый, с мутными глазами, красным носом и охриплым голосом, утрирован до крайности.

Мы нисколько не сомневаемся, что приведенные факты не подлежат сомнению, но самый подбор их указывает на натяжку и лишает эти места романа той художественной правды, которая составляет за этими исключениями отличительные черты таланта графа Толстого». («Военный Сборник», 1868 г. № 8. Статья Н. Л. «Война и Мир», т. 4, стр. 114.)

«В видах посрамления венценосного корсиканца, силою своей творческой фантазии граф Толстой заставляет в своем романе императорского камердинера растирать эту спину накануне Бородинской битвы одеколоном и жест-

кими щетками». («Отечественные Записки» 1869 г. Апрель, № 4. Отд. «Новые книги», стр. 295-6.)

«Автор представляет накануне Бородинского сражения сцену вытирания императора щетками и опрыскивания одеколоном и следующее затем одевание. Описыванием подобных подробностей граф Толстой думает, по всей вероятности, низвести Наполеона из сана великого человека на степень обыкновенного смертного и, разумеется, не достигает этой цели». («Петербургская Газета» 1869 г.)

Намеренность «голого Наполеона» станет нам ясна, если мы сообразим, что хотя он и «цитатен», но цитаты перенесены в иной контекст. Наполеон обтирался одеколоном на острове св. Елены в жару, во время безделья, а не под Москвой, перед боем. Наполеон у Толстого слишком мало делает и возится с собой. Накопление забот о себе, так же как и накопление изречений, делает Наполеона комичным.

Далее идет остраненный пересказ аудиенции Наполеона с Фабвье и иронический пересказ поведения Наполеона перед портретом своего сына. Сам портрет описывается методом остранения, начиная от описания способа исполнения картины: «яркими красками написанная». Дальше остранение распространяется на титул и на сюжет картины. Дальнейшее остранение состоит в том, что Наполеон перед портретом своего сына не испытывает, по словам Толстого, никаких эмоций, а благодаря применению этого приема, только телесно их имитирует. Если бы вставить сюда психологию, т.-е., что Наполеон мог любить своего сына, то цель Толстого здесь не была бы достигнута.

...«Наполеон слушал, строго нахмурившись и молча, то, что говорил Фабвье о храбрости и преданности его войск, дравшихся при Саламанке на другом конце Европы и имевших только одну мысль — быть достойными своего императора и один страх не угодить ему. Результат сражения был печальный. Наполеон делал иронические замечания во время рассказа Fabvier, как-будто он и не предполагал, чтобы дело могло итти иначе в его отсутствие.

...«Наполеон в своей палатке... отдавал последние приказания, интересовался мельчайшими подробностями и со странной смесью раздражения и насмешки (Толстой опять сохранил тьеровскую характеристику) выслушивал рассказ приехавшего в этот день из Аропил, полковника Фабвье о битве при Саламанке». (Тьер, XIX, стр. 319.)

Выслушав Фабвье, Наполеон отослал его со словами, что он исправит завтра на берегах Москва-реки ошибки, сделанные в Аропилах». (Тьер.)

— Я должен поправить это в Москве,— сказал Наполеон. — A tantôt, — прибавил он и подозвал де-Боссе, который в это время уже успел приготовить сюрприз, уставив что-то на стульях, и накрыл что-то покрывалом.

...«Боссе поклонился с благодарностью за эту внимательность к его (неизвестной ему до сей поры) склонности путешествовать.

— А это что? — сказал Наполеон, заметив, что все придворные смотрели на что-то, покрытое покрывалом.

Боссе с придворною ловкостью, не показывая спины, сделал в полуоборот два шага назад и в одно и то же время сдернул покрывало и проговорил:

— Подарок вашему величеству от императрицы.

Это был яркими красками написанный Жераром портрет мальчика, рожденного от Наполеона и дочери австрийского императора, которого почему-то все звали королем Гима.

Весьма красивый курчавый мальчик со взглядом, похожим на взгляд Христа в Сикстинской Мадонне, изображен был играющим в бильбоке. Шар представлял земной шар, а палочка в другой руке изображала скипетр.

Хотя не совсем ясно было, что именно хотел выразить живописец, представив так называемого короля Рима протыкающим земной шар палочкой, но аллегория эта так же, как и всем видевшим картину в Париже, так и Наполеону, очевидно, показалась ясною и весьма понравилась.

— Roi de Rome, — сказал он, грациозным жестом руки указывая на портрет. — Admirable!

Со свойственною итальянцам способностью изменять произвольно выражение лица он подошел к портрету и сделал вид задумчивой нежности. Он чувствовал, что то, что он скажет и сделает теперь, есть история. И ему казалось, что лучшее, что он может сделать теперь, — это то, чтобы он с своим величием, вследствие которого сын его в бильбоке играл земным шаром, чтобы он выказал в противоположность этого величия самую простую отеческую нежность. Глаза его отуманились, он подвинулся, оглянул-

...«Я передал императору депеши, которые императрица мне поручила, и спросил у него приказаний относительно портрета его сына. Я думал, что, будучи накануне большой битвы, которой он, казалось, так желал, он отложит на несколько дней распоряжение об открытии ящика, в котором находилась эта драгоценная картина. Я ошибался. Торопясь насладиться образом, столь дорогим его сердцу, Наполеон приказал мне немедленно принести этот ящик. Я не могу выразить, какое удовольствие он испытал при виде этого образа. Только сожаление, что он не может прижать это милое дитя к своей груди, смущало эту светлую радость. Его глаза выражали самое искреннее умиление»... (Боссе. Мемуары.)

...«Случилось так, что в тот же день император получил из Парижа портрет Римского короля, этого ребенка, рождение которого империя встретила с теми порывами радости и надежды, какие волновали и самого императора. С тех пор, каждый день, во дворце видели Наполеона около этого ребенка, выражающего ему свои самые нежные чувства. И вот, когда среди отдаленных полей, среди грозных приготовлений, он снова увидел этот кроткий облик, его воинственная душа была растрогана. Он собственноручно выставил эту картину перед своей палаткой, потом позвал офицеров и солдат своей старой гвардии, желая поделиться своим чувством с этими старыми гренадерами, показать свое интимное семейство своей великой семье и озарить этим символом надежды приближающуюся опасность». (Граф де-Сегюр. Поход в Москву в 1812 г., стр. 26.)

...«Г-н де-Боссе, префект дворца, прибывший в этот день из Парижа, привез ему портрет короля Римского, писанный знаменитым художником Жераром.

ся на стул (стул подскочил под него) и сел на него против портрета. Один жест его — и все на цыпочках вышли, предоставляя самому себе и его чувству великого человека.

Посидев несколько времени и дотронувшись, сам не зная для чего, до шероховатости блика портрета, он встал и опять позвал Боссе и дежурного. Он приказал вынести портрет перед палатку, чтобы не лишить старую гвардию, стоявшую около его палатки, счастья видеть римского короля, сына и наследника их обожаемого государя.

Как он и ожидал, в то время, как он завтракал с господином Боссе, удостоившимся этой чести, перед палаткой слышались восторженные крики сбежавшихся к портрету офицеров и солдат старой гвардии.

— Vive l'empereur! Vive le roi de Rome! Vive l'empereur! — слышались восторженные голоса.

После завтрака Наполеон, в присутствии Боссе, продиктовал свой приказ по армии.

— Courte et énergique! — проговорил Наполеон, когда он прочел сам сразу, без поправок, написанную прокламацию. В приказе было:

«Воины! Вот сражение, которого вы столько желали. Победа зависит от вас. Она необходима для нас; она доставит нам все нужное, удобные квартиры и скорое возвращение в отечество. Действуйте так, как вы действовали при Аустерлице, Фридланде, Витебске и Смоленске. Пусть позднейшее потомство с гордостью вспоминает о ваших подвигах в сей день. Да скажут о каждом из вас: он был в великой битве под Москвою».

— De la Moskova! — повторил Наполеон, и, пригласив к своей прогулке господина Боссе, любившего путешествовать, он вышел из палатки к оседланным лошадям.

— Votre Majesté a trop de bonté, — сказал Боссе на приглашение сопутствовать императору: ему хотелось спать и он не умел и боялся ездить верхом.

Но Наполеон кивнул головой путешественнику, и Боссе должен был

В течение нескольких минут император Наполеон с волнением вглядывался в черты своего сына; потом приказал завернуть портрет»... (Тьер, XIV, стр. 319.)

...«Он позвал всех своих офицеров и всех генералов, которые находились неподалеку от его палатки, чтобы разделить с ними чувства, которыми была переполнена его душа.

— Господа,—сказал он им,—если бы моему сыну было пятнадцать лет, поверьте, он был бы здесь среди стольких храбрых (доблестных) иначе, чем в живописи». Немного спустя он прибавил: «этот портрет восхитителен!»

Потом он велел поставить его перед палаткой на стуле, чтобы все офицеры и даже солдаты его гвардии могли его видеть и черпать в нем новое мужество. Эта картина оставалась таким образом выставленной весь вечер». (Де-Боссе. Мемуары.)

...«Воины! Вот сражение, которого вы столь желали. Победа зависит от вас. Она для нас необходима; она доставит нам все нужное: удобные квартиры и скорое возвращение в отечество. Действуйте так, как вы действовали при Аустерлице, Фридланде, Витебске и Смоленске. Пусть позднейшее потомство с гордостью вспоминает о ваших подвигах в сей день. Да скажут о каждом из вас: он был в великой битве под Москвою». (Chambray. «Histoire de l'expédition de Russie» Paris 1825, n. 8, v. 2, p. 60.)

(Перевод с французского ген. Липранди в книге «Кому принадлежит честь Бородинского сражения», Москва, 1867, стр. 5, сноска.)

(Текстуальное совпадение перевода Липранди с переводом прокламации Наполеона, находящимся в «Войне и Мире», дает возможность думать, что Толстой в описании Наполеона на Бородине не пользовался первоисточниками, а монтировал их куски, вошедшие в книгу Липранди. В. Ш.)

...«Барон Денье свидетельствует (стр. 70), что «Боссе, префект дворца, приехал из Парижа с депешами и привез Наполеону портрет его сына. Император в молчании рассматривал его и потом приказал выставить оный перед палаткой, но тотчас после, с живостью и как бы отрываясь от

ехать. Когда Наполеон вышел из палатки, крики гвардейцев перед портретом его сына еще более усилились. Наполеон нахмурился.

— Снимите его, — сказал он, грациозно, величественным жестом указывая на портрет. — Ему еще рано видеть поле сражения.

Боссе, закрыв глаза и склонив голову, глубоко вздохнул, этим жестом показывая, как он умел ценить и понимать слова императора». (Толстой.)

душевной тревоги, которую он усиливался превозмочь, сказал: «Снимите его. Ему слишком рано видеть поле битвы». (Ген. И. Липранди, «Кому принадлежит честь Бородинского дня, Москва. 1867, стр. 24-25.)

Отрывок второй построен опять на нескольких источниках. Остранение здесь достигнуто накоплением изречений Наполеона, фактически им сказанных в разное время и в разных местах. Они скоплены в одном месте, и Наполеон обращается в какое-то собрание изречений.

Основным приемом этого отрывка и других отрывков является толстовская недоверчивость к связи Наполеона с тем, что происходит на поле сражения. Наполеон оказывается не занятым человеком, а имитирующим занятость.

В комичный мотив превращена беседа Наполеона о выдаче риса гвардии и его сомнение по поводу того, что приказание его выполнено. Здесь опять выкинута мотивировка наполеоновского сомнения. Дело в том, что французская армия, наступая на Москву, как раз перед Москвой испытывала острейшую нужду в с'естных припасах, что Толстой хорошо знал по книге Липранди, находившейся у него в библиотеке. Голод во французской армии перед Москвой, был сильнее, чем первое время после отступления от Москвы, и сомнение Наполеона в выдаче риса исторически вполне законно, но не соответствует художественному намерению автора, который остраняет это поведение полководца, умалчивая о мотивах поступка.

Л. ТОЛСТОЙ.

...«Вернувшись после второй озабоченной поездки по линии, Наполеон сказал:

— Шахматы поставлены, игра начинается завтра.

[1]) Велев подать себе пуншу и призвав Боссе, он начал с ним разговор о Париже, о некоторых изменениях, которые он намерен был сделать в maison de l'imperatrice, удивляя префекта своею памятливостью ко

ИСТОЧНИКИ.

...«Маркиз Шамбре, исчислив его ошибки, между прочим замечает, что «около десяти часов утра приказал он подать себе пуншу». Значит, что это последовало вторично; ибо выше видно уже было, что в три часа утра он пьет пунш с Раппом». (Липранди, стр. 38, 1867 г.)

всем мелким подробностям придворных отношений.

Он интересовался пустяками, шутил о любви к путешествиям Боссе и небрежно болтал так, как это делает знаменитый, уверенный и знающий свое дело оператор, в то время, как он засучивает рукава и надевает фартук, а больного привязывают к койке. «Дело все в моих руках и в голове, ясно и определенно. Когда надо будет приступить к делу, я сделую его, как никто другой, а теперь могу шутить; и чем больше я шучу и спокоен, тем больше вы должны быть уверены, спокойны и удивлены моему гению».

Окончив свой второй стакан пунша, Наполеон пошел отдохнуть перед серьезным делом, которое, как ему казалось, предстояло ему на завтра.

Он так интересовался этим предстоящим ему делом, что не мог спать, и, несмотря на усилившийся от вечерней сырости насморк, в три часа ночи, громко сморкаясь, вышел в большое отделение палатки. [2]) Он спросил о том, не ушли ли русские. Ему отвечали, что неприятельские огни все на тех же местах. Он одобрительно кивнул головой.

Дежурный ад'ютант вошел в палатку.

— Ну, Рапп, как вы думаете, хороши ли будут наши дела сегодня? — обратился он к нему.

[4]) — Без сомнения, ваше величество, — отвечал Рапп.

Наполеон посмотрел на него.

[5]) — Помните, ваше величество, что вы изволили сказать мне в Смоленске: вино откупорено, надо его пить.

Наполеон нахмурился и долго молча сидел, опустив голову на руки.

[6]) — Эта бедная армия,—сказал он вдруг, — она очень уменьшилась по пути от Смоленска. Судьба просто распутница, Рапп. Я всегда это говорил и теперь начинаю испытывать. [8]) Но гвардия, Рапп, гвардия цела?—вопросительно сказал он.

— Да, государь, отвечал Рапп.

Наполеон взял пастильку, положил ее в рот и посмотрел на часы. Спать ему не хотелось, до утра было еще далеко; а чтобы убить время — распоряжений никаких нельзя было уже

...«Он выпил стакан пунша, прочел несколько донесений и продолжал: [3]) — Ну, Рапп, как ты думаешь, хорошо у нас пойдет сегодня дело?

[4]) — Без сомнения, ваше величество, мы исчерпали все свои ресурсы и должны победить по необходимости.

Наполеон продолжал свое чтение и потом заметил: [7]) «счастье самая настоящая куртизанка; я часто говорил это, а теперь начинаю испытывать на себе.

[5]) Как, ваше величество, помните, вы сделали мне честь сказать под Смоленском, что дело начато и надо довести его до конца. Именно это справедливо более чем когда-либо; теперь уже некогда отступать. Кроме того, армия знает свое положение: ей известно, что припасы она может найти только в Москве, до которой ей осталось всего лишь 120 верст».(Рапп, Мемуары, стр. 164.)

...«Он бросил последний взгляд на расположение передовых отрядов вражеских войск, желая убедиться в том, [2]) что русские не собираются сниматься с места,— и с живейшим удовлетворением отметил, что они твердо держатся на занятых позициях.

Наконец, он вернулся в свою палатку с тем, чтобы отдохнуть немного». (Тьер, XIV, стр. 319.)

[5]) — Ваше величество, помните, сделали мне честь сказав в Смоленске, что вино разлито и его должно выпить; теперь, как никогда, предстал этот случай, теперь нет уже времени отлагать. Впрочем, армия знает свое положение. Она знает, что найдет существование только в Москве и что ей для этого должно сделать только тридцать лье.

[6]) — Эта бедная армия,— восклицает Наполеон,— очень уменьшилась, но то,

делать, потому что все были сделаны и приводились теперь в исполнение.—Розданы сухари и рис гвардейским полкам? — строго спросил Наполеон.

— Да, ваше величество.

— А рис?

что осталось, хорошо: [8]) гвардия моя, впрочем, не тронута». (Ген. Липранди, стр. 26).

[6]) ...« Бедная армия она сильно таки поубавилась; но зато остались лишь хорошие солдаты; [8]) кроме того, и гвардия моя осталась неприкосновенной». (Рапп, Мемуары, стр. 164.)

Рапп отвечал, что он передал приказание государя о рисе; но Наполеон недовольно покачал головой, как-будто он не верил, чтобы исполнено было его приказание. Слуга вошел с пуншем. Наполеон велел подать другой стакан Раппу и молча отпивал глотки из своего.

— У меня нет ни вкуса, ни обоняния,— сказал он, принюхиваясь к стакану.

— Этот насморк надоел мне. Они толкуют про медицину. Какая медицина, когда они не могут вылечить насморка. Корвизар дал мне эти пастильки, но они ничего не помогают. Что они могут лечить? Лечить нельзя.

(Наше тело—это машина для жизни. Оно для этого устроено, в этом состоит его природа; оставьте в нем жизнь в покое, пусть сама защищается: она сделает больше, чем когда вы будете пичкать тело лекарствами. Наше тело подобно часам, которые должны итти известное время, часовщик не может открыть их, он может управлять ими только ощупью и с завязанными глазами. Да, наше тело машина жизни, и только.)

(Фраза о теле, как мощное для жизни взята Толстым, вероятно, у Де-Ля-Каза, но похожая фраза есть в «Досугах» Сперанского. См. «Дружеские письма графа Сперанского к Масальскому». СПБ. 1862, стр. 130. Книга эта была в библиотеке Л. Н. Толстого. Быть может, эта фраза усиливала для Толстого сходство Наполеона со Сперанским. В. Ш.)

И как будто вступив на путь определений, définitions, которые любил Наполеон, он вдруг неожиданно сделал новое определение.

— Вы знаете ли, Рапп, что такое военное искусство?— спросил он.—Искусство быть сильнее неприятеля в известный момент. Voilá tout.

Рапп ничего не ответил.

— Завтра будем иметь дело с Кутузовым! — сказал Наполеон. — Посмотрим. Помните в Браунау он командовал армией и ни разу в три недели не сел на лошадь, чтобы осмот-

...«Но скоро опять слышатся его призывы. Его ад'ютант, входя, видит императора, склонившего на руки опущенную голову, и как бы угадывает в его речах размышление о тщетности славы: «Что такое война? Ремесло варваров, где все искусство заключается в том, чтобы один в чем-нибудь пересилил другого». (Сегюр, Мемуары, стр. 27.)

...«Мы сегодня будем иметь дело с этим знаменитым Кутузовым. Вы, конечно, помните, что это тот самый Кутузов, который командова

реть укрепления. Посмотрим.

Он поглядел на часы. Было еще только 4 часа. Спать не хотелось, пунш был допит, и делать все-таки было нечего.

Он встал, прошелся взад и вперед, надел теплый сюртук и шляпу и вышел из палатки. Ночь была темная и сырая, чуть слышная сырость падала сверху. Костры не ярко горели вблизи, во французской гвардии, и далеко сквозь дым блестели по русской линии. Везде было тихо, и ясно слышались шорох и топот начавшегося уже движения французских войск для занятия позиции.

Наполеон прошелся перед палаткой, посмотрел на огни, прислушался к топоту и, проходя мимо высокого гвардейца в мохнатой шапке, стоявшего часовым у его палатки и, как черный столб, вытянувшегося при появлении императора, остановился против него.

— С которого года в службе?—спросил он с той привычной аффектацией грубой и ласковой воинственности, с которой он всегда обращался к солдатам.

Солдат отвечал ему.

— Ah! un des vieux! Получили рис в полк?

— Получили, ваше величество.

Наполеон кивнул головой и отошел от него.

В половине шестого Наполеон верхом ехал к деревне Шевардину.

Начинало светать, небо расчистило, только одна туча лежала на востоке. Покинутые костры догорали в слабом свете утра.

Вправо раздался густой одинокий пушечный выстрел, пронесся и замер среди общей тишины. Прошло несколько минут. Раздался второй, третий выстрел, заколебался воздух. Четвертый, пятый раздались близко и торжественно где-то справа.

Еще не отзвучали первые выстрелы, как раздались другие, еще и еще, сливаясь и перебивая один другой.

Наполеон подъехал со свитой к Шевардинскому редуты и слез с лошади. Игра началась.

...В половине дня Мюрат послал к Наполеону своего ад'ютанта с требованием подкрепления.

в Браунау, в Аустерлицкую кампанию. Он оставался три недели в этой крепости, ни разу не выходя из своей комнаты, даже не садился на лошадь, чтобы видеть укрепления.

Бенигсен так же стар, но бодрее и крепче его. Не знаю, почему Александр не назначил этого ганноверца на место Барклая. После этого Наполеон выпил пуншу и велел подать также и мне». (Ген. Липранди, op. cit., стр. 26.)

...«Он сказал мне, что «сегодня нам придется иметь дело с этим пресловутым Кутузовым. Вы, конечно, помните, что это он командовал под Браунау. Он оставался в этом месте три недели, ни разу не выйдя из своей комнаты; он даже не сел на лошадь, чтобы осмотреть укрепления. Генерал Беннигсен, хотя тоже старик, куда бойче и подвижнее его. Я не знаю, почему Александр не послал этого ганноверца заместить Барклая». (Рапп, Мемуары, стр. 164.)

...«Он (Наполеон) спрашивает, не терпит ли в чем недостатка его гвардия, и снова призывает маршала, возобновляя свои настойчивые вопросы. Он приказывает раздать этим старым солдатам трехдневную порцию сухарей и риса, взятую из запасных фургонов.

И, наконец, опасаясь неисполнения своих поручений, он встает и сам справляется у гренадеров гвардии, стоящих при входе в его палатку, о том, получили ли они провиант.

Удовлетворившись их ответом, он возвращается и погружается в легкую дремоту». (Сегюр, Мемуары, стр. 27.)

Наполеон сидел под курганом и пил пунш, когда к нему прискакал ад‘ютант Мюрата с уверениями, что русские будут разбиты, ежели его величество даст еще дивизию.

— Подкрепление?—сказал Наполеон с строгим удивлением, как бы не понимая его слов и глядя на красивого мальчика-ад‘ютанта с длинными завитыми черными волосами (так же, как носил волосы Мюрат).

«Подкрепление», подумал Наполеон. «Какого они просят подкрепления, когда у них в руках половина армии, направленной на слабое неукрепленное крыло русских».

— Скажите неаполитанскому королю,—строго сказал Наполеон,—что теперь еще не полдень и что я еще не ясно вижу на своей шахматной доске. Ступайте.

Красивый мальчик-ад‘ютант с длинными волосами, не отпуская руку от шляпы, тяжело вздохнул, поскакал опять туда, где убивали людей.

Наполеон встал и, подозвав Коленкура и Бертье, стал разговаривать с ними о делах, не касающихся сражения.

В середине разговора, который начинал занимать Наполеона, глаза Бертье обратились на генерала с свитой, который на потной лошади скакал к кургану. Это был Бельяр. Он, слезши с лошади, быстрыми шагами подошел к императору и смело, громким голосом стал доказывать необходимость подкреплений. Он клялся честью, что русские погибли, ежели император даст еще дивизию.

Наполеон вздернул плечами и, ничего не ответив, продолжал свою прогулку. Бельяр громко и оживленно стал говорить с генералами свиты, окружившими его.

— Вы очень пылки, Бельяр,—сказал Наполеон, опять подходя к под‘ехавшему генералу.—Легко ошибиться в пылу огня. Поезжайте и посмотрите, и тогда приезжайте ко мне.

Не успел еще Бельяр скрыться из вида, как с другой стороны прискакал новый посланный с поля сражения.

— Ну, чего вам?—сказал Наполеон тоном человека, раздраженного беспрестанными помехами.

«Тут Бессьер вернулся с высот, куда Наполеон посылал его посмотреть на положение русских. Этот маршал утверждал, что русские вовсе не разбежались в беспорядке, что они отступили на вторую позицию, откуда, видимо, готовят новую атаку. Тогда император сказал Бельяру, что еще ничто не определилось и что, прежде чем пустить в дело резервы, он хочет хорошенько уяснить себе свой шахматный ход. Это самое выражение он повторял несколько раз, указывая, с одной стороны, на старую московскую дорогу, которую не мог еще захватить Понятовский, с другой—на атаку неприятельской кавалерии против нашего левого крыла, и, наконец, на большой редут, о который разбивались все усилия принца Евгения.

...Бельяр в недоумении вернулся к королю и доложил ему о невозможности получить подмогу от императора». (Сегюр, Мемуары, стр. 35.)

...«Капфиг (т. IX, стр. 271) говорит, что с кровопролитного боя, при Семеновском, Ней посылал ад‘ютанта за ад‘ютантом к Наполеону требовать во что бы то ни стало подкрепления. Наполеон прохаживался с Бертье близ Шевардинского редута и разговари-

— Ваше величество, принц... — начал ад'ютант.

— Просит подкрепления, — с гневным жестом проговорил Наполеон.

Ад'ютант утвердительно наклонил голову и стал докладывать; но император отвернулся он него, сделал два шага, остановился, вернулся назад и подозвал Бертье.

— Надо дать резервы, — сказал он, слегка разводя руками.—Кого послать туда, как вы думаете? — обратился он к Бертье, — к этому oison que j'ai fait aigle, как он впоследствии называл его.

— Государь, послать дивизию Клапареда,—сказал Бертье, помнивший наизусть все дивизии, полки и батальоны.

Наполеон утвердительно кивнул головой.

Ад'ютант поскакал к дивизии Клапареда, и через несколько минут молодая гвардия, стоявшая позади кургана, тронулась с своего места. Наполеон молча смотрел по этому направлению.

— Нет, — обратился он вдруг к Бертье, — я не могу послать Клапареда, пошлите дивизию Фриана, — сказал он.

Хотя не было никакого преимущества в том, чтобы вместа Клапареда посылать дивизию Фриана и даже было очевидное неудобство и замедление в том, чтобы остановить теперь Клапареда и посылать Фриана, но приказание было с точностью исполнено. Наполеон не видел того, что он в отношении своих войск играл ту роль доктора, который мешает своими лекарствами, — роль, которую он так верно понимал и осуждал.

Дивизия Фриана так же, как и другие, скрылась в дыму поля сражения. С разных сторон продолжали прискакивать ад'ютанты и все, как бы сговорившись, говорили одно и то же. Все просили подкреплений, все говорили, что русские держатся на своих местах и производят un feu d'enfer, от которого тает французское войско.

Наполеон сидел в задумчивости на складном стуле.

Проголодавшийся с утра m-r de Beausset, любивший путешествовать, вал с большим равнодушием и явным бесстрастием. «Что там такое»,— сказал Наполеон (стр. 272), как бы досадуя на докуку (все это подтверждает и Сент-Илер. Т. II, стр. 17.) «Государь, Багратион перешел опять в наступательное движение; маршал Ней не в состоянии более удерживаться. Жюно был послан в подкрепление к Понятовскому, настало время подкрепить маршала, если вы не хотите, чтобы он был раздавлен и отброшен до сих мест». Наполеон продолжал прохаживаться, не произнося ни слова, как бы погруженный в свои мысли, потом обратился к Бертье, сказал: «Кого туда послать?» Бертье отвечал: «Государь, генерала Клапареда, например, с его дивизией молодой гвардии, которою можно располагать».—«Да,—сказал Наполеон,—вы правы: прикажите Клапареду итти». Но потом, воротив ад'ютанта, сказал: «Нет, нет, не Клапареда: он мне нужен; прикажите Фриану подкрепить Нея». Это совещание продолжалось полчаса, а в подобном положении этого было много и т. д.» (Ген. Липранди, стр. 36-37.)

...«Завоеватель этот оставался с самого начала битвы на одном месте; он прохаживался взад и вперед с Бертье, позади его была пехота старой гвардии, а влево, несколько впереди, другие ее части. Нерешительный, против своего обыкновения, он не отдавал еще приказаний, когда один из его ординарцев, посланный к Нею, возвратясь, известил его, что Багратион вновь предпринял наступление и что безотлагательно должно поддержать его. Это новое донесение увеличило нерешительность Наполеона; он советуется с Бертье, но приказания не отдает. Ординарец повторяет несколько раз, что нельзя терять ни минуты, что Ней может быть подавлен. Наконец, Наполеон посылает его к Клапареду с приказанием итти на помощь к Нею. Ординарец пустился было, как стрела, но Наполеон возвращает его, вновь советуется с Бертье и оканчивает посылкой Фриана на помощь к Нею. От такой нерешительности потеряно было полчаса

подошел к императору и осмелился почтительно предложить его величеству позавтракать.

— Я надеюсь, что теперь уже я могу поздравить ваше величество с победой, — сказал он.

Наполеон молча отрицательно покачал головой. Полагая, что отрицание относится к победе, а не к завтраку, m-r de Beausset позволил себе игриво, почтительно заметить, что нет в мире причин, которые могли бы помешать завтракать, когда можно это сделать.

— Пошли к...—вдруг мрачно сказал Наполеон и отвернулся.

Блаженная улыбка сожаления, раскаяния и восторга просияла на лице господина Боссе и он плывущим шагом отошел к другим генералам».

что должно было иметь большое влияние на ход битвы и впоследствии на судьбу Наполеона». (Chambray. Histoire de l'éxpédition de Russie. V. II, p. 66).

...«В полдень я спросил императора, не желает ли он позавтракать.

Битва не была еще выигранной. Он сделал знак отрицательный. Я имел неосторожность сказать, что нет в мире никаких причин, которые бы препятствовали завтракать, когда можно это сделать. Тогда он меня отослал довольно грубым образом. Несколько позже он с'ел кусок хлеба и выпил стакан шамбертена без воды». (Де-Боссе, Мемуары, т. II, стр. 96.) (Пер. ген. Липранди, «Бородинское сражение», стр. 38.)

Образы, данные в этом отрывке: «игра в шахматы» и т. д, развертываются Толстым в линии из точечных указаний истории и становится рефреном.

В последнем отрывке любопытно выведение из автоматизации восприятия мальчика с донесением, благодаря подчеркиванию деталей: черные волосы и т. д., и комическое использование Толстым эпитета «любящий путешествовать». Эта фраза, неожиданно попадая в новый контекст, совершенно обессмысливается и производит нужное снижающее впечатление. Я не буду продолжать дальше анализа Бородина, так как русская часть описания дается Толстым в другом приеме и анализирована у меня в главе «Передача через героя».

Любопытно отметить, однако, здесь что Толстой подробно анализировал Бородино, дал чертеж боя и сделал ценные указания о плане Наполеона. Оценка Бородина и в частности указание на первоначальную позицию, которую хотели занять русские,— эта оценка получила почти единогласное признание военных авторитетов, как правильная. Но несмотря на это, Бородино все-таки литературная битва, потому что основные военные особенности боя, то-есть разность поведения русских и французских солдат, разность методов тактики и стратегии, различного способа пользо-

вания пехотой и неумения русских маскировать огонь,—все это оказалось вытесненным из толстовского восприятия. В центре толстовского восприятия оказалось то, что битва заикалась — ее нерешительный характер,— который так подробно передан в тягостном ожидании Наполеона.

Перейдем к совету в Филях.

...«Когда Ермолов, посланный Кутузовым для того, чтобы осмотреть позицию, сказал фельдмаршалу, что под Москвой на этой позиции нельзя драться и надо отступить, Кутузов посмотрел на него молча.

— Дай-ка руку,— сказал он и, повернув ее так, чтобы ощупать его пульс, он сказал: — Ты нездоров, голубчик. Подумай, что ты говоришь.

Кутузов еще не мог понять того, чтобы было возможно отступить за Москву без сражения.

...Кутузов подозвал к себе старших генералов.

— Ma tête, fût-elle bonne ou mauvaise, n'a qu'à s'aider d'elle-même*), — сказал он, вставая с лавки, и поехал в Фили, где стояли его экипажи.

В просторной, лучшей избе мужика Андрея Савостьянова в два часа собрался совет. Мужики, бабы и дети мужицкой большой семьи теснились в черной избе через сени. Одна только внучка Андрея, Малаша, шестилетняя девочка, которой светлейший, приласкав ее, дал за чаем кусок сахару, оставалась на печи в большой избе. Малаша робко и радостно смотрела с печи на лица, мундиры и кресты генералов, один за другим входивших в избу и рассаживавшихся в красном углу на широких лавках под образами. Сам дедушка, как внутренно называла Малаша Кутузова, сидел от них особо, в темном углу за печкой, он сидел, глубоко опустившись в складное кресло, и беспрестанно покряхтывал и расправлял воротник сюртука, который, хотя и расстегнутый, все как-будто жал его шею. Входившие один за другим подходили к фельдмаршалу; некото-

...«Возвратившись в главную квартиру, Ермолов доложил князю, что можно было бы, не заходя в столицу, совершить в виду неприятельской армии фланговое движение на тульскую дорогу, что было бы, однако, не совсем безопасно. Когда он стал с жаром доказывать, что невозможно было принять нового сражения, князь, пощупав у него пульс, сказал ему: «Здоров ли ты, голубчик?»— «Настолько здоров, — отвечал он, — чтобы видеть невозможность нового сражения».

...По возвращении Ермолова с рекогносцировки, он подробно донес главнокомандующему о замеченных им неудобствах позиции. Кутузов спросил у него: «Нельзя ли будет отступить с ней на калужскую дорогу?» И получив ответ, что «неприятель, атакуя нас в позиции, сблизится с сею дорогою и не позволит нам отступить на нее», — замолчал и в час пополудни уехал в деревню Фили, на приготовленную для него квартиру, сказав на прощанье по секрету принцу Евгению Виртембергскому: [1]) ici ma tête, fût-elle bonne ou mauvaise, ne doit cependant s'aider d'elle-même (в настоящем случае я должен положиться только на самого себя, каков бы я ни был, умен или прост). Вслед за тем граф Растопчин, пройдя к принцу, сказал с жаром: «Если бы у меня спросили, что делать, я ответил бы: разрушьте столицу, прежде чем уступить ее неприятелю. Таково мое мнение, как графа Растопчина, но как губернатор, обязанный заботиться о благе столицы, не могу подать такого совета». По от'езде Кутузова разошлись и все генералы, собравшиеся на Поклонной горе». (Бог-

*) Хороша ли, дурна ли моя голова, а положиться не на кого, как на нее.

рым он пожимал руку, некоторым кивал головой. Адъютант Кайсаров хотел было отдернуть занавеску в окне, против Кутузова, но Кутузов сердито замахал ему рукой, и Кайсаров понял, что светлейший не хочет, чтобы видели его лицо.

Вокруг мужицкого елового стола, на котором лежали карты, планы, карандаши, бумаги, собралось так много народу, что денщики принесли еще лавку и поставили у стола. На лавку эту сели пришедшие: Ермолов, Кайсаров и Толь. Под самыми образами, на первом месте сидел с Георгием на шее, с бледным, болезненным лицом и с своим высоким лбом, сливающимся с голой головой, Барклай-де-Толли. Второй уже день он мучился лихорадкой, и в это самое время его знобило и ломало. Рядом с ним сидел Уваров и негромким голосом (как и все говорили) что-то быстро, делая жесты, сообщал Барклаю. Маленький, кругленький Дохтуров, приподняв брови и сложив руки на животе, внимательно прислушивался. С другой стороны сидел, облокотивши на руку свою широкую с смелыми чертами и блестящими глазами голову, граф Остерман-Толстой и казался погруженным в свои мысли. Раевский с выражением нетерпения, привычным жестом наперед курчавя свои черные волосы на висках, поглядывал то на Кутузова, то на входную дверь. Твердое, красивое и доброе лицо Коновницына светилось нежной и хитрой улыбкой. Он встретил взгляд Малаши и глазами делал ей знаки, которые заставляли девочку улыбаться.

2) *Все ждали Бенигсена, который доканчивал свой вкусный обед, до шести часов и во все это время не* приступали к совещанию и тихими голосами вели посторонние разговоры.

Только когда в избу вошел Бенигсен, Кутузов выдвинулся из своего угла и подвинулся к столу, но настолько, что лицо его не было освещено поданными на стол свечами.

3) *Бенигсен открыл совет вопросом: «оставить ли без боя священную и древнюю столицу России или защищать ее?»* Последовало долгое и об-

данович, История отечественной войны. Т. II, стр. 247.)

[Портреты генералов сделаны по книге *Михайловского-Данилевского*: Военная Галлерея Зимнего Дворца. (Александр I и его сподвижники в 1812, 13, 14 г.г. СПБ. 1844—7, 4 тома.) В. Ш.]

...«Раевский, находившийся в арьергарде, прибыл на совещание позже всех». (*Богданович*, стр. 251.)

2)...«*Бенигсена ждали долго.* Приехав, он начал вопросом: 3)«*Выгоднее ли сражаться перед Москвою или оставить ее неприятелю?*» (*Михайловский-Данилевский*, стр. 320.)

2) ...«*Бенигсена ждали до шести часов, а после всех приехал Раевский.* Милорадович не прибыл, не имея возможности отлучиться из арьергарда.

3) *Бенигсен открыл совещание, предложив вопрос: «Выгоднее ли сразиться под стенами Москвы или оставить ее неприятелю?»*

щее молчание. Все лица нахмурились, и в тишине слышалось сердитое кряхтение и покашливание Кутузова. Все глаза смотрели на него. Малаша тоже смотрела на дедушку, она ближе всех была к нему и видела, как лицо его сморщилось: он точно собрался плакать, но это продолжалось недолго.

4) —Священную, древнюю столицу России,—вдруг заговорил он сердитым голосом, повторяя слова Бенигсена и этим указывая на фальшивую ноту этих слов.— Позвольте вам сказать, ваше сиятельство, что вопрос этот не имеет смысла для русского человека. (Он перевалился вперед своим тяжелым телом.) Такой вопрос нельзя ставить и такой вопрос не имеет смысла. Вопрос, для которого я просил собраться этих господ, это вопрос военный.

5) Вопрос следующий: «Спасение России в армии. Выгоднее ли рисковать потерей армии и Москвы, приняв сражение, или отдать Москву без сражения?» Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение. (Он откачнулся назад на спинку кресла.)

Начались прения. Бенигсен не считал еще игру проигранною. Допуская мнение Барклая и других о возможности принять оборонительное сражение под Филями, он, проникнувшись русским патриотизмом и любовью к Москве, 6) предлагал перевести войска в ночь с правого на левый фланг и ударить на другой день на правое крыло французов. Мнения разделились, были споры в пользу и против этого мнения. 7) Ермолов, Дохтуров и Раевский согласились с мнением Бенигсена. 8) Руководимые ли чувством потребности жертвы перед оставлением столицы или другими личными соображениями, но эти генералы как бы не понимали того, что настоящий совет не мог изменить неизбежного хода дел и что Москва уже теперь оставлена. Остальные генералы понимали это и, оставляя в стороне

Кутузов перервал речь Бенигсена упреками о несообразности и необдуманности сделанного им вопроса, который, по мнению его, без предварительного изложения всех обстоятельств дела был совершенно напрасен». (Богданович, стр. 248.)

4) Князь Кутузов заметил, что предварительно надобно объяснить положение дели, подробно изобразив неудобства позиции, сказал: «Доколе будут существовать армии и находиться в состоянии противиться неприятелю, до тех пор останется надежда счастливо довершить войну, но по уничтожении армии и Москва и Россия потеряны». 5) Потом сделал он другой вопрос: «ожидать ли нападения в неудобной позиции или отступить за Москву?» (Михайловский - Данилевский, стр. 323.)

...«Потому я предлагаю: 6) собрать ночью все силы на левом крыле и итти на центр Наполеона, ослабленный корпусами посланными обходить нас. Мы разобьем центр его, и тогда два корпуса, отряженные французами в обход, не только не будут в бездействии, но в необходимости, чтобы не быть отрезанными, помышлять о поспешном соединении с главными своими силами». (Михайловский-Данилевский, стр. 326.)

...«7) С мнением Бенигсена согласились: Дохтуров, Уваров, Ермолов (а, по показаниям Бутурлина, и Коновницын). Бенигсен, пользуясь разногласием в мнениях, продолжал оспаривать необходимость отступления. 8) Не имея возможности сказать что-либо в пользу избранной позиции, которой неудобства были очевидны, он распространился о невыгодных последствиях остав-

вопрос о Москве, говорили о том направлении, которое в своем отступлении должно было принять войско. Малаша, которая, не спуская глаз, смотрела на то, что делалось перед ней, иначе понимала значение этого совета. Ей казалось, что дело было только в личной борьбе между «дедушкой» и «длиннополым», как она называла Бенигсена. Она видела, что они злились, когда говорили друг с другом, и в душе своей она держала сторону дедушки. В середине разговора она заметила быстрый, лукавый взгляд, брошенный дедушкой на Бенигсена, и вслед затем к радости своей заметила, что дедушка, сказав что-то длиннополому, осадил его: Бенигсен вдруг покраснел и сердито прошелся по избе. Слова, так подействовавшие на Бенигсена, было спокойным и тихим голосом выраженное Кутузовым мнение о выгоде и невыгоде предложения Бенигсена: о переводе в ночи войск с правого на левый фланг для атаки правого крыла французов.

[9]) — Я, господа, — сказал Кутузов, — не могу одобрить плана графа. Передвижение войск в близком расстоянии от неприятеля всегда бывает опасно, и военная история подтверждает это соображение. Так например... (Кутузов как-будто задумался, приискивая пример и светлым наивным взглядом глядя на Бенигсена.) [10]) Да вот хоть бы Фридландское сражение, которое, как я думаю, граф хорошо помнит, было... не вполне удачно только оттого, что войска наши перестраивались в слишком близком расстоянии от неприятеля...

Последовало показавшееся всем очень продолжительным минутное молчание.

Прения опять возобновились, но часто наступали перерывы, и чувствовалось, что говорить больше не о чем. Во время одного из таких перерывов Кутузов тяжело вздохнул, как бы собираясь говорить. Все оглянулись на него.

ления Москвы, о сопряженных с тем потерях, о влиянии такого события на дух народа.

— Стыдно, — сказал он, — уступить столицу без выстрела: если мы на это решимся, то не будет ли это сознанием, что мы проиграли Бородинское сражение...

В прении, возникшем при разрешении сего вопроса, главными действующими лицами были Бенигсен и Барклай-де-Толли, как старшие в чинах после князя Кутузова.

Они совершенно различествовали в своих мнениях. Не решился я, как офицер, не довольно еще известный, страшась обвинения соотечественников, дать согласие на оставление Москвы [8]) и, не защищая мнения моего, вполне неосновательного, предложил атаковать неприятеля». (Ермолов, стр. 95.)

[9]) ...«С неудовольствием князь Кутузов сказал мне, что такое мнение даю я потому, что не на мне лежит ответственность. Слишком поспешно из‘явил он свое негодование, ибо не мог сомневаться, что многих мнения будут гораздо благоразумнейшие, на которые мог он опираться». (Ермолов, стр. 96.)

...«Кутузов признал основательность этого мнения и [10]) привел в пример бедствия, могущего произойти от несвоевременного наступления, сражение при Фридланде». (Богданович, стр. 251.)

...«Выслушав различные мнения, фельдмаршал заключил заседание следующими словами: «С потерею Москвы, не потеряна Россия. Первою обязанностью поставляю сохранить армию и сблизиться с теми войсками, которые идут к нам на подкрепление. Самым уступлением Москвы приготовим мы гибель неприятелю. Из Москвы я намерен идти по Рязанской дороге. [11]) Знаю, что ответственность обрушится на мне, но жертвую собою для блага отечества». Сказав, он встал со стула и присовокупил: [12]) «Приказываю отступать».

11) — Eh, bien, messieurs! je vois que c'est moi qui payerai les pots cassés, — сказал он. И, медленно приподнявшись, он подошел к столу. — Господа, я слышал ваши мнения. Некоторые будут несогласны со мной. 12) Но я (он остановился) властью, врученною мне моим государем и отечеством, я— приказываю отступление.

Вслед за этим генералы стали расходиться с той же торжественной и молчаливой осторожностью, с которой расходятся после похорон.

Некоторые из генералов негромким голосом, совсем в другом диапазоне, чем когда они говорили на совете, передали кое-что главнокомандующему.

Малаша, которую уже давно ждали ужинать, спустилась задом с полатей, цепляясь босыми ноженками за уступы печки и, замешавшись между ног генералов, шмыгнула в дверь.

Отпустив генералов, Кутузов долго сидел, облокотившись на стол, и думал все о том же страшном вопросе:

«Когда же, когда ж, наконец, решилось то, что оставлена Москва? Когда было сделано то, что решило вопрос, и кто виноват в этом?»

— Этого, этого я не ждал, — сказал он вошедшему к нему уже поздно ночью ад'ютанту Шнейдеру, —этого я не ждал. Этого я не думал.

— Вам надо отдохнуть, ваша светлость, — сказал Шнейдер.

13) — Да нет же, будут же они лошадиное мясо жрать, как турки, — не отвечая, прокричал Кутузов, ударяя пухлым кулаком по столу, — будут и они, только бы»... (Т. III., стр. 223-6.)

(Михайловский-Данилевский, стр. 328.)

...«По свидетельству Раевского, Кутузов, выслушав все мнения, предложенные членами совета, и заранее уже решась оставить Москву, окончил совещание следующими словами: 11) je sens que payerai les pots cassés, mais je sacrifie pour le bien de ma patrie 12) j'ordonne le retraite. (Я вижу, что мне придется поплатиться за все, но жертвую собой для блага отечества. Приказываю отступать)». (Богданович, стр. 249, 250, 252.)

...«По окончании совета фельдмаршал остался один. Он ходил взад и вперед по избе, когда вошел к нему офицер, находившийся при нем двадцать лет безотлучно*). Пользуясь правом свободного с ним разговора, он старался рассеять его и заводил речь о разных предметах. Слова его оставались без ответа.

— Где же мы остановимся? — спросил он, наконец.

Будто пробужденный вопросом, фельдмаршал подошел к столу, сильно ударил об него и сказал с жаром:

13) — Это мое дело, но уж доведу я проклятых французов, как в прошлом году турков, до того, что они будут есть лошадиное мясо». (Михайловский-Данилевский, стр. 330.)

Здесь описания картины далеко уходят по количеству и качеству подробностей от той, которую мог фиксировать ребенок.

Некоторая суб'ективность восприятия сохранена только в изображении Кутузова.

Остальные генералы даны традиционно (наружность их описана по «Военной Галлерее Зимнего Дворца» 1844 — 47 г.).

Малашка почти не дана сама, или вернее дана в мини муме, количество которого, однако, достаточно для того, чтобы читатель принял мотивированный ею раккурс.

Ввод Малашки, кроме того, позволяет Толстому делать пропуск в описании.

Установка же дана не на «героя», а на материал. Фигура Малашки вызывает у нас, так сказать, условно-литературный рефлекс.

Так зритель шекспировского театра, прочтя на дощечке, выставленной на сцене «море», если не видит, то принимает море.

Малашка не снабжена другими признаками кроме — «младенческой наивности». Это так же условно, как образ «рассказчика новеллы». Поэтому Малашка успевает прочесть на своей печи большую сводку исторических описаний и мемуаров. (Богданович, Михайловский-Данилевский, Ермолов.)

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ЯЗЫК РОМАНА «ВОЙНА и МИР»

I

ЯЗЫК ТОЛСТОГО

Монография об определенном произведении упирается очень часто в неразрешенность общих вопросов. Одним из самых важных предметов анализа должен был бы быть вопрос о языке романа. К сожалению, мы не имеем еще базиса, на котором можно было бы построить исследование о языке отдельного писателя, так как у нас нет об'ективного анализа общелитературного языка определенных участков нашей литературы. На канонизации разности лексики в связи с жанром основана поэтика времен Ломоносова. Факт, на котором базировалась эта поэтика, все еще не изжит. Жанр тесно связан с «языком». «Жанровое» единство в этом случае крепче «личного». Как известно, один писатель может писать сразу в нескольких жанрах, причем лексика в произведениях различных жанров—различна.

В своей работе профессор Гревс указывает на то, что Тургенев в своих письмах пользовался совершенно иными образами и оборотами речи, чем в своих романах. Мнение Гревса нам тут интересно, как проверка определенного факта на среднем читателе.

Если мы возьмем толстовские письма, то все те образы и ту фразеологию, которую мы встречаем у Тургенева в его письмах, мы встретим у Толстого. Таким образом, при разнице характера у Тургенева и Толстого, мы можем сказать, что совпадение относится к жанру или что определенные снижающие образы вытесненные из высокой литературы того времени, жили в жанре писем.

Я не привожу этих отрывков с определением поэзии и прозы, как разных способов испражняться, потому, что они должны были восприниматься на фоне высокой литературы, и поэтому в цитате будут выглядеть неправильно.

Уже несколько раз было убедительно показано, что различные линии гоголевского повествования, имеющие за собою различные традиции, лексически отличаются; например, «Лирическое отступление» относится к высокой ораторской речи 18 века. Язык «Переписки» Гоголя с друзьями» иной, чем язык Миргорода. Но это тот же самый язык, что язык «Арабесок», и Гоголь, как известно, хотел вставить некоторые статьи из «Арабесок» в «Переписку с друзьями»*), т.-е. для Гоголя «Переписка с друзьями» представляет собою непрерывную линию жанра, и мы имеем не изменение автора, а изменение жанра; при чем автор, как мы видим, иногда оказывается жертвой жанра. И Гоголь сам несколько смущен эффектом «Переписки», он сказал не то, что хотел, потому что бытие литературного жанра, в конечном счете, определяет писательское сознание, не доходя целиком до его, так называемой, психики.

Язык Л. Н. Толстого тоже имеет несколько различных линий. Это замечал сам Л. Н., при чем нужно отметить, что язык его поздних философских и богословских произведений не новый язык Льва Николаевича, а язык его старых философских рассуждений.

...«Л. Д. Семенов прочел выдержку из записной книжки Льва Николаевича 1865 г. о том, что задача России — освобождение земли от частной собственности. Когда Л. Д. Семенов кончил чтение, Льву Николаевичу как-будто все еще не верилось, что когда-то видел он такой сон, и он в удивлении сказал:

— Это то же самое, что я пишу теперь; тут даже — а писал я тогда скверным языком — тот же самый язык, каким я пишу теперь. Это показывает мне то,— продолжал Лев Николаевич радостным голосом,— что мы ошибаемся, представляя себе жизнь души во времени, а она одна,

*) См. «Письма Н. В. Гоголя», редакция В. И. Шенрока, в 4 томах, СПБ., изд. Маркса, т. III, стр. 378—379 (текст и примечания).

она вся уже есть». (Н. Н. Гусев, Толстой в расцвете художественного гения.)

К постановке вопроса о языке «Войны и Мира» мы можем только сделать несколько общих замечаний.

Первое — традиция, на которой ощущался толстовский язык, — это традиция тургеневская. Именем Тургенева упрекают обыкновенно Толстого. Женщина тургеневской языковой традиции Александра Толстая, когда ей пришлось переписывать толстовские вещи, прямо начала править их во имя Тургенева.

...«Совсем неожиданно вдруг стали попадаться такие неуклюжие фразы, что я невольно вспомнила «непроходимые болота», как выразился раз о Толстом Тургенев, и не могла решиться ни переступить болота, ни передать печати в этом виде; Кузьминский хотя и соглашался со мной, но считал невозможным простым смертным поправлять Толстого. Я, однакож, настояла на своем». (Толстовский музей, т. I, стр. 41 *.)

Отличие толстовской речи от традиционно-литературной ощущалось и рецензентами.

...«Нам кажется, что после Пушкина и Лермонтова, Гончарова и Тургенева, писать порядочным слогом не большая трудность для даровитого романиста. Между тем, что за язык в последнем романе г. Толстого. Речь его, там, где идет рассказ от лица самого автора, сплетается часто из нагроможденных одно на другое предложений в такие безобразные периоды, с таким частым повторением одних и тех же слов, что напоминает невольно средневековую латынь или писание наших старых приказных. Неужели после стройной и изящной речи Пушкина и Лермонтова можно опять воротиться к языку докарамзинского периода». («Сын Отечества», СПБ, 1870 г., № 3.)

При чем рецензент настаивает, как видите, на традиции приказной.

Мнение, что язык Толстого плох, поддерживалось и другими рецензентами, но без указания традиций.

...«Где же хваленый, блестящий слог гр. Толстого? — спросим мы каждого грамотного русского человека».. («Петербургская Газета» № 4, 1869 г.)

*) Сам Толстой разрешил Бартеневу держать корректуру «в смысле исправности и даже правильности языка, который я ему разрешил поправлять» (1867 г.) (Письма Л. Толстого к жене, стр. 7.)

Приведем отрывок из Толстого с курсивом рецензента (Толстой, стр. 46,77.)

...«Изредка он взглядывал на знакомую полку, окружающую его, и опять на свои ноги. И то и другое одинаково свое и знакомое ему».

...«Будем совсем, совсем друзьями».

Это относительно блестящего слога — совсем, совсем хорошо!» («Петербургская Газета» № 2, 1870 г., рецензия на VI том «Войны и Мира», подписанная буквой «П».)

При чем рецензент, как видите, здесь протестует против частых повторений одного и того же слова.

Щебальский в своей статье, напечатанной в «Русском Вестнике» т.-е. в том же журнале, где был напечатан роман, протестует против толстовского слога по той же причине.

...«Совершенно противоположный упрек принуждены мы сделать относительно внешней стороны романа: она положительно страдает недостатком отделки. Неправильности в слоге автора нередки, повторение сряду одного слова часто встречается». (П. Щебальский, «Русский Вестник», 1868 г., № 1.)

Здесь мы видим явление особого характера. Толстовский язык испытывает влияние общетолстовского стилевого построения, т.-е. здесь элементы композиционные прорастают в элементы бытовые. Бесконечные повторения существуют действительно, но они соответствуют стилевым заданиям автора в данном отрезке романа.

Для самого Тургенева фраза Толстого представляется чем-то искусственным.

Тургенев из Баден-Бадена писал от 6 августа 1841 года:

...«Я очень рад, что Толстому лучше и что он греческий язык так одолел, это делает ему великую честь и приносит ему великую пользу. Но зачем он толкует о необходимости создать какой-то особый русский язык? Создать язык! — создать море»... (А. Фет. Мои воспоминания, ч. II, стр. 237.)

Дружинин в своем раннем письме к Толстому дает блестящий, по мнению Толстого, анализ толстовского стиля:

...«Каждый ваш недостаток имеет свою часть силы и красоты,— почти каждое ваше достоинство имеет в себе зернышки недостатка. Слог ваш совершенно подходит к этому заключению, вы сильно безграмотны, иногда безграмотностью нововводителя и сильного поэта, переделывающего язык на свой лад и навсегда, иногда безграмотностью офицера, пишущего к товарищу и сидящего в каком-нибудь блиндаже... Главное только избегайте длинных периодов. Дробите их на два, на три, не жалейте точек... С частицами речи поступайте без церемонии, слова: что, который и это марайте десятками». (Толстой, Памятники творчества и жизни, т. II, ред. Срезневского.)

При чем тут любопытно следующее: Дружинин устанавливает традицию Толстого, традиция эта офицерская. Нужно отметить, что речь Толстого, как речь унтерскую, т.-е. с тем же указанием на официальную военную стихию, определяли довольно часто.

«Читая военные сцены романа, постоянно кажется, что ограниченный, но речистый унтер-офицер рассказывает о своих впечатлениях в глухой и наивной деревне». (Навалихин, стр. 211, ч. III, В. Зелинский, Русская крит. лит. о произведениях Л. Н. Толстого.)

При этом Дружинин, особенно в начале отрывка, указывает, что основной недостаток Толстого связан с его достоинствами, т.-е. та внелитературная или младшелитературная линия, из которой Толстой заимствовал свои языковые особенности, и делала его речь неправильной с точки зрения тургеневской традиции и она же, путем развития в нее положенных особенностей, создавала новые художественные ценности. Несомненно, что язык Толстого, особенно во время написания «Войны и Мира», был сильно окрашен языком мемуаров и военных книг. Присутствие у Л. Н. в тексте неизмененных кусков Михайловского-Данилевского, при этом присутствие не замечаемое читателем, показывает, что языковые характеристики кусков совпадают.

Чернышевский сравнивает Толстого со Скобелевым, знаменитым инвалидом-писателем, находя, что военные рассказы Толстого очень сильно отличаются от рассказов Скобелева, но все-таки ставит их в один ряд.

Тут интересно отметить, что промежуток между Толстым и Скобелевым можно было бы заполнить солдатскими и матросскими досугами Даля и тогда разрыв был бы не так велик.

Общность языка Толстого с официально-военным языком его времени можно видеть по тем кускам, которые он включил в свои книги из источников. (Введены в приводимый отрывок, правда, тучи с эпитетом «черно-лиловатые».)

Эта лиловая вставка Толстого является минимальным знаком художественной системы. Толстой, как это показал Апостолов, пользовался лиловым цветом, как цветом условно-художественным.

„ВОЙНА И МИР“	МИХАЙЛОВСКИЙ-ДАНИЛЕВСКИЙ.
— «Была осенняя ночь с черно-лиловатыми тучами, но без дождя. Земля была влажна, но грязи не было, и войска шли без шума, только слабо слышно было изредка бренчание артиллерии. Запретили разговаривать громко, курить трубки, высекать огонь; лошадей удерживали от ржания».	«Смеркалось, облака покрыли небо. Погода была сухая, но земля влажная, так что войска шли без шума, даже не слышно было артиллерии. Запретили разговаривать громко, курить трубки, высекать огонь, лошадей удерживали от ржанья; все приняло вид таинственного предприятия».

Темно-лиловый цвет попадался Толстому при необходимости что-нибудь окрасить. Таким образом, разность между двумя отрывками не в языковых изменениях, а в введении эстетического признака, ненужного Михайловскому-Данилевскому, и потом в некотором изменении установки. Михайловский-Данилевский описывает обстановку с военной точки зрения, т.-е., например, мягкость почвы мотивирует у него бесшумность продвижения войска, а у Толстого сырая земля дана как эстетический признак. Некоторые куски мемуаров, не вошедшие в произведение Толстого, тем не менее настолько близки к его языку и манере изображения, что я думаю, они могли бы быть введены в роман без ощущения вставки. Приведу пример из Радожицкого:

...«Ядра неприятельские, ударяя вблизи моих пушек, засыпали нас землею, а гранаты разрывались в воздухе с

адским визгом. Заметив, что французы стреляют по моим пушкам довольно цельно и убили еще одного канонера, я подвинулся шагов на десять вперед; тогда большая часть смертоносных ядер стали перелетать через меня; но зато они вырывали ряды из стоявшей позади пехоты. Вместо одного подбитого орудия, французы против моих двух выставили еще два и стали крепко жарить по мне из четырех. Между оглушительным стуком пушечных выстрелов и пороховым дымом внимание мое развлеклось. Неприятельские ядра жестоко били стоявшую позади меня пехоту; тогда я вздумал обратить свои выстрелы на неприятельские колонны, которые в это время стали двигаться вперед по большой дороге. Канонеры, повернув пушки вправо, пустили рикошетом так удачно, что содействием своих выстрелов с среднею батареею произвели замешательство в неприятельской пехоте, которая не пошла далее». (Стр. 79 — 80.)

Я не утверждаю здесь полного совпадения стиля Ильи Радожицкого со стилем Толстого. Есть отличие в лексике, например, Толстой не употребляет архаического (или профессионального?) слова «цельность», в смысле попадания в цель. Но совпадение есть, правда, затемненное тем, что толстовская фраза сложней и обычно содержит в себе повторяющиеся эпитеты. Язык Льва Толстого в «Войне и Мире» результат взаимодействия языка мемуарного и языка официальной истории.

Выводы из этого чрезвычайно беглого обзора я могу наметить только следующие:

Обще-языковой фон, на котором воспринимался язык Л. Н. Толстого и от которого отталкивался,— это язык тургеневский. Языковая традиция, от которой Лев Николаевич Толстой исходил, которая окрашивает его литературные произведения,— это традиция военных мемуаров 30-40 годов. Язык его литературных произведений играет подчиненную роль в тех случаях, когда Лев Николаевич давал установку на самый язык; он вводил мотивировки восприятия: так, например, с мотивировками дается у Толстого заумь, т.-е. внесемантическое восприятие языка.

Каламбуры у Толстого тоже сосредоточены на определенных героях и не даются как авторские.



К стр. 205. Глава IX. Из „Искры“ 1869 г.

Обе карикатуры дают реализацию толстовских образов. Карикатура подчеркивает персонификацию дуба. Подпись к первой карикатуре была:

„С князем Болконским дуб говорил в том костюме, в каком мать-природа его породила: — „Весна, и любовь, и счастие! И как не надоест вам все один и тот же глупый и бессмысленный обман, все одно и то же, и все обман! Нет ни весны, ни солнца, ни счастия. Вон, смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинакие, вот и я растопырил свои обломанные пальцы, где ни выросли они—из спины, из боков; как выросли, так и стою и не верю вашим надеждам и обманам“. (II т., с. 124.)

Под второй карикатурой была подпись:

„При следующем свидании дуб преображенный млел и колыхался в лучах вечернего солнца и при его виде на князя Андрея нашло беспричинное, весеннее чувство радости и обновления“.



К стр. 205. Глава IX. Из „Искры“ 1869 г.

Карикатура эта была снабжена следующей краткой подписью:

„Дело дошло до того, что даже „глаза целовались“.

В подписи любопытна ее точная прикрепленность к определенному месту произведения Толстого. Она показывает, что, так называемая, общепонятность и простота языка классиков есть только результат притупленности восприятия их стиля у последующих поколений читателей.

Из словесных приемов Толстой в «Войне и Мире» широко пользуется реализацией метафоры, что отчетливо отмечалось современниками. Гудящие, как веретена, разговорщики в салоне для нас не выделяются из современно-литературной традиции; они были отчетливо отмечены Кузьминской. Т. А. Кузьминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне, ч. III, стр. 24.)

Так же обратило на себя внимание современников следующее место у Толстого:

«Анна Павловна, очевидно, угощала им своих гостей. Как хороший метр-д'отель подает, как нечто сверх'естественно-прекрасное, тот кусок говядины, который есть не захочется, если увидать его в грязной кухне, так в нынешний вечер Анна Павловна сервировала своим гостям сначала виконта, потом аббата, как что-то сверх'естественно-утонченное». («Война и Мир», т. I, стр. 12.)

Виконт, сервированный как кусок мяса, вызвал карикатуру «Искры». Точно также карикатурой откликнулись и на образ Толстого — оживающий дуб, при чем карикатура коснулась не только самого дуба, но и почти незаметного для нас оттенка в слове «елки сидели». Что касается локальных признаков языка Толстого, т.-е. стиля эпохи, то язык сильно модернизирован, как это отмечают поклонники Толстого.

Словечки, которые должны были бы локализировать роман во времени, как слова «штиль» и т. д., выделяются из романа. Язык действующих лиц романа — это не язык людей 12-го года, а язык людей, вспоминающих о 12-м годе.

Отношение самого автора к своему языку двойственное. С одной стороны, мы видим бесчисленные корректурные помарки, сводящиеся очень часто к перестановке слов, с другой стороны — мы видим, что Толстой разрешает корректировать свой роман Бартеневу, т.-е. Лев Николаевич колеблется между желанием оттолкнуться от языкового фона и страхом, что форма окажется литературно-неприемлемой. Это—колебание между младшей линией и традицией.

II

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК У ТОЛСТОГО В «ВОЙНЕ и МИРЕ»

У Льва Николаевича еще в «Детстве и отрочестве» есть подробная характеристика, кто такой «comme il faut». Приведу эту чрезвычайно убедительную характеристику:

...«Род человеческий можно разделить на множество отделов — на богатых и бедных, на добрых и злых, на военных и статских, на умных и глупых и т. д., и т. д., но у каждого человека есть непременно свое любимое главное подразделение, под которое он бессознательно подводит каждое новое лицо. Мое любимое и главное подразделение людей в то время, о котором я пишу, было на людей comme il faut и на comme il ne faut pas. Второй род подразделялся еще на людей собственно не comme il faut и простой народ. Людей comme il faut я уважал и считал достойными иметь со мной равные отношения; вторых — притворялся, что презираю, но в сущности ненавидел их, питая к ним какое-то оскорбленное чувство личности; третьи для меня не существовали — я их презирал совершенно. Мое comme il faut состояло, первое и главное, в отличном французском языке и особенно в выговоре. Человек, дурно выговаривавший по-французски, тотчас же возбуждал во мне чувство ненависти. «Для чего же ты хочешь говорить, как мы, когда не умеешь?» с ядовитою насмешкой спрашивал я его мысленно».

Как видите, умение правильно говорить по-французски было главной характерной чертой, создающей тип людей этого рода. Не нужно думать, что Лев Николаевич в тот период времени был особенно недемократично настроен.

Наоборот. Его «Детство и отрочество», напечатанное в журнале «Современник» и вообще осуществленное в послекрымскую эпоху, представляло ослабленную социальную характеристику автора. Это доказывается позднейшим признанием Льва Николаевича:

...«В особенности же не понравились мне теперь последние две части: отрочество и юность, в которых, кроме нескладного смешения правды с выдумкой, есть и неискренность, желание выставить как хорошее и важное то, что я не считал тогда хорошим и важным,— мое демократическое направление». (П. И. Бирюков, Л. Н. Толстой.— Биография, часть I.)

Сейчас мы в этой характеристике выделим знание французского языка. К этому времени и ко времени, непосредственно предшествовавшему, французский язык в России был языком определенной социальной группы. В очень забавной форме это дано у Гоголя в «Женитьбе», где герой удивляется тому, что за границей мужики говорят по-французски. Комизм положения усиливается здесь тем, что французская речь дана вместо итальянской.

Еще более характерна выписка из «Походных записок» Ильи Радожчцкого. Здесь мы уже не видим юмористического восприятия факта, а чувствуем точное ощущение современника.

... «Странно видеть какого-нибудь оборванного в синем кителе мужика, или запачканную бабу, или мальчишку-нищего, говорящих чисто по-французски, языком, которым у нас щеголяют все модники большого света; между тем здесь всякая дрянь им болтает: вот где ничтожность нашей моды». (Илья Радожицкий, Походные записки артиллериста, стр. 37.)

Итак для времени 30-х годов французский язык был языком не Франции, а языком определенной социальной группы.

Л. Н. Толстой ввел этот язык в свой роман из соображений классовых. Это — ориентация на читателя определенного круга, заявление о своей принадлежности к группе comme il faut и вызов остальным группам. Так и восприняли дело толстовские современники, которые, просто говоря, обиделись на французский язык в таком чрезвычайном количестве. Градации недовольства были разные, начиная от людей типа Щебальского, дающих отзыв о Толстом в том же журнале, где был напечатан «1805 год», и об'ясняющих факт применения французского языка, как факт социальной характеристики, но уже отжившего характера.

«Оглянитесь и вы не найдете вокруг себя ни старо-гусарского типа, который выведен в лице Денисова, ни помещиков, которые разорялись бы так же добродушно, как граф Ростов (ныне тоже разоряются, но при этом сердятся), ни доезжачих, ни масонов, ни всеобщего (мы говорим — всеобщего) лепета на языке, представляющем

смесь «французского с нижегородским». А с другой стороны, сколько осязательной связи с настоящею, теперешнею современностью». (П. Щебальский, «Русский Вестник», 1869 г.)

Более резкие заметки дали «Голос» и «Петербургская Газета»:

«Заметим автору, что в книге его странным кажется не это употребление французских фраз вместе с русскими, а чрезмерное, сплошное наполнение французской речью целых десятков страниц сряду. Для того, чтобы показать, что Наполеон или другое какое-либо лицо говорит по-французски, достаточно было бы одну первую его фразу написать по-французски, а остальные по-русски, исключая каких-либо двух-трех, особенно характеристических оборотов, и мы без труда догадались бы, что вся тирада произнесена на французском языке». («Голос» № 105. СПБ. 1868 г.)

Еще отзыв:

...«Здесь мы бы желали знать, почему вздумалось гр. Толстому испестрить свой роман французскими фразами? Нельзя же требовать от каждого русского читателя, чтобы он знал непременно французский язык; но, вероятно, автор это сделал для колорита, рисуя перед нами тогдашнее высшее общество, в котором преобладал французский язык». («Петербургская Газета» № 4, 1869 г.)

И наиболее резкие отзывы мы находим в «Искре».

...«Новый роман «Война и Мир» есть не что иное, как рассказ о двух сражениях — Аустерлицком и Бородинском. В антрактах между этими сражениями какие-то миленькие офицерики влюбляются в не менее миленьких барышень, а старики очень дурно говорят по-французски, а гр. Л. Толстой в выносках переводит их слова на русский язык. Полюбивши барышень и поболтавши по-французски, офицерики начинают сражаться с французами, но как прежде не умели осилить французского языка, так на сражении не умеют осилить французского воинства». («Искра», 1868 г., апрель, № 13.)

Пятковский, по резкости своего отзыва, приближается к характеристике «Искры»:

...«Герои гр. Толстого большею частью упражняются в стрельбе, то-есть находятся на войне; в мирное время они



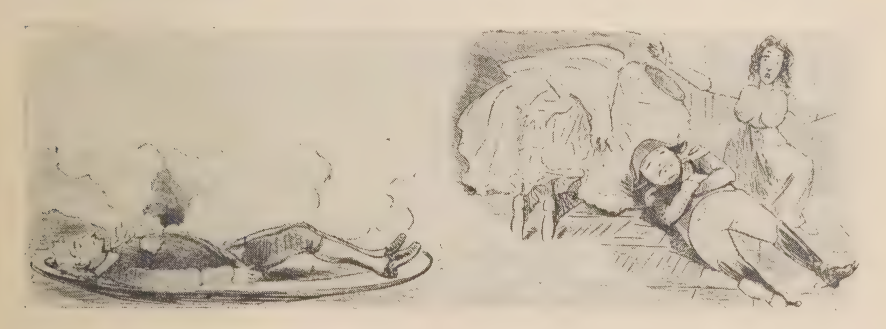
К стр. 208. Глава IX. Из „Искры“ 1868 г.

Здесь нам интереснее вторая карикатура, которая подчеркивает инверсивность толстовских подробностей. Подпись к первой карикатуре была следующая:

„Верьте мне, дети—добродетель в сем мире всегда получает награду. Примером вам может Безухий служить: денег теперь у него нет и счету. Да сверх того шарф преотличный Катишь ему вяжет“.

Подпись под второй карикатурой:

„Безухого чувства, когда он Наташу Ростову увидел, роли свои позабыли; так что глазами пришлось ему слушать. Что ж, посудите, с Пьером случилось—как голую спину Елена, дочь лысого князя Василья, к носу ему поднесла! В восторге он *слышит* тепло ее тела, запах духов *осязает,* скрип корсета ее *обоняет*“.



К стр. 208. Глава IX. Из „Искры“ 1868 г.

Под первой карикатурой была следующая подпись:

„Гости уж все собрались—и на блюде горячем Виконт де Мортмарт был предложен
Не бойтесь, детки, кушать его ведь не будут.
Это сравненье—в эстетической сказке своей эстетике дань отдаю я“.

Под второй карикатурой была подпись:

„Виконт де Мортмарт был зело благодарен за то, что так вкусно его приготовить в России решились (в Париже виконтов не так-то изящно готовили люди). Нам сообщил он за это, слогом изящным, как герцог Энгиенский принужден под белье был забраться, и как похититель престола—злодей корсиканец—в обморок пал у актрисы“.

Карикатура показывает, насколько ощущалась современниками толстовская метафора. Любопытно сравнить карикатуру и подпись к ней с ощущением сравнения салона Анны Павловны с прядильной мастерской.

с'езжаются то у фрейлины Шерер, то у гостеприимных графов Ростовых (семейство очень любезное автору), пьют, едят, часто танцуют и болтают на ужасном французско-нижегородском наречии самые незначительные и пустые вещи».

Лев Николаевич два раза писал ответ на эти замечания. Одно появилось в «Русском Архиве» и содержит в себе некоторое признание чрезмерности увлечения.

... «3) Употребление французского языка в русском сочинении. Для чего в моем сочинении говорят не только русские, но и французы, частью по-русски, частью по-французски. Упрек в том, что лица говорят и пишут по-французски в русской книге, подобен тому упреку, который бы сделал человек, глядя на картину и заметя в ней черные пятна (тени), которых нет в действительности. Живописец не повинен в том, что некоторым тень, сделанная им на лице картины, представляется черным пятном, которого не бывает в действительности; но живописец повинен только в том, ежели тени эти положены неверно и грубо. Занимаясь эпохой начала нынешнего века, изображая лица, русские, известного общества, и Наполеона, и французов, имевших такое прямое участие в жизни того времени, я невольно увлекся формой выражения того французского склада мысли больше, чем это было нужно. И потому, не отрицая того, что положенные мною тени, вероятно, неверны и грубы, я желал бы только, чтобы те, которым покажется очень смешно, как Наполеон говорит то по-русски, то по-французски, знали бы, что это им кажется только оттого, что они, как человек, смотрящий на портрет, видят не лицо с светом и тенями, а черное пятно под носом».

Другое об'яснение менее либерально и, вероятно, поэтому осталось при авторе, т.-е. не было опубликовано нигде. При чем в этом опубликованном отрывке вопрос поставлен с чисто-толстовской резкостью и соединен уже не только с стилистическим вопросом, а слит с вопросом о классовой направленности вещи.

«Еще несколько слов оправдания на замечание, которое, наверное, сделают многие. В сочинении моем действуют только князья, говорящие и пишущие по-французски, как будто вся русская жизнь того времени сосредоточивалась в этих людях. Я согласен, что это неверно и не-

либерально, и могу сказать один, но неопровержимый ответ. Жизнь чиновников, купцов, семинаристов и мужиков мне не интересна и на половину не понятна; жизнь аристократии того времени, благодаря памятникам того времени и другим причинам, мне понятна, интересна и мила».

Мне кажется, что, как и вообще в «Войне и Мире», судьба применения французского языка, метод этого применения изменялся в течение романа. Бергсон очень точно как-то сказал, что для того, чтобы получить сахарную воду, недостаточно воды и сахара, а нужно еще время на таяние. И роман, и создается, и прочитывается, т.-е. вообще осуществляется, в определенный временный промежуток; формы его существуют в определенной временной последовательности и таким же образом создаются.

Обычно ощущение писателя после окончания вещи, что вот теперь бы ее и нужно начать писать. Это происходит оттого, что к этому времени материал уже подчинен стилю, найдены приемы и хочется вернуться назад, чтобы использовать свои открытия.

Первоначально французский язык являлся в романе как момент авторской классовой характеристики героев; при чем это особый французский язык — это не французский язык 12-го года.

Это не французский язык Франции, по крайней мере, Толстой его таким не ощущал и начал свое неопубликованное письмо к Анатолю Франсу с извинения в качестве своего французского языка.

Но когда определенное задание начало осуществляться, то результатом его явился двуязычный роман, и Толстой начал пользоваться стилистическими эффектами, от этого получившимися.

Итак, начнем с первого периода применения материала. Князь Василий — придворный высокой марки, и на первой же странице своего романа Лев Николаевич характеризует своего героя и его язык следующим образом:

... «Он говорил на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды».

В первых же главах и Болконский охарактеризован как comme il faut. Толстой сам признавался, что Андрей Болконский в первых частях un homme comme il faut.

... «Я помню, что порадовался, напротив, вашему суждению об одном из моих героев — князе Андрее — и вывел для себя поучительное из вашего суждения. Он однообразен, скучен и только un homme comme il faut во всей 1-й части. Это правда, но виноват в этом не он, а я». (Письмо Л. Н. Толстого Фету. Фет. Мои воспоминания. Москва, 1890 г., стр. 107).

И эта характеристика поддерживалась такими способами:

... «Le général Koutouzoff, — сказал Болконский, ударяя на последнем слоге zoff, как француз,— a bien voulu de moi pour aide-de-camp»...

Вообще герои у Льва Николаевича Толстого в «Войне и Мире» делились на два разряда: на хорошо говорящих по-французски и на плохо говорящих по-французски; при чем у Толстого была какая-то средняя линия произношения comme il faut, которая, очевидно, не совпадала с иллюзорно осуществленным французским произношением. По крайней мере, он иронизирует над произношением Анны Павловны Шерер.

— «Eh, mon cher vicomte,—вмешалась Анна Павловна,— l'Urope (она почему-то выговаривала l'Urope как особенную тонкость французского языка, которую она могла себе позволить, говоря с французом), l'Urope ne sera jamais notre alliée sincère».

Французы, говорящие по-французски в романе, воспринимаются Толстым не как идеал французского языка; в частности он упрекает м-ль Бурьен в картавости, а Бонапарте в слишком отчетливой артикуляции.

— «J'ai écris á ma pauvre mèra,— заговорила быстро, приятным, сочным голосом улыбающаяся m-lle Bourienne, картавя на р и внося с собой в сосредоточенную, грустную и пасмурную атмосферу княжны Марьи совсем другой легкомысленно-веселый и самодовольный мир».

— «Sire, je vous demande la permission de donnér la Légion d'honneur au plus brave de vos soldats,—сказал резкий, точный голос, договаривающий каждую букву».

Интересно отметить здесь, что артикуляция француза вообще отчетливее и энергичнее артикуляции русского и, может быть, это уклонение от французско-русского языка и внесено здесь Толстым. Во всяком случае, Толстой использовал в характеристике наполеоновского говора общефранцузскую черту и не использовал возможность итальянского акцента.

Русский язык используется для остранения, и употребление его специально оговаривается.

Марья Дмитриевна всегда говорила по-русски.

— ...«Имениннице дорогой с детками,—сказала она своим громким, густым, подавляющим все другие звуки голосом».

Плохо по-французски говорит Милорадович; при чем факт этот Лев Николаевич отмечает даже в бою, вдвигая эту характеристику в описание Михайловского-Данилевского.

Л. ТОЛСТОЙ.

«Авангард поручили подполковнику Монахтину, офицеру высоких достоинств, павшему под Бородиным. С ним пошел сам Милорадович. Никогда не сомневаясь в удаче, весело приветствовал он войско, и когда апшеронцы проходили мимо государя, Милорадович напомнил им Италию и сказал: «Вам не впервые деревню брать».

МИХАЙЛОВСКИЙ-ДАНИЛЕВСКИЙ.

«В то время, как проходил этот апшеронский батальон, румяный Милорадович, без шинели, в мундире и орденах и со шляпой с огромным султаном, надетой набекрень, с поля марш-марш выскакал вперед и, молодецки салютуя, осадил лошадь перед государем.

— С богом, генерал — сказал ему государь.

— Ma foi, sire, nous ferons ce que qui sera dans notre possibilité, sire,— отвечал он весело, тем не менее вызывая насмешливую улыбку у господ свиты государя своим дурным французским выговором.

— ... Ребята! вам не впервые деревню брать! — крикнул он.

— Рады стараться! — прокричали солдаты.

Здесь недовольство человеком, который хочет говорить «так, как мы» (см. цитату из «Детства».).

Также характерен и дежурный штаб-офицер.

...«Très drôle, mon monsieur prince,—сказал дежурный штаб-офицер. (Он помнил, что по-французски как-то особенно говорится титул «князь», и никак не мог наладить)».

Плохо говорит по-французски Сперанский; при чем вопрос сводится опять к выговору.

...«Si vous envisagez la question sous ce point vue,—начал он с очевидным затруднением выговаривая по-французски и говоря еще медленнее, чем по-русски, но совершенно спокойно».

Не носит снижающей характеристики замечание Толстого о том, что старый граф Илья Ростов не обладал хорошим произношением. Он говорил:

...«Иногда на русском, иногда на очень дурном, но самоуверенном французском языке, и снова с видом усталого, но твердого в исполнении обязанности человека, шел провожать, оправляя редкие седые волосы на лысине, и опять звал обедать».

Интереснее языковая характеристика Долохова. Долохов, как отмечал еще Константин Леонтьев, в романе человек особенный, Толстой его не остраняет. Может быть, это об'ясняется богатым литературным прошлым типа Долохова и точной стандартизацией его в предшествующих вещах. Долохов по-французски говорит плохо.

«Я держу пари (он говорил по-французски, чтоб его понял англичанин, и говорил не слишком хорошо на этом языке). Держу пари на пятьдесят империалов, хотите на сто?— прибавил он, обращаясь к англичанину».

Но Толстой к этому относится без укоризны. Вообще, социальная характеристика Долохова основана на том, что он хотя и не был comme il faut, хотя и не был богачем, но был принят в самом лучшем обществе; он так сказать comme il faut honoris causa.

Эта речевая характеристика обозначает, что хотя Долохов и говорил не слишком хорошо, но все-таки он был в хорошем обществе.

В результате вторжения в роман второго языка получилась двуязычная схема романа, и Лев Николаевич начал этим пользоваться.

Выделенное слово вообще интересовало Льва Николаевича; так он неоднократно отмечал, что люди говорят, слушая сами себя, и авторски заставляет прислушиваться к слову и читателя. Так выделяет он слово, передавая его немцу.

...«Полковник,—сказал он с своею мрачною серьезностью, обращаясь к врагу Ростова и оглядывая товарищей,— велено остановиться, мост зажечь.

— Кто велено?— угрюмо спросил полковник.

— Уж я и не знаю, полковник, к т о в е л е н о,—серьезно отвечал корнет,— но только мне князь приказал: «поезжай и скажи полковнику, чтобы гусары вернулись скорей и зажгли бы мост»...

— Вы сказали, господин штаб-офицер...— продолжал полковник обиженным тоном.

— Полковник,— перебил свитский офицер,— надо торопиться, а то неприятель пододвинет орудия на картечный выстрел.

Полковник молча посмотрел на свитского офицера, на толстого штаб-офицера, на Жеркова и нахмурился.

— Я буду мост зажигайт,— сказал он торжественным тоном...

— ...Доложите князю, что я мост зажигал,— сказал полковник торжественно и весело.

— А коли про потерю спросят?

— Пустячек!— пробасил полковник:— два гусара ранено, и один наповал,— сказал он с видимою радостью, не в силах удержаться от счастливой улыбки, звучно отрубая красивое слово н а п о в а л».

Выделение слова подготовлено неправильным словоупотреблением немца. Читатель уже насторожился. Немецкий язык вообще вошел в роман с комической эмоциональной окраской, что является обычной функцией вкрапленной иностранной речи; для увеличения остранения иностранной речи она дается в русской обработке. В этом отношении характерен следующий кусок.

...«Der Krieg muss im Raum verlegt werden. Der Ansicht kann ich nicht genug Preis geben,— говорил один.

— O, ja,— сказал другой голос,— der Zweck ist nur den Feind zu schwächen, so kann man gewiss nicht den Verlust der Privat-Personen in Achtung nehmen.

— O, ja,— подтвердил первый голос.

— Да, im Raum verlegen,—повторил, злобно фыркая носом князь Андрей, когда они проехали. — Im Raum-то у меня остался отец и сын, и сестра в Лысых Горах».

Действенность этой цитаты об'ясняется русской приставкой «то» при слове «Raum». Перебивка русской речи французской, французско-нижегородской речью, которой упрекали Льва Николаевича, сперва была дана им в бытовой характеристике, при чем обычно русская речь среди французских слов употребляется как пародийная и для снижения. Это отчетливо видно у профессиональных каламбуристов: Билибина и Шиншина.

— ... «Ну, как же, батюшка, mon très honorable Альфонс Карлович,— говорил Шиншин, посмеиваясь и соединяя (в чем и состояла особенность его речи) самые народные русские выражения с изысканными французскими фразами.— Vous comptez vous faire des rentes sur l'état, с роты доходец получать хотите?»

— ...«Connaissez vous le proverbe: «Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, точил бы свои веретена»,— сказал Шиншин, морщась и улыбаясь.— Cela nous convient à merveille. Уж на что Суворова—и того расколотили, à plate couture, а где у нас Суворовы теперь? Je vous demande un peu—беспрестанно перескакивая с русского на французский язык, говорил он».

— ... «Болконский самым скромным образом, ни разу не упоминая о себе, рассказал дело и прием военного министра.

Jls m'ont reçu avec ma nouvelle comme un chien dans un jeu de quilles,— заключил он.

Билибин усмехнулся и распустил складки кожи.

— Cependant, mon cher,— сказал он, рассматривая издалека свой ноготь и подбирая кожу над левым глазом,— malgré la haute estime que je professe pour le православное российское воинство j'avoue que votre victoire n'est pas des plus victorieuses.

Он продолжал все так же на французском языке, произнося по-русски только те слова, которые он презрительно хотел подчеркнуть»...

Пародийно дано и у князя Ипполита.

...«И князь Ипполит начал говорить по-русски таким выговором, каким говорят французы, пробывшие с год в России. Все приостановились,— так оживленно, настоятельно требовал князь Ипполит внимания к своей истории.

В Moscou есть одна барыня, une dame. И она очень скупа. Ей нужно было иметь два valets de pied за карета. И очень большой ростом. Это было ее вкусу. И она имела une femme de chambre еще большой росту. Она сказала»... и т. д.

Так же употребляет князь Василий выражение «рап». Пользовался для остранения транскрипцией Толстой и в разговоре князя Василия с маленькой княгиней.

...«Вот, по крайней мере, мы вами теперь вполне воспользуемся, милый князь,— говорила маленькая княгиня, разумеется, по-французски князю Василию,— это не так, как на наших вечерах у Annette, где вы всегда убежите; помните cette chère Annette?

— А, да вы мне не подите говорить про политику, как Annette!»

Снижающей характеристикой отмечена и фраза Андрея Болконского.

...«Па-азвольте, сударь,— сухо-неприятно обратился князь Андрей по-русски к князю Ипполиту, мешавшему ему пройти».

Но во второй части романа, вернее во второй половине его, Толстой начинает пользоваться французской конструкцией не для характеристики героев, как таковой; т.-е. он начинает замечать несходность двух методов языкового мышления, которое несомненно существовало даже для него, сильно прокрасившего свою речь галлицизмами. В этом отношении любопытен разговор Пьера с Анатолем, к которому я предлагаю читателю отнестись с самым большим вниманием:

...«Войдя в свой кабинет, Пьер затворил дверь и обратился к Анатолю, не глядя на него:

— Вы обещали графине Ростовой жениться на ней и хотели увезти ее?

— Мой милый,— отвечал Анатоль по-французски, как и шел весь разговор,— я не считаю себя обязанным отвечать на допросы, делаемые в таком тоне.

Лицо Пьера, и прежде бледное, исказилось бешенством. Он схватил своей большой рукой Анатоля за воротник мундира и стал трясти из стороны в сторону до тех пор, пока лицо Анатоля не приняло достаточное выражение испуга.

— Когда я говорю, что мне надо говорить с вами...— повторил Пьер.

— Ну, что, это глупо. А,— сказал Анатоль, ощупывая оторванную с сукном пуговицу воротника.

— Вы негодяй и мерзавец, и не знаю, что меня воздерживает от удовольствия размозжить вам голову вот этим,—

говорил Пьер, выражаясь так искусственно потому, что он говорил по-французски.

Он взял в руку тяжелое пресс-папье и угрожающе поднял и тотчас же торопливо положил его на место».

Этот неловкий оборот: «что воздерживает меня от удовольствия» не был осуществлен фактически, потому что он был произнесен по-французски, где, по мнению Толстого, этот оборот звучал иначе. Но Толстому показалось важным отметить странность этого оборота, если он вдруг был бы осуществлен на другом языке. Это какая-то регистрация внутреннего лингвистического опыта, который был потом использован, и до этого Толстой иногда неудовольствовался введением слов другого языка, а осуществлял их для большей характеристики, переводя дословно.

Итак, для Льва Николаевича русско-французский язык стал из явления материала явлением стиля.

Чистый интерес к языковому материалу, как таковому, у Л. Н. Толстого вообще был очень силен, как это мы видим хотя бы из неоднократного применения зауми.

— ...«Этак никогда не выздоровеешь,— говорила она, под досадой забывая свое горе,— ежели ты не будешь слушаться доктора и не во-время принимать лекарство. Ведь нельзя шутить этим, когда у тебя может сделаться п н е в м о н и я,— говорила графиня, и в произношении этого непонятного не для нее одной слова она находила уже большое утешение».

...«Дьячек несколько раз повторял слово с о б о р н е, которого не понимал Петя».

...«Остров Мадагаскар,— проговорила она.— Ма-да-гаскар,— повторила она отчетливо каждый слог и, не отвечая на вопросы m-me Schoss о том, что она говорит, вышла из комнаты»...

Конечно, во второй части романа Лев Николаевич пользуется двуязычностью, но больше осуществляя французский язык на фоне русского, т.-е. не сопоставляя их рядом, а смешивая и делая это смешение очевидным для читателя. Это делается или путем передразнивания или же путем подчеркивания галлицизмов, как это делается, например,

в письме Жюли. Но самый характерный прием—это языковая характеристика Наполеона. Само собой разумеется и никем не будет отрицаться, что Наполеон говорил по-французски. Конечно, известная романная условность может позволить нам осуществить его речь целиком по-русски. Толстой осуществил Наполеона в смешанном языке, что вызвало, как мы уже показывали, возражение читателя.

Чего же добивался Толстой? Посмотрим французские фразы Наполеона. Вот как преобразует кусок истории Тьера в кусок своей прозы Толстой:

ТОЛСТОЙ.	ТЬЕР.
«В отношении религиозном, Наполеон приказал ramener les popes и возобновить служение в церквах». (III. 122.)	«Jl fit chercher des popes, et les engagea à rouvrir les églises de Moscou, à y célèbrer le culte divin, à y prier même pour leur souverin légitime l'empereur Alexandre.». (V)XIV, 425. «Он послал за попами, и предложил им открыть московские церкви, возобновить богослужение и даже молиться за их законного государя императора Александра». (XIV, 425).

Как видите здесь иронически сохранен les popes. Таких примеров у Толстого можно набрать много. Это — czar, cosaque, Moscou, boyard и т. д. Дам небольшую и неполную сводку:

1) ...«Увидав на той стороне les cosaques и расстилавшиеся степи (les steppes), в середине которых была Moscou, la ville sainte, столица того, подобного скифскому, государства, куда ходил Александр Македонский, Наполеон неожиданно для всех и противно как стратегическим, так и дипломатическим соображениям приказал наступление, и на другой день войска его стали переходить Неман».

2) ...«Qu'on m'amène les boyards — обратился он к свите».

3) «Укрепление Кремля, для которого надо было срыть la Mosquée (так Наполеон назвал церковь Василия Блаженного), оказалось совершенно бесполезным».

4) ...«Наполеон, несмотря на то, что ему более чем когда-нибудь, теперь, в 1812 году, казалось, что от него зависело verser или не verser le sang de ses peuples (как в последнем письме писал ему Александр), никогда более, как теперь, не подлежал тем неизбежным законам, которые заставляли его (действуя в отношении себя, как ему казалось, по произволу) делать для общего дела, для истории то, что должно было совершиться».

5) ...«В отношении продовольствия войска, Наполеон предписал всем войскам поочередно ходить в Москву à la maraude для заготовления себе провианта, так чтобы таким образом армия была обеспечена на будущее время».

6) ... «Одно мое слово, одно движение моей руки, и погибла эта древняя столица des Czars. Mais ma clémence est toujours prompte à descendre sur les vaincus».

Этот прием остранения чрезвычайно доходит, так как он использован в месте непосредственного столкновения Наполеона с Россией. Нам изображение Наполеона представляется карикатурой, с чем несогласны иногда французы.

«Дано до 10 портретов Наполеона со щепетильной тщательностью, без всякой враждебности, без единой карикатурной черты, но через это одно, что автор воздерживается на момент от легенды, исключительный человек проваливается. Здесь прием: подробность из физических наблюдений искусно просовывается в роман и кажется несовместимой со скипетром и императорским плащем». (Мельхиор-де-Вогюэ, Revue des deux Mondes v. 64. 1884. 280.)

Может быть это вызвано тем, что в переводе пропал один из элементов воздействия — языковая ирония Толстого, и Наполеон, переведенный с французского на французский, перестал быть комичным.

В заключение должен сказать, что в момент «полевения» Толстой изменил в своем романе и количество французского языка. Вот, что пишет об этом Гусев.

...«Серьезные исправления, сделанные Толстым в новом издании «Войны и Мира», состояли прежде всего в том, что почти вовсе исчез французский язык, которым так недоволен был Боткин, и, во-вторых, в том, что выделены были в особое приложение историко-философские и военно-исторические рассуждения автора, ранее входившие в самый текст романа и в эпилог к нему». (Толстой и о Толстом, сборник 2, стр. 133.)

Текст этого издания Н. Н. Гусев и предлагает считать каноничным.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

СЮЖЕТ «ВОЙНЫ и МИРА»

I

СЮЖЕТ РОМАНА В ЕГО СВЯЗИ С МАТЕРИАЛОМ

В своей книге «Теория литературы» тов. Томашевский довольно точно приводит мое определение разницы между фабулой и сюжетом. Книга имеет учебный характер, и тов. Томашевский поэтому в обоих изданиях не сослался на автора определения.

Разница между фабулой и сюжетом чрезвычайно существенна и настолько необходима, что вошла уже в судебные экспертизы.

Фабула — это явление материала. Это — обычно судьба героя, то, о чем написано в книге.

Сюжет — это явление стиля. Это — композиционное построение вещи; определенные фабульные положения могут быть выбираемы по сюжетным принципам, т.-е. в них самих может быть определенное сюжетное построение, ступенчатое построение, инверсия, кольцевое построение. Так некоторые породы камня имеют слоистое строение и поэтому могут быть наилучшим способом использованы для устройства панели.

Сюжетные построения, подбирая для себя определенные фабульные положения, деформируют материал. Поэтому затруднения в пути, приключения, несчастные браки, дети, потерянные родителями, гораздо чаще встречаются в литературе, чем в жизни. Деление на материал и стиль (форму) — условно. Художественное произведение, обрабатывая материал, стилизирует, т.-е. дематериализирует его. Особенно это ясно на примере стиха. Стих — это стилизация речевых моментов, обращение их из семантических в формальные. Семантические, смысловые величины не исчезают в стихе, но работают в иной функции, вызывают иную установку. Стихотворение представляет собой большее присутствие моментов формирования, большее преодоление его над материалом, чем проза. Стилевые величины могут заменять величины смысловые, и если для обычного сюжетного разре-

шения мы используем фабульные моменты и обычно пользуемся тем, что определенное положение, данное противоречивым вначале, приводится к своему разрешению, то в стихе впечатление разрешенности может быть дано и определенным стилевым образом, например, переходом от цезурной строки на бесцезурную (см. Ю. Тынянов, Проблема стихотворного языка).

Жизнь литературного произведения во времени — это превращение смысловых величин в стилевые. Очень легко показать связь определенных величин литературных с величинами быта, и очень трудно об'яснить, почему определенное художественное построение переживает бытовое положение, его создавшее. Литературное произведение в своей жизни разгружается, теряет свою целевую установку сперва для автора, потом для читателя, и читатель воспринимает литературное произведение вне того ключа, в котором оно было написано.

Это изменение смысла произведения, совершаемое вне воли автора, позднее анализировалось самим Л. Толстым на материале «Душечки» Чехова. Толстой привел для этого явления прекрасное сравнение.

«Я учился ездить на велосипеде в манеже, в котором делаются смотры дивизиям. На другом конце манежа училась ездить дама. Я подумал о том, как бы мне не помешать этой даме, и стал смотреть на нее. И, глядя на нее, я стал невольно все больше и больше приближаться к ней, и, несмотря на то, что она, заметив опасность, спешила удалиться, я наехал на нее и свалил, т.-е. сделал совершенно противоположное тому, что хотел, только потому, что направил на нее усиленное внимание.

То же самое, только обратное, случилось с Чеховым; он хотел свалить Душечку, и обратил на нее усиленное внимание поэта и вознес ее». (Л. Н. Толстой, т. XIX, стр. 252.)

Л. Н. Толстой, классовый и сознательно классовый человек, пережил свой класс именно благодаря этому. Отрыв Льва Николаевича от его класса мог произойти уже при его жизни, потому что метод, найденный писателем, оказался умнее его самого. Так, сложные преобразования математика не доходят во время решения уравнения до его сознания.

Определяя сюжетную сторону литературного произведения, мы в данном случае под понятием «сюжета» будем подразумевать вопрос о распределении главных смысловых масс, при чем в отдельных произведениях роль сюжета не равна. Мы можем иметь литературное произведение, в котором внезапность сюжетных преобразований — главное. Мы можем иметь литературное произведение, в котором сюжет играет подчиненную роль и только способствует подаче материала. Это — сюжет остаточный, это разделение сюжета от материала ощущается самими авторами. Для многих русских писателей сюжет не был доминантой. Интересно в этом отношении письмо Тургенева к Гончарову.

... «Остается сочинять такие повести, в которых, не претендуя ни на цельность, ни на крепость характеров, ни на глубокое и всестороннее проникновение в жизнь, я бы мог высказать, что мне приходит в голову... Кому нужен роман в эпическом значении этого слова, тому я не нужен: но я столько же думаю о создании романа, как о хождении на голове: что бы я ни писал, у меня выйдет ряд эскизов». (Ответ И. С. Тургенева Гончарову, стр. 35.)

Гоголь писал следующее:

«Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или несмешной, но русский чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию.

... Сделайте (же милость) дайте сюжет; духом будет комедия из пяти актов, и клянусь — куда смешнее чорта». (Письма Н. В. Гоголя, ред. Шенрока, т. I.)

«Война и Мир» — вещь максимально наполненная материалом. Установка автора и дана именно на показ материала и на его изменение. Работа писателя линейна, распределена не на определенных сюжетных точках, а по всему протяжению романа. Художественные неравенства создаются опять-таки методами показа материала и преодоления материала стилем.

Эстетизация материала, вытеснение локальных деталей художественным методом, совершается, опять-таки на протяжении всего романа. Между романом и романным материалом происходила сложная борьба. Это отчетливо ощущалось современниками, которые единогласно говорят о за-

давленности произведения материалом, о том, что романная машина работает со скрипом и что сам материал слишком не традиционен.

...«Главный недостаток романа графа Л. Толстого состоит в умышленном или неумышленном забвении художественной азбуки, в нарушении границ возможности для поэтического творчества. Автор не только силится одолеть и подчинить себе историю, но в самодовольстве кажущейся ему победы вносит в свое произведение чуть не теоретические трактаты, т.-е. элемент безобразия в художественном произведении, глину и кирпич о-бок мрамора и бронзы». (С. Петербургские Ведомости, 1868 г., № 144, статья М. Де-Пуле.)

...«Ошибка графа Толстого заключается в том, что он слишком много места в своей книге дал описанию действительных исторических событий и характеристике действительных исторических личностей. От этого нарушилось художественное равновесие в плане сочинения, утратилось связующее его единство»... (Газ. «Голос», № 105, СПБ. 1868 г.)

...«Рассматривая беспристрастно роман гр. Толстого, мы находим его далеко несовершенным. Он напоминает не столько художественные романы Вальтер Скотта или Диккенса, также обильные сценами и лицами, но правильно и гармонически скомпанованные, сколько те средневековые мистерии и романические повести, где бесчисленные эпизоды громоздятся один на другой и лица сменяются, как в волшебном фонаре, являясь иногда неизвестно зачем и исчезая незнаемо куда»... («Сын Отечества». СПБ. 1870 г. № 3, стр. 1—2).

Черезвычайно характерно для романов Толстого это то, что у него, как в «Войне и Мире», так и в «Анне Карениной» материал переходил за фабулу, т.-е. после завершения фабульных положений роман продолжался. Можно с полным правом говорить, что роман продолжался и за концом сюжетного построения, и, конечно, поступок Каткова, его знаменитое об'явление в журнале, что роман уже кончился, представляет собой одно из нарушений авторского права, но этот поступок подготовлен своей формой, самой возможностью своего появления благодаря конструкции толстовских романов.

Вот эта заметка, появившаяся в майской книжке 1877 г. «Русского Вестника»:

«От Редакции: «В предыдущей книжке, под романом «Анна Каренина» выставлено: «Окончание следует». Но со смертью героини, собственно, роман кончился. По плану автора следовал бы еще небольшой эпилог, листа в два, из коего читатели могли бы узнать, что Вронский, в смущении и горе после смерти Анны, отправляется добровольцем в Сербию и что все прочие живы и здоровы, а Левин остается в своей деревне и сердится на славянские комитеты и на добровольцев. Автор, быть может, разовьет эти главы к особому изданию своего романа».

Фабульные положения не привлекали, очевидно, большого внимания Л. Н. Толстого. Они традиционны и только слегка пародийны. Драгомиров, который писал в «Оружейном Вестнике» статьи по мере выхода романа, заранее предсказал, что Наташа выйдет за Пьера. Точно так же предвиден был и брак Мари с Николаем. Это об'ясняется тем, что Толстой находился в сфере определенной традиции — английского романа. С Теккереем Толстой связан не непосредственно; у него нет прямого заимствования (вопреки мнению Чечулина). «Ярмарка тщеславия» и вообще такие заимствования, за которыми охотятся историки литературы, редки, как лотосы на Волге. Но фабульное положение, годное для сюжетной обработки и у Толстого и у Теккерея, одно и то же; а именно—женщина достается не красивому, а симпатичному; при чем первый красавец или совсем не становится мужем или он муж на время. Героем же окончательным становится или Пьер или Добин, при чем у второго героя, у героя-мужа в начале романа есть препятствия к браку: неравенство материальных положений; он беднее невесты. В середине романа происходит перестановка: усыновление Пьера, обогащение отца Добина и получение Добиным полковничьего чина.

Роман Теккерея Толстой, конечно, знал, и у него даже есть легкие совпадения.

Старые романные приемы: освобождение героини, подвиги героя, письма, развязывающие сюжетные узлы, весь этот реквизит и для Толстого, и для Теккерея был удобным



К странице 224. Глава X. Из „Искры“ 1869 г.

Подпись под карикатурой была следующая:

„Возвращаясь обратно, князь Андрей спасает жену лекаря 7-го егерского... от пьяных“.

В толстовском тексте традиционность положения Андрея ослаблена тем, что Андрей сам знает о своем смешном положении. Карикатурист не понимает или не хочет понять установки автора.

К стр. 226. Глава X. Из „Искры“ 1869 г.

Под карикатурой была следующая подпись:

„Вот посмотрите картинку: сотни фигур в ней найдутся, и в тесную рамку все это втиснул волшебник: об этом вы в Русском Вестнике, в книжке зеленой, Щебальского чтите“.

Карикатура направлена против военно-великосветской тематики „Войны и Мира“. По манере рисунка карикатура отличается от других; возможно, что карикатурист работал здесь под штриховые (рисунок пером) обложки патриотических военных книг типа изданий русского инвалида Ивана Скобелева. См. хотя бы „Переписка русских солдат“ или „Подарок товарищам“. СПБ. 1833.

оружием, которое, однако, для своего пользования требовало иронической подачи. У Теккерея для разрешения запутанной интриги, построенной на том, что Амалия верна памяти мужа, дано письмо, которое муж когда-то, лет 15 тому назад, написал подруге жены—Ребекке с предложением бежать. Это письмо потом передается Ребеккой Амалии и разрабатывает положение. Но вызов Добина, т.-е. та цель, которая преследуется передачей письма, уже совершена.

...«Эмми не слушала Ребекку; она глядела на записку. Это была та самая записочка, которую Джордж некогда вложил в букет, вручая его Бекки на балу у герцогини Ричмондской, и все было так—как утверждала Бекки: действительно, этот безрассудный молодой человек уговаривал ее с ним бежать».

...— Ну, теперь вооружитесь-ка, пером и чернилами и напишите ему, чтобы он тотчас же приезжал.

— Я... я написала ему еще утром,— призналась Эмми, чрезвычайно красная.

Бекки так и прыснула со смеха». (В. Теккерей, Ярмарка тщеславия, ч. II, стр. 313—314).

Определенная фабульная рамка дана, но дана почти-что по памяти с игрой на ожидание зрителя, а действие мотивировано другим способом.

У Толстого письмо Сони освобождает Николая от обязательств, но это письмо ничего не освобождает: оно тень других писем и только дает возможность Николаю поймать Соню на слове. Намеком (как у Теккерея) дана интрига Сони (она сказала Наташе об Андрее).

Возраст Пьера, его беззубость поражали толстовских читателей: им казалось, что это незачем.

Но эта запоздалость счастья, это пародийное ощущение запаздывания его, т.-е. учет романного времени, типично для поздних моментов использования материала. Так в поздних рассказах с рыцарем, делающим ряд подвигов для того, чтобы добраться до спальни женщины, встречается мотив, что, достигнув женщины, мужчина от усталости заснул. И, если Боккачио подчеркивает в своей новелле, что женщина, перешедшая через руки 13-ти, не постарела и что губы,

как луна, только обновляются от поцелуев, то Пушкин пародирует старость Наины, которой так поздно добился Финн.

Запоздалость счастья, т.-е. обновление сюжетной схемы через учет реального времени, встречается и у Толстого и у Теккерея.

«Птица приручена, наконец. Вот она склонила голову на полковничье плечо, воркует и ластится к самому его сердцу, распустив нежно трепещущие крылья. Это и есть то, что Добин ждал каждый день и час целых восемнадцать лет». В. Теккерей, Ярмарка тщеславия, ч. II, стр. 315).

Традиционна линия: Николай — Мари, — при нетрадиционности героев, которая выражается главным образом в возрасте Мари. Так как это положение чрезвычайно не традиционно и условно, то оно несколько раз пародируется. Все говорят о том, что это похоже на роман; это подчеркивание условности не спасло Толстого от пародирования со стороны. Также спародирован момент, не имеющий большого композиционного значения, это — заступничество Андрея за жену лекаря.

Затруднения по соединению героев друг с другом родственного характера, присутствие у них живых людей, живых жен и т. д. решались Толстым чрезвычайно просто: эпизодами смертей в последней части, что не ощущается сейчас нами, но отчетливо ощущалось современными Толстому читателями.

«Что касается до действующих лиц романа, то автор счел за нужное поступить с ними довольно бесцеремонно, уморив некоторых из них совершенно неожиданным образом: такой участи подвергся герой романа Андрей Болконский и красивая графиня Елена Безухова; если прибавить к этому умершему масона Баздеева и искалеченного Анатолия, то будем иметь полный перечень потерь, понесенных действующими лицами романа». («Русский Инвалид», 1869 г. № 37.)

Традиционность основных положений Толстого заставила его сделать очень точно и изобретательно моменты развязок. Читатель знает, что Мари должна стать женой Николая, но это не выдается до последнего момента, и фабульное положение осуществляется с полной неожидан-

ностью для читателя, с вынесением движущих сил за скобки, за линии движения этого эпизода. Окончательный же сговор Пьера и Наташи пропущен, сделан в одном из романных пропусков.

Чрезвычайная громоздкость материала у Толстого заставляет его вообще широко пользоваться приемами перебивок. Толстой двигает своих героев толчками, пропуская переходные моменты, при чем герои покидаются им очень часто в момент наивысшего напряжения.

Включение линии в линию в лучших местах у Толстого дается путем максимального нарастания предыдущих отрывков. В черновой редакции Долохов знал о том, что Пьер находится пленным среди французской колонии, которую нужно завтра атаковать; в печатном варианте это выкинуто, а бой дан с большим нарастанием, при чем в черновом варианте Петя остался живым, а в печатном — Петя убивается. Нарастание напряженности и смерть Пети настолько сосредотачивают читателя в определенном отрывке, что появление Пьера, представляющее обычную романную условность, воспринимается само собой, потому что условность эта заглушена силой предыдущего отрывка. Определенные куски у Толстого появляются с очень слабым фабульным обоснованием и представляют пример сюжетной мотивировки появления куска. Так появляется салон Анны Павловны; он суммирует, появляясь пять раз, все происшедшее перед этим и дает пародийно-снижающее традиционно-светское—«историческое» восприятие всего происшедшего. Это резонер-болтун, при чем у этого резонера есть двойник, снижающий его самого,— это салон Берга.

Новость построения Толстого, однако, лежит не столько в преодолении сюжетных мотивировок компановки над фабульными, но и в перестановке героев, при чем иногда, благодаря перестановке, герой у Толстого нуждается в специальном об'яснении. Например, если бы княжна Мари была Наташей, то ее спасение Николаем было бы традиционно, но тут дана перестановка: Мари не молодая женщина, а Николай промотавшийся гусар, т.-е. это положение сниженным

ное и может быть воспринято в пародийном плане. Тогда Толстой дублирует героя, и Мари оказывается своеобразным контрфорсом Жюли, которая фабульно почти ни с кем не связана, но она с точностью копирует положение Мари, только в сниженном плане. Она тоже богата и тоже не молода, и тоже выходит замуж за молодого красивого человека, при чем движение ее жизни совершается параллельно движениям жизни Мари; дана она чистой пародией, и на нее перенесена ирония читателя. Толстой как будто бы говорит: «Я знаю, что такое положение воспринимается как смешное, но смешна была не Мари, а Жюли». Точно так же Соня разгружает Наташу; она потому так и ограблена.

В конце-концов как у Рафаила Зотова, так и у Толстого гусар спасает женщину, потом на ней женится (Мари) и, в конце-концов, Пьер женится на Наташе, что ожидается читателем. Но лишняя подробность и сложность разработки об'яснения Николая с Мари помогают читателю не замечать условности конструкции. Это маскировочная работа художника. Не нужно только об'яснять это явление из биографии писателя.

Мы не должны преувеличивать биографических моментов в творчестве Толстого, и те автобиографии женщин, которые похожи на толстовские образы, невольно сделаны по Толстому. Это—пророчества, написанные после исполнения пророчества, тем более, что мы большинству биографических данных имеем литературные пары и могли бы об'яснить появление определенного момента в тексте Толстого и без биографических указаний.

Т. А. Кузьминская настаивает на биографичности Наташи Ростовой, заявляя, что Наташа списана с нее самой. Но у нее же мы находим указания на литературный прототип Наташи. Вот это показание:

«Иногда он читал нам вслух. Помню, как он читал переводной английский роман мистрис Браддон — «Аврора Флойд». Этот роман ему нравился, и он часто прерывал чтение восклицаниями:

— Экие мастера писать эти англичане. Все эти мелкие подробности рисуют жизнь. Таня, а ты узнаешь себя в этом романе?— спросил меня Лев Николаевич.

— В «Авроре?»

— Ну, да, конечно.

— Я не хочу быть такой. Это неправда,— закричала я, краснея,— и никогда не буду ей.

— Нет, без шуток, это ты,— продолжал Лев Николаевич, полу-шутя, полу-серьезно...

Сюжет романа следующий: Аврора, дочь богатых и гордых родителей, влюбилась в своего берейтора и отдалась ему, что составило несчастье ее жизни и ее родителей, Берейтор ярко очерчен в романе: чувственный, низменный, красивый и смело подлый. Конца романа я не помню. Впоследствии я старалась достать этот роман, чтобы видеть, какие именно черты характера Авроры схожи с чертами характера Наташи в «Войне и Мире». Я помню хорошо, что я и Соня это заметили. Но достать этот роман я не могла в переводе». (Т. А. Кузьминская, Моя жизнь дома и в Ясной Поляне, стр. 115.)

В романе мистрис Браддон действительно можно найти некоторые сюжетные совпадения с «Войной и Миром». Роман Авроры с берейтором соответствует роману Наташи с Анатолем. Внешняя характеристика Авроры Флойд, подчеркивающая ее детскую некрасивость, также сходна с характеристикой Наташи.

... «Обыкновенно девочки некрасивые в младенчестве становятся красивыми женщинами, так было и с Авророй Флойд. Семнадцати лет она была вдвое лучше, чем мать ее в двадцать девять, но с теми же неправильными чертами, освещенными парой глаз, походивших на звезды небесные, и двумя рядами чудных белых зубов». (Мистрис Браддон. Аврора Флойд, СПБ. 1870, стр. 21).

Сравните у Толстого: «Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, со своими детскими открытыми плечиками которые, сжимаясь, двигались в своем корсаже от быстрого бега, со своими сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках, была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка». («Война и Мир». Т. I, стр. 38).

Аврора Флойд, так же, как и Наташа, отказывает своим женихам и, наконец, выходит замуж за того, кто дольше всех ее любит.

Но самое главное—мы находим в романе мистрис Брад-

дон не только Наташу, но и пару Наташа—Соня, связанную родством (Аврора — Люси) и противопоставленную друг другу.

... «Все, чего недоставало в красоте Авроры, в избытке находилось в Люси».

... «Люси есть так много, а Аврор так мало; и между тем, как вы никогда не могли критиковать одну, вы безжалостно разбирали другую». (Стр. 52.)

Следовательно, если здесь и есть использование определенного положения, то только благодаря его соответствию жанровой традиции.

Роман в такой же мере не может отразить чью бы то ни было биографию как и передать историю. Вот почему неправильно, что Соня это—Ергольская. Все исследователи, исходя из этого положения, указывают на чрезвычайное снижение образа Сони. Она ограблена и обобрана до последней степени. Сделано это в пользу Наташи, при чем не параллелью, как у Жюли, а противопоставлением, и Наташа довольно традиционна, если бы у нее не были введены физиологические мотивировки любви к Анатолю и т. д.

Изменяя воздух между эпизодами, новый жанр создал новые мотивировки, или дал им вдвинуться в произведение.

II

ВОПРОС О ЖАНРЕ «ВОЙНЫ и МИРА» В ОТЗЫВАХ СОВРЕМЕННИКОВ

Необходимость оперировать с большим материалом, который требовал определенной степени включения, глубоко отразилась на «Войне и Мире». Андрей Болконский оказался перегруженным не только количеством виденного, но и количеством рассуждений, он стал «почти гениальным».

Но за то против неправдоподобности Андрея появилось много возражений.

Иногда, возражения доходят до курьеза: например, Драгомиров делает выговор Андрею Болконскому. Ему кажется, что Андрей Болконский присутствует там, где он не должен быть, где он не имеет права быть, т.-е. на заседаниях главнокомандующих.

... «И вот он удивляется ничего-неделанию Багратиона, собирается заявить свой план Аустерлицкого сраже-

ния на военном совете, в который попал не по праву, а по личным отношениям к Кутузову». (М. И. Драгомиров. Разбор романа «Война и Мир», стр. 39, Киев. 1895 г.)

В рамках романа Толстого мы можем оправдать это высоким происхождением Андрея Болконского, и раздражение Драгомирова имеет привкус протеста против этого привилегированного человека. Но, если мы возьмем Леонида в романе Зотова, того же названия, то мы увидим: разночинец присутствует в тех местах, где кто-нибудь должен сказать что-нибудь историческое. Это — жертва исторического романиста, в которой он поступается правдоподобием для введения нового материала.

Л. Н. Толстой оставил нам следы этой борьбы с материалом. У него есть целый ряд мест, которые он то вводит в роман через размышление героев или вообще включает в романную сеть, то выделяет их в особое статейное образование. Любопытно, что при этом строение кусков почти не изменяется, и они прикрепляются к романной машине совершенно рудиментарными переходными кусками. Приведу пример:

...«Наполеон начал войну с Россией потому, что он не мог не приехать в Дрезден, не мог не отуманиться почестями, не мог не надеть польского мундира, не поддаться предприимчивому впечатлению июньского утра, не мог воздержаться от вспышки гнева в присутствии Куракина и потом Балашева.

Александр отказывался от всех переговоров потому, что он лично чувствовал себя оскорбленным. Барклай-де-Толли старался наилучшим образом управлять армией для того, чтобы исполнить свой долг и заслужить славу великого полководца. Ростов поскакал в атаку на французов потому, что он не мог удержаться от желания проскакаться по ровному полю». (Война и Мир, т. III, ч. II, гл. 1, стр. 81 *).

Нарастание стилевых задач способствовало вытеснению исторического материала, и Толстому, как я уже говорил, не понадобились те материалы, которые для него приготовил так трудолюбиво Петерсон. Это тоже увеличивало отло-

*) В издании 1873 г. 1-я глава напечатана в приложении под заглавием «План кампании 12-го года». Текст остался неизмененным. Исключены только приводимые здесь 2 первые абзаца. Вся глава, наполненная историческим материалом, пришивается к роману только упоминанием персонажа романа — Николая Ростова в одном контексте с историческими лицами.

жение исторического материала пластами, и современный читатель замечал изменение темпа романа. По мнению современников, шестой том, а для некоторых и пятый, не удался и представляет собой накопление материала. Критики, мнения которых я приведу в дальнейшем, не крупные теоретики, и именно потому я привожу их мнения массовым способом, как свидетельские показания очевидцев какого-то уличного происшествия. Это не материал аналитиков, а просто запись впечатления, произведенного романом на среднего человека.

Только позднее сознание читателя примирилось с чудовищностью конструкции «Войны и Мира» и даже эстетизировало эту первоначальную композиционную ошибку, т.-е. здесь художественный прием, художественное изобретение явилось как результат закрепления сдвига, случайной мутации.

Толстой тяжело боролся, и ряд композиционных изобретений сделан им в силу первоначальной установки, в силу давления материала; и это отчетливо понимали современники, которые замечали борьбу фабулы с материалом, который она должна была оформить.

...«Начнем с того, что в упомянутой книге трудно решать и даже догадываться, где кончается история и где начинается роман и обратно. Это переплетение, или скорее перепутывание истории и романа, без сомнения, вредит первой и окончательно, перед судом здравой и беспристрастной критики, не возвышает истинного достоинства последнего, т.-е. романа». («Русский Архив», 1869 г., вып. I. Стр. 187-8. Кн. Вяземский, Воспоминания о 1812 годе).

По мере развертывания романа «война» одолевала «мир», а материал «сюжет». Так как фабульные схемы с их семейными отношениями годились скорее для мира, чем для войны, то произведение начало принимать странный, внефабульный характер.

Современники заметили это, начиная с третьего тома.

Старое единство романа ощущалось потерянным, новое— еще не было найдено.

...«Весь том не оставляет у читателя цельного впечатления потому, что автор хочет вести наравне развитие романа

и излагать исторические события, но двойная задача не влагается в его произведение, одна другую подавляет, так что читатель не находит в рассказе ни истории, ни романа». («Харьковские Ведомости», 1868 г., № 48. Статья К. «Война и Мир», четвертый том.)

Это, очевидно, было общим мнением.

... «Четвертый том обнимает собою события 1812 года—нашествие Наполеона и «великий день Бородина». Но собственно роман, завязка его, фабула, не подвигается тут ни на волос. Характеры главных действующих лиц застыли в тех моментах, в каких оставлены они автором в третьем томе (см. № 11 «Голоса»), и в их личных ощущениях, в их взаимных отношениях не произошло никакой, решительно никакой перемены. Автор не только не ведет далее своих героев, но, даже, когда, уступая необходимости говорить о щих лиц почти-что не подвинулось нинашаг». «Сын романа, то повторяет лишь, в противоположность всем условиям художественного творчества, пережитые уже ими и известные читателю моменты». (Газ. «Голос», СПБ. 1868 г. № 83, стр. 1—2.)

...«Вообще нужно сказать, что в этом томе историческая часть застилает собой собственно романическую, и действие романа со страстями, страданиями, отношениями действующих лиц почти-что не подвинулось ни на шаг». («Сын Отечества» 1868 г., № 13).

В результате рецензенты отказывали «Войне и Миру» в названии романа. Лев Толстой, как мы знаем, принял вызов и сам поставил свое произведение, в послесловии, вне обычных жанров.

...« Мы называем сочинение гр. Л. Н. Толстого романом только для того, чтобы дать ему какое-нибудь имя; но «Война и Мир», в строгом смысле слова, не роман. Не ищите в нем цельного поэтического замысла, не ищите единства действия: «Война и Мир»»—просто ряд характеров, ряд картин, то военных, то на поле битвы, то вседневных, в гостиных Петербурга и Москвы»... (Газ. «Голос» № 11 за 1868 г. СПБ., стр. 1—2).

...«Автор не назвал своего сочинения романом и сделал это, конечно, не без причин. «Война и Мир» не есть роман уже потому, что автор набрасывает ряд картин, более или менее широких, весьма мало заботясь о том, насколько размеры и подробности этих картин необходимы для выяснения характеров избранных героев и их отношений друг к другу. Иногда за этими картинами герои положительно сту-

шевываются и делаются почти незаметными». («С. Петербургские Ведомости», 1868 г. № 24. Рецензия подписанная: Z (Вл. Буренин).

Возражения против романа еще более окрепли из-за появления пятого и шестого тома.

Об'ектами возражения были: 1) решительное преобладание материала, 2) беглость рассказа о героях, 3) расположение материала рассуждений, даже после эпилога. Я приведу довольно много цитат, но их нужно было бы привести больше. Любопытны, например, указания на то, что в конце произведения произошла эпидемия смертей среди героев, что тоже считалось пороком композиции.

Итак, мы имеем перед собой факт, что появление гениального произведения воспринято было как появление произведения, неправильно написанного:

...«Его роман, по нашему мнению, все-таки остался не вполне оконченным, несмотря на то, что половина действующих в нем лиц перемерла, а остальные сочетались между собою законным браком. Точно будто самому автору надоело возиться со своими уцелевшими героями романа, и он, на скорую руку, свел кое-как концы с концами, чтобы поскорее пуститься в свою бесконечную метафизику»... («Петербургская Газета», 1870 г., № 2, стр. 2—3.)

«Пятый том «Войны и Мира» гр. Толстого, с таким нетерпением ожидавшийся публикою, наконец, появился в свет. Читатель не находит уже в романе мастерских описаний боевых и бивачных сцен... напротив, читатель видит вялое, бессвязное изложение событий, следующих за Бородинским сражением, кое-где перемешанное со сценами из домашней жизни героев и героинь романа, сценами мертвенными, не имеющими ни живости красок, ни определенного колорита; видно, что автор едва дотянул непосильный груз до обязательного конца». («Русский Инвалид». 1869 г., № 37. Анонимная библиографич. заметка: «Война и Мир». V том».)

«Роман, как видно, совершенно обессилил творческую фантазию автора, и он, во что бы то ни стало, решился, наконец, покончить с ним, как можно скорее и как можно короче; в шестом томе, состоящем из 290 страниц, собственно роману отведено немногим более половины, остальное занято какими-то политико-историко-философскими толкованиями. Не довольствуясь

попрежнему тем, что давал какие-то толкования вперемешку с романом, автор теперь всю вторую часть эпилога прямо назначил для диссертиции по разным вопросам исторического философствования». («Новороссийский Телеграф». 1869 г., № 263. Статья А. Вощинникова: «Война и Мир», том шестой».)

Особые возражения, вызвал эпилог, вернее рассуждения после него.

...«Шестой том разделен на четыре части: две части собственно сочинения и две части эпилога. В первых двух частях рассеяны, среди густого мрака умствований, две-три сценки из последних эпизодов отечественной войны; вторая же часть эпилога вся сплошь состоит из философствований и ничем, ровно ничем, не связана с первой его частью, где рассказана дальнейшая судьба главных героев сочинения». («Голос». 1869 г., № 360. Анонимная библиографическая заметка. «Война и Мир», т. VI.)

...«Что касается до последнего шестого тома «Войны и Мира», то вообще он слабее первых частей романа и показывает, что автор как бы утомился своим рассказом и торопится его кончить». («Сын Отечества». СПБ. Январь 1870 г. № 3.)

По существу тоже самое говорил и Константин Леонтьев в 1890 году:

...«Когда Тургенев (по свидетельству г. П. Боборыкина) говорил так основательно и благородно, что его талант нельзя равнять с дарованием Толстого и что «Левушка Толстой — это слон!» то мне все кажется—он думал в эту минуту особенно о «Войне и Мире». Именно—слон! Или если хотите, еще чудовищнее,— это ископаемый сиватериум во плоти,— сиватериум, которого огромные черепа хранятся в Индии, храмах бога Сивы. И хобот, и громадность, и клыки, и сверх клыков еще рога, словно вопреки всем зоологическим приличиям.

Или еще можно уподобить «Войну и Мир» индийскому же идолу: — три головы, или четыре лица, и шесть рук! И размеры огромные, и драгоценный материал, и глаза из рубинов и бриллиантов, не только подо лбом, но и на лбу!!»

Но для Леонтьева все это уже эстетизировано.

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При всей заинтересованности Л. Н. Толстого, при всей ретушевке им истории, кое-что в войне 12-го года понято им было правильно. Это была война совершенно особенная.

В свое время генерал Маевский писал: «То, что вводило нас в ошибки, вошло в правило Наполеона». С точки зрения нашего военного искусства движение Наполеона, его искусство было ошибочно, так же как ошибочен роман Толстого.

Милорадович говорил: «Я люблю беспорядок, ибо один только беспорядок ведет к истинному порядку». Нажим Наполеона был настолько силен, что он довел нас до беспорядка и Наполеон в результате был разбит.

Не знаю, верно ли это исторически, но приблизительно так представлял себе дело Лев Николаевич Толстой.

Это верно для его романа; роман разрушал свои формы.

Исторический роман, материал которого строго определенен, очень удобен для анализа. В нем мы можем с большей легкостью, чем в других литературных произведениях, отделить материал от его стилевой деформации.

Кроме того, в нем ясны две линии.

Линия жанровая, линия определенных реминисценций сюжетных навыков и те изменения, которые вносят в нее сегодняшние задачи, задачи класса, определенная целевая установка.

Л. Д. Троцкий, возражая мне в своей статье «Формальный метод», писал, что слово только тень вещи. Это — неверно, потому что слово само по себе вещь, т.-е. вернее у слова

есть две стороны: сторона теневая, сторона отношения к вещи и свой собственный языковой, словесный импульс, своя инерция. Это приложимо и к литературным формам.

Литературные формы обладают определенной жесткостью, которая обеспечивает им прохождение через целый ряд эпох, и в то же время литературная форма находится под воздействием определенных задач, и новое накапливается в старом количественно.

Профессор Вавилов, рассказывая судьбу ржи, говорит что рожь первоначально была сорником у пшеницы. Но при колонизации земледельческими народами более северных стран, рожь оказалась в более выгодном положении и заглушила пшеницу, стала самостоятельным злаком.

Мы можем рассматривать сплавометалл, как раствор одного металла в другом. Если мы будем исследовать электростатическое свойство такого сплава, то мы увидим, что кривая может иметь разрывы, потому что раствор цинка (например) в меди превращается в определенный момент в раствор меди в цинке.

Количественные изменения становятся качественными, и это момент возникновения нового жанра. Новый жанр возникает в недрах старого, сперва неучитанным накоплением деталей. Но оценка произведения, первая его оценка дается с точки зрения жанра традиционного, и только потом количественные ошибки, «ошибки уклонения» обращаются в качество нового жанра. При этом, становясь эстетическим явлением, они эстетизируются и теряют свою первоначальную установку.

Лев Николаевич Толстой начал роман — как роман и как роман довольно традиционный.

Определенная установка, необходимость включения материалов изменили строение романа.

Борьба с традиционной историей, необходимость ее опорочить в интересах своего класса создала для него метод остранения, который был методом полемики.

Одновременно, Толстой осуществлял задание своей группировки стилистическими методами, присущими в литературе другой группировке.

Вот почему, и Вяземский, и Норов обиделись на стилистику Льва Николаевича Толстого.

Но в результате вновь найденный прием эстетизировался, был распространен и на положительных героев, и только Александр I даже при повторных редакциях не получил натуралистической обработки и не был подвергнут остранению. Некоторая возможность распространения приема и на него уже насторожила Вяземского, который, как я уже показывал, был обижен за изображение государя жующим.

Любопытно отметить, что реакция Вяземского совпадает с цензурным запрещением его времени. Цензурный устав, конечно, не возник в воздухе, а выразил и закрепил определенную, классовую установку.

Таким образом, эстетизируя свой роман, Толстой дал возможность его иному осмысливанию, и через некоторое время, при потере остроты, первоначальной злободневности романа, роман был введен общественным сознанием в общий ряд русской литературы и дошел не до того читателя, для которого был написан. Таким образом, мы видим в разобранном романе и первоначальный момент возникновения приемов, и первоначальную установку произведения, и последующую эстетизацию его.

Роман, был задуман романом традиционного типа. Само введение в него исторической экспозиции путем разговоров показывает, как был стеснен вначале исторический материал. Это период писания еще не «Войны и Мира», а книги: «Все хорошо, что хорошо кончается» или «Тысяча восемьсот пятый год».

Введение исторического материала первоначально делалось традиционным способом. Материал давался не деформированным. В процессе развития романа два несюжетных героя Наполеон и Александр получили композиционное значение. Получился параллелизм Наполеон — Александр, и мысль об этом параллелизме Толстой фиксирует для себя в середине работы. К этому времени изменяется отношение к Наполеону и исторический материал вводится уже с полемическими целями.

Величина романа возрастает и роман, по существу, теряет свое романное строение. Композиционное отношение

исторической и сюжетной линии ослабевает. История уже не играет роли мотивировки действия, уже не передвигает героев, а имеет самостоятельное значение.

Получаются две темы и служебная часть романа становится доминирующей. Усложняется взаимоотношение героев. В последних частях «Войны и Мира» герои почти выпадают. Появляется затактовый материал, т.-е. произведение продолжается уже после окончания сюжетного оформления. Докончены не все герои, о ряде героев Толстой забывает. Так например, исчезает старуха Друбецкая, князь Василий. Они не могут быть по своему возрасту убраны военной мотивировкой, да и вообще количество смертей в конце романа явно носит характер стилистической торопливости.

Одновременно с изменением композиционного строения романа, возникают предпосылки для его нового восприятия. Лев Николаевич Толстой хотел написать роман дворянский, он хотел компенсировать сознание своих современников за Крымское поражение. Его Бородино это—Малахов Курган, и Наполеон I связан с Наполеоном III, так как он связывался в сознании французских либералов, борющихся с бонапартизмом.

Но литературные формы, как формы языковые, имеют инерцию и в силу своей инерционности могут существовать расчлененно. При этом, одним из самых важных элементов формы является ее осуществление в новом материале. Так например, философский роман Достоевского был осуществлен в форме полицейского романа.

И может быть несовпадение жанра с содержанием, на которое так часто жалуются критики есть одно из необходимейших явлений жанра.

Лев Николаевич, дворянский по идеологии писатель, работал по способу подачи материала методами писателей разночинцев, со снижающей недоверчивостью и психологизацией. Старая литература, к которой принадлежал Толстой по своим намерениям, этой психологизации не знала.

Таким образом, «Война и Мир» — это как-будто язык возникший на основе другого языка. Кажется, что словарь

этого языка, например, романский, а грамматические формы — славянские или германские.

Благодаря этому роман Льва Николаевича дошел не до того читателя, на которого рассчитывал Лев Николаевич. Роман оказался в разряде обличительных, а не прославляющих. Здесь мы видим любопытнейшее явление разницы между генезисом произведения и его местом в историко-литературном ряду.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

1. Л. Н. Толстой. Война и Мир. 1-е изд. Москва. 1867—68 г. 4 тома.

2. Л. Н. Толстой. Война и Мир. 3-е изд. Москва. 1873 г.

3. Л. Н. Толстой. 1805 год. Журнал «Русский Вестник». 1865 г., кн. 1-я и 2-я. 1866 г., кн. 1-я и 2-я.

4. Л. Н. Толстой. Несколько слов по поводу «Войны и Мира». Журнал «Русский Архив». 1868 г., № 3.

5. Л. Н. Толстой. Война и Мир. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. Москва, 1914 г. 2 тома.

6. Л. Н. Толстой. Севастопольские рассказы. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. Москва. 1913 г.

7. Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений. Изд Т-ва И. Д. Сытина. Москва. 1913 г.

8. Л. Н. Толстой. Детство, отрочество и юность. Москва. 1857 г.

9. Л. Н. Толстой. Воскресение. Цензурные из'ятия. Изд. «Закнига». 1926 г.

10. Л. Н. Толстой. Избранные сочинения. ГИЗ. М.—Л. 1927 г.

11. Л. Н. Толстой. Новые тексты из «Войны и Мира». Ред. А. Е. Грузинского. Ч. 1-я. Изд. «Огонек». Москва.

12. Л. Н. Толстой. Новые тексты из «Войны и Мира». Ч. 2-я. Изд. «Огонек». Москва.

13. Л. Н. Толстой. Дневник. Т. I. 1895—1899. г. Москва. 1916 г.

14. П. И. Бирюков. Биография Л. Н. Толстого. Т. I, II и III. Изд. И. П. Ладыжникова. Берлин. 1921 г.

15. Толстой и о Толстом. Новые материалы. Ред. Н. Н. Гусева и В. Г. Черткова. Т. I. Москва. 1924 г.

16. Толстой и о Толстом. Новые материалы. Ред. Н. Н. Гусева и В. Г. Черткова. Т. II. Москва. 1926 г.

17. Толстой и о Толстом. Новые материалы. Ред. Н. Н. Гусева. Т. III. Москва. 1927 г.

18. Толстой. 1850—1860 г. Материалы, статьи под ред. В. И. Срезневского. Изд. Академии Наук. Ленинград. 1927 г.

19. Международный Толстовский Альманах. Петербург. 1909 г.

20. Толстовский Ежегодник. Изд. О-ва Толстовского Музея. СПБ. 1913 г.

21. Толстой. Памятники творчества и жизни. Ред. В. И. Срезневского и А. Л. Бема. Изд. «Огни». Т. I. Петроград. 1917 г.

22. Толстой. Памятники творчества и жизни. Ред. В. И. Срезневского. Изд. «Задруга». Т. II. Москва. 1920 г.

23. Толстой. Памятники творчества и жизни. Ред. В. И. Срезневского. Т. III. Москва. 1923 г.

24. Толстой. Памятники творчества и жизни. Ред. В. И. Срезневского. Т. IV. Москва. 1923.

25. Т. А. Кузьминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. 1846—1869 г. Записки прошлого. Москва. 1925 г. 3 тома.

26. Толстовский Музей. Т. I. Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. СПБ. 1911 г.

27. Толстовский Музей. Т. II. Переписка Льва Толстого с Н. Н. Страховым. (1870 — 1894) СПБ. 1914 г.

28. «Война и Мир». Сборник под редакцией В. П. Обниковского и Т. И. Полнера. Москва. Изд. «Задруга». 1912 г.

29. Б. М. Эйхенбаум. Молодой Толстой. Изд. Гржебина. Петербург—Берлин. 1921 г.

30. Б. М. Эйхенбаум. Литература. (Теория, критика, полемика.) Изд. «Прибой». Ленинград. 1927 г.

31. Ю. Н. Тынянов. Проблема стихотворного языка. Изд. Academia Петроград. 1924 г.

32. Ю. Н. Тынянов. Вопрос о литературной эволюции. Журнал «На литературном посту». 1927 г. № 10.

33. Encyclopaedia Britannica. Vol. 33. London. 1902.

34. W. Thackeray. Vanity Fair. A novel without the hero. Tauchnitz Eedition. Leipzig.

35. Мистрисс Браддон. Аврора Флойд. Роман. Изд. Е. Н. Ахматовой. СПБ. 1870 г.

36. В. Теккерей. Ярмарка тщеславия. Собрание сочинений. Т. IX и X. СПБ. 1894—5 г.

37. Мельхиор де-Вогюэ. Les grands maîtres de la littérature russe. Vol. 64. 1884. P. 264.

38. Виктор Шкловский. Их настоящее. Изд. Кинопечать. Москва 1927 г.

39. Виктор Шкловский. Теория прозы. Изд. «Круг». Москва 1925 г.

40. Виктор Шкловский. Удачи и поражения Максима Горького. Изд. «Заккнига». 1927 г.

41. Гр. А. Ф. Растопчин. Письмо к издателям «Русского Архива». Журнал «Русский Архив». 1869 г. Кн. 5-я.

42. Гр. Ф. В. Растопчин. Записки. Журнал «Русская Старина». Декабрь 1889 г.

43. Василий Ушаков. Хамово отродье. Сборник «Сто русских литераторов». Изд. Смирдина. СПБ. 1845 г.

44. Походные записки русского офицера, изданные И. Лажечниковым. Москва. 1836 г.

45. Труды Вольного Экономического Общества к поощрению в России земледелия. СПБ. 1814 г. Статья проф. Г. Якоба.

46. «Московский Телеграф». Изд. Ник. Полевого. Москва. 1830 г. Отрывки из записок И... Р...

47. Г. К. Ярошевич. Кто был герой-артиллерист Тушин? Журнал «Русский Инвалид». 1902 г. № 91.

48. А. Витмер. 1812 год в «Войне и Мире». СПБ. 1869 г.

49. А. Бороздин. Исторический элемент в романе «Война и Мир». Журнал «Минувшие Годы». Октябрь 1908 г. Стр. 70 — 92.

50. Д. С. Мережковский. Толстой и Достоевский. Т. I и II. СПБ. 1903 г.

51. Н. Н. Гусев. Толстой в расцвете художественного гения. Изд. Толстовского Музея. Москва. 1927 г.

52. Письма Н. В. Гоголя. Ред. В. Шенкора. Изд. Маркса. СПБ. Год не указан.

53. А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений. Библиотека великих писателей под редакцией С. А. Венгерова. Т. V. СПБ. 1911 г.
54. А. С. Пушкин. Сочинения. Изд. Императорской Академии Наук. Под редакцией В. И. Саитова. Т. III. Переписка. (1833 — 37 г.) СПБ. 1911 г.
55. Сергей Глинка. Записки СПБ. 1895 г.
56. Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово. 1827—1832. Труды Пушкинского Дома. Ленинград. Изд. Академии Наук СССР. 1927 г.
57. Рассказы о Пушкине. Записи прошлого. Воспоминания и письма под ред. С. Бахрушина и М. Цявловского. Москва. 1925 г.
58. Н. И. Греч. Записки о моей жизни. СПБ. Изд. Суворина.
59. С. Р. Минцлов. Обзор записок, дневников, воспоминаний, писем и путешествий, относящихся к истории России и напечатанных на русском языке. Выпуск 1-й, 2-й и 3-й. Новгород. 1912 г.
60. Щукинский сборник. Том VIII. Москва. 1909 г.
61. Кнут Гамсун. Собрание сочинений. Том III. СПБ. 1910 г.
62. Генрих Роос. С Наполеоном в Россию. Записки врача великой армии. К-во «Сфинкс». Москва. 1912 г.
63. Архив кн. Воронцова. Кн. 23. Москва. 1882 г.
64. Илья Львович Толстой. Мои воспоминания. Берлин. Изд. И. П. Ладыжникова. 1921 г.
65. Авдотья Панаева. Воспоминания. Ленинград. 1927 г.
66. С. А. Берс. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом. Смоленск. 1893 г.
67. В. Зелинский. Русская критическая литература о произведениях Л. Н. Толстого. Москва. 1900—1901 г. 7 томов.
68. Ю. Битовт. Л. Н. Толстой в литературе и истории искусств. СПБ. 1903 г.
69. Ф. Булгаков. Толстой и критики его произведений, русские и иностранные. Москва. 1899 г.
70. Толстовский Альманах. Письма Л. Н. Толстого. 1848—1910 годы. Собр. и редакт. П. А. Сергеенко. К-во «Книга». 1910 г.
71. А. Л. Бем. Библиографический указатель творений Л. Н. Толстого. Ленинград. 1926 г.
72. Известия Общества Толстовского Музея №№ 1, 2, 3, 4, 5. СПБ. 1911 г.
73. А. Фет. Мои воспоминания. Часть 1-я и 2-я. Москва. 1890 г.
74. Письма графа Л. Н. Толстого к жене 1862—1910 г. Москва 1915 г.
75. Первое собрание писем И. С. Тургенева. 1840—1883 г. СПБ. 1885 г.
76. А. С. Грибоедов. Полное собрание сочинений. Академическая библиотека русских писателей. СПБ. 1911 г. Том I.
77. А. С. Пушкин. Собрание сочинений. Письма (1815—1837). СПБ. 1906 г.
78. Н. Апостолов. Из материалов по литературной деятельности Л. Н. Толстого. Журнал «Печать и Революция». Москва. 1924 г. Кн. 4-я. Стр. 88.
79. Ромен Роллан. Жизнь Толстого. Изд. Семенова. Петроград. 1915 г.
80. В. Покровский. Лев Николаевич Толстой. Его жизнь и сочинения. Собрание историко-литературных статей. Изд. 3-е. Москва. 1913 г.
81. Н. К. Михайловский. Сочинения. Том III. СПБ. 1897 г.
82. А. И. Герцен. Сочинения. Том II. СПБ. 1905 г.
83. Б. М. Энгельгард. Н. А. Гончаров и И. С. Тургенев. Петербург. 1923 г.
84. Князь П. А. Вяземский. Собрание сочинений Том VIII. СПБ. 1883 г.
85. Константин Леонтьев. О романах Л. Толстого. Анализ, стиль, влияние. Москва. 1911 г.

86. Орест Миллер. Русские писатели после Гоголя. Том II. СПБ. 1915 г.
87. Н. Ленин. Лев Толстой и рабочее движение. Изд. «Октябрь Мысли». Москва. 1924 г.
88. И. Шницлер. Растопчин и Кутузов. СПБ. 1912 г.
89. М. П. Погодин. Алексей Петрович Ермолов. Материалы для его биографии. Москва. 1863 г.
90. Н. А. Рожков. Из русской истории. Очерки. Том II. Петербург. 1923 г.
91. П. Кропоткин. Идеалы и действительность в русской литературе. СПБ. 1907 г.
92. А. Н. Пыпин. Очерки литературы и общественности при Александре I. Петроград. 1917 г.
93. А. И. Кирпичников. Очерки по истории новой русской литературы. Том I. Москва. 1903 г.
94. Чернышевский. Собрание сочинений. Том VIII. Петроград. 1918 г.
95. В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, под редакцией С. А. Венгерова. Том IV. СПБ. 1901 г.
96. В. Ф. Булгаков. Лев Толстой в последний год его жизни. Москва. 1918 г.
97. Н. Страхов. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом. СПБ. 1887 г.
98. Н. Миронов. Л. Н. Толстой. Москва. 1887 г.
99. Драгомиров. Разбор романа «Война и Мир». Киев. 1895 г.
100. С. Ашевский. Белинский в оценке его современников. СПБ. 1911 г.
101. Н. К. Шильдер. Император Александр I, его жизнь и царствование. Т. I—IV. Изд. 2-е. СПБ. 1904 г.
102. Сборник «12-й год». Битва народов и «Записки» артистки Фюзиль. Москва. Т-во «Образование». Москва. 1912 г.
103. Очерки жизни Наполеона. Анекдоты из жизни Наполеона. Собрал А. С. Часть 1-я и 2-я. Москва. 1853 г.
104. Французы в России в 1812 году. По воспоминаниям современников-иностранцев. Часть 1-я. 2-я и 3-я. Москва. 1912 г.
105. Дух Наполеона Бонапарта. Часть 1-я и 2-я. СПБ. 1813 г.
106. И. Г. Липранди. Некоторые замечания о действительных причинах гибели наполеоновых полчищ в 1812 году. СПБ. 1855 г.
107. Г. В. Плеханов. Статьи о Толстом. Госиздат. Москва. Год не указан.
108. Л. И. Аксельрод-Ортодокс. Л. Н. Толстой. Госиздат Москва. 1922 г.
109. Д. Н. Овсянико-Куликовский. Л. Н. Толстой. Госиздат. М.—П. 1923 г.
110. В. Лопатин. Граф Толстой и Драгомиров. Варшава. 1899 г.
111. П. Сергеенко. Толстой и его современники. Очерки. Изд Саблина. Москва. 1911 г.
112. Т. Л. Сухотина-Толстая. Друзья и гости Ясной Поляны Москва. 1923 г.
113. Д. И. Писарев. Собрание сочинений. Т. IV. Статьи о Толстом
114. Н. И. Кареев. Собрание сочинений. Т. III.
115. А. П. Милюков. Л. Н. Толстой. Журнал «Русская Старина». Апрель 1880 г.
116. И. Чечулин. Основа общего плана «Войны и Мира». Журнал «Исторический Вестник». 1916 г. № 12.
117. «Из записок Севастопольца». «Русский Архив». 1867 г. Кн. 12-ая.

118. И. Крылов. Воспоминания. Журнал «Вестник Европы». Май 1900 г.

119. Н. Бочаров. Как писалась «Война и Мир». Газета «Русское Слово». 1903 г. № 237.

120. В. В. Попов. 1812 год. Справочный указатель к «Войне и Миру» Л. Н. Толстого. Псков. 1912 г.

121. Барон В. А. Дистерло. Граф Л. Н Толстой. СПБ. 1887 г.

122. С. Т. Семенов. Воспоминания о Л. Н. Толстом. СПБ. 1912 г.

123. Граф Сегюр. Поход в Москву в 1812 году. Изд. «Образование». Москва. 1911 год.

124. A. Suarès. Tolstoy. Paris. 1889.

125. Ю. Карцев и К. Военский. Причины войны 1812 года. СПБ. 1911 г.

126. Е. Цабель. Граф Л. Толстой. Перевод с немецкого. Киев. 1903 г.

127. Ф. Батюшков. Ричардсон, Пушкин и Лев Толстой. «Журнал Мин. Нар. Просвещ.» 1917 г. № 9.

128. Н. Барсуков. Жизнь Погодина. Т. XV. СПБ. 1899 г.

129. А. Амфитеатров. Собрание сочинений. Т. XIV. Петербург. 1913 г.

130. А. К. Толстой. Русская история от Гостомысла до Тимашева. Журнал «Русская Старина». 1883 г. Ноябрь. стр. 493.

131. Выписка известий из Москвы от 18 сентября. «Русский Архив». 1866 г.

132. Варнгаген фон-Энзе. Воспоминания. (О казни Верещагина.) «Московские Ведомости». 1859 г. №№ 234 и 238.

133. О казни Верещагина (анонимная заметка). «Московские Ведомости» №№ 8 и 13. 1860 г.

134. Эккерман. Разговоры о Гете. Перевод с немецкого Д. Аверкиева. Том 1 и 2. СПБ. 1903 г.

135. de — Ségur. Vie du comte Rostoptchine. Paris. 1872.

136. Д. И. Завалишин. Записки декабриста. СПБ. 1906 г.

137. Эркман-Шатриан. История одного крестьянина.

138. Г. Стендаль. Красное и черное. Изд. к-ва К. Ф. Некрасова, Москва. 1915 г.

139. Сборник «Сексуальная педагогика». Москва. 1926.

140. Данилевский. Сожженная Москва. СПБ. Изд. А. Маркса. 1901 год.

141. М. Алданов. Толстой и Роллан. Москва. 1915 г.

142. А. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. Москва, 1922-23 г. 2 т.

143. Сборник воспоминаний о Л. Н. Толстом. СПБ. 1911 г.

144. Фаддей Булгарин. Петр Иванович Выжигин. Роман. СПБ. 1831 год.

145. Барклай де-Толли. Изображение военных действий 1812 года. СПБ. 1912 г.

146. Н. И. Савин. Волнения крепостных в вотчинах Барышниковых Дорогобужского уезда Смоленской губ. гор. Дорогобуж. 1926.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ОТЗЫВОВ СОВРЕМЕННИКОВ ТОЛСТОГО О РОМАНЕ «ВОЙНА И МИР».

Составлен Вл. Трениным.

1865 г.

(Отзывы о романе «1805 г.»).

1. «С. Петербургские Ведомости». № 178.

1866 г.

2. «Книжный Вестник». № 16—17.
3. «Отечественные Записки». №№ 23 и 24. Ст. Н. Страхова «1805 г.»

1867 г.

4. «Всемирный Труд». № 86. Ст. Ахшарумова: «1805 г.»

1868 г.

5. «Военный Сборник». № 8. Ст. Л. Н. «Война и Мир».
6. «Одесский Вестник». №№ 24 (библ. заметки) и 153—155 (фельетон С. И. Сычевского: «Война и Мир».)
7. «С. Петербургские Ведомости». №№ 86, 238 и 325. Фельетон Z (В. Буренин).
8. «Русский Инвалид». № 11. Ст. А. И—на «Война и Мир».
9. «Голос». № 129. Ст. М. Б. (М. Богданович): «Что такое «Война и Мир» гр. Л. Н. Толстого?» и ст. И. Липранди: «Заметки по поводу Бородинского сражения».
10. «Голос». №№ 11, 14, 63, 83, 105. Библиогр. зам. Х. Л.
11. «Сын Отечества». №№ 3, 4, 13. Анонимные рецензии на I—III и IV томы «Войны и Мира».
12. «Отечественные Записки». №№ 2 и 6. Статьи Д. Писарева и Николаевой (Цебриковой).
13.* Искра. № 14 и 18. Фельетон Nota bene, подписанный «Литературное Домино»
14*. «Искра». № 16. Карикатуры и пародийное стихотворение о «Войне и Мире».
15. «Харьковские Ведомости». № 48. Ст. К. «Война и Мир». Т. VI.
16. «Вестник Европы». № 2. Ст. Анненкова: «Исторические и эстетические вопросы».
17. «Дело». № 4. Анонимная рецензия: «Новые книги». № 6. Ст. Навалихина: «Изящный романист и его изящные критики».
18. «Неделя». №№ 22, 23 и 26. Ст. Пятковского: «Историческая эпоха в романе Толстого».
19. «Русский Вестник». № 1. Ст. Щебельского: «Война и Мир».
20. «Русско-славянские отголоски». № 2. Анонимная статья: «Философия наших критиков».
21. «Оружейный Сборник». № 4. Ст. М. Е. Драмогирова: «Война и Мир» гр. Толстого, с военной точки зрения».
22. «Военный Сборник». № 11 и отдел. изд. СПБ. 1868 г. Ст. А. Е. Норова.
23. «Современное Обозрение». № 2. Библиографическая заметка о «Войне и Мире».
24. «Современные Известия». № 10. Библиографическая заметка о «Войне и Мире».

25. «Народная Газета». № 44. Библиографическая заметка о «Войне и Мире».

1869 г.

26. «С. Петербургские Ведомости». №№ 18, 69, 145. Фельетон Z (Буренин).
27. «С. Петербургские Ведомости». № 144. Ст. М. Де-Пуле: «Война из-за «Войны и Мира».
28. «Петербургская Газета». №№ 3 и 77. Ст. П. П. «Последнее слово о «Войне и Мире».
29. «Биржевые Ведомости». №№ 66, 68, 70, 75, 98, 99 и 109. Фельетон «Герои отечественной войны».
30. «Северная Пчела». № 36. 1812 г. в «Войне и Мире». № 12. Ст. Н. С—ва (Н. Страхов) «Война и Мир».
31. «Сын Отечества». № 56. «Новые книги». Ст. А. X.
32. «Заря». № 3. С. Н. Страхова: «Литературная новость».
33. «Оружейный Сборник». № 1. Ст. М. Драгомирова: «Война и Мир» с военной точки зрения».
34. «Голос ». № 63. Фельетон: «Московская Жизнь». № 70. Библиогр. анонимная заметка. № 360. «Война и Мир». Аноним. заметка.
35. «Новороссийский Телеграф». № 263. Ст. Вощинникова. «Война и Мир», том VI.
36. «Всеобщая Газета». № 45. Ст. Книжника «Война и Мир».
37. «Всемирный Труд». № 3. Ст. Н. Ахшарумова: «Война и Мир», соч. Толстого, т. VI.
38. «Русский Инвалид». № 37. Библиограф. заметка «Война и Мир», т. V. № 12—по поводу статьи Вяземского.
39*. «Военный Сборник». Т. 75. Статья Витмера.
40. «Северная Пчела». № 36. (О статье Витмера.)
41. «Отечественные Записки». № 4. (То же.)
42. «Петербургская Газета». №№ 2 и 4. (О Норове.)
43. «Новое Время». № 91 (О статье кн. Вяземского).
44. «Русский Архив». № 1. Воспоминания кн. П. А. Вяземского.
45. «Деятельность». № 9. (О Норове.)
46. «Новое Время». № 91. (О стат. кн. Вяземского).
47*. Библиограф». Критико-библиограф. журнал № 1. Под ред. В. И. Струговщикова. Библиографическая заметка. Стр. 9 — 10.
48. «Всемирная Иллюстрация» № 41. Ст. Данилевского (О книге Норова.)

1870 г.

49*. «Искра» № 3. Полемическая заметка по поводу статьи Н. Страхова в «Заре».
50. «Петербургская Газета». № 2. Статья П. Шестой том романа «Война и Мир».
51. «Сын Отечества». № 3. Статья С.—С.
52. «Русский Инвалид». № 3. Статья «Война и Мир», т. VI. № 57.
53. «Биржевые Ведомости». № 149. Анонимная заметка. Соч. Гр. Толстого «Война и Мир», т. VI».
54. «Новороссийский Телегр.». Статья А. Вощинникова: «Война и Мир», соч. гр. Тослстого, т. VI».
55. «Военный Сборник». № 6. «Военные сцены из романа «Война и Мир» гр. Толстого».

---

* Звездочкой отмечены издания, найденные составителем библиографического указателя и не вошедшие в прежнюю библиографию Толстого (сборники Зелинского и Миронова).

56. «Дело». № 1. Статья Шелгунова: «Философия застоя».
57. «Русский Инвалид». № 3.
58. «Оружейный Сборник». № 1. «Война и Мир» с военной точки зрения».
59. «Заря», № 1. Статья Н. Страхова: «Война иМир», гр. Л. Н. Толстого, том V и VI».

Источники Толстого.

1. А. И. Михайловский-Данилевский. Описание первой войны имп. Александра с Наполеоном в 1805 г. СПБ. 1844 г.
2. Его же. Описание второй войны имп. Александра с Наполеоном в 1806 и 1807 г. СПБ. 1846 г.
3. Его же. Описание Отечественной войны в 1812 г. СПБ. 1835 г.
4. М. Б. Богданович. История отечественной войны 1812 г. СПБ. 1859 — 60 г. 3 тома.
5. Сергей Глинка. Записки о 1812 годе первого ратника московского ополчения. СПБ. 1836 г.
6. Денис Давыдов. Разбор трех статей, помещенных в записках Наполеона.
7. Его же. Материалы для истории современных войн.
8. Его же. Дневник партизанских действий.
9. С. Жихарев. Записки современника с 1805 по 1819 г. Ч. 1-я. «Дневник студента». М. 1859.
10. Р. Зотов. Леонид или некоторые черты из жизни Наполеона. Изд. 2-е СПБ. 1840.
11. Корф. Жизнь графа Сперанского. СПБ. 1861 г.
12. А. П. Ермолов. Записки о войнах 1805, 6 и 1812 г.г. Лондон. 1863 г.
13. Федор Глинка. Очерки Бородинского сражения. 2. ч. М. 1839.
14. И... Р... Походные записки артиллериста, с 1812 по 1816 г. 4 тома. М. 1835.
15. Ф. Корбелецкий. Краткое повествование о вторжении французов в Москву и о пребывании их в оной. СПБ. 1813 г.
16. Исповедь Наполеона Бонапарта аббату Мори и проч. Пер. с французского. Ч. I. П. 1813 г.
17. Бестужев-Рюмин. Краткое описание происшествиям в столице Москве в 1812 г. «Чтения». 1859 г., кн. 2.
18. Его же. О происшествиях, случившихся в Москве во время пребывания в оной неприятеля.
19. А. Шишков. Краткие записки, введенные им во время пребывания его при блаженной памяти Александра I и пр. СПБ. 1832 г.
20. А. Шишков. Перев. с немецк. Краткая и справедливая повесть о пагубных Наполеона Бонапарта помыслах и пр. СПБ. 1814 г.
21. И. Г. Липранди. Пятидесятилетие Бородинской битвы. М. 1867 г.
22. И. П. Скобелев. Подарок товарищам, или переписка русских солдат в 1812 г. СПБ. 1833 г.
23. Перовский. Записки.
24. Thiers. Histoire de l'Empire. Paris.
25. A. Dumas. Napolèon. 1840.
26. Rapp. Memoires.
27. Sègur. Histoire de Napoleon et de la grande armee.
28. De Beausset. Memoire anecdotique sur l'interieur du Palais.
29. Chambray. Histoire de l'expedition en Russie.
30. Foy le, general. Histoire de la guerre de la Péninsule sous Napoleon-Bruzelles. 3 тома.
31. Lanfrey. P, Histoire de Napoleon 1-er. Paris. 1867-70. 4 тома.
32. Marmont, marechal, duc de Ragusse. Memoires de 1792 á 1841 Paris. 1857. 9 томов.
33. Щербинин. Биография ген.-фельд. кн. Воронцова.

34. De las Cases. Memorial de Sainte-Hélène.

35. Napoleon I. Monologues.

36. Избранные черты и анекдоты государя императора Александра I. М. 1826 г.

37. Ковалевский. Граф Блудов и его бремя. СПБ. 1866 г.

38. Краснокутский. Взгляд русского офицера на Париж во время вступления государя императора и союзных войск. СПБ. 1819 г.

39. Лобрейх фон-Плуменек. Влияние истинного свободного каменщичества во всеобщее благо.

40. Картавов. Растопчинские афишки.

41. Письменные наставления Наполеона своему историографу.

42. Михайловский-Данилевский. Примечания о французской армии последних времен, с 1807 г. СПБ. 1808 г.

43. Историческое описание одежды и вооружений русского войска.

44. Erckmann-Chatrian. Le conscrit de 1813.

45. De Meneval. Napoleon et Marie-Louise.

46. А. И. Михайловский-Данилевский. Военная галлерея Зимнего Дворца. Александр I и его сподвижники в 1812 г. 4 тома. СПБ. 1845 г.

47*. М. Загоскин. Рославлев или русские в 1812 г. М. 1831 г.

48*. Иван Жуков. Разбор известий о казни купеческого сына Верещагина. Журн. «Чтения в Импер. О-ве Любителей Истории и Древностей Российских». 1866 г. Кн. 4.

49*. Письма М. А. Волковой к Ланской. (Были известны Л. Н. Толстому в оригинале. Впоследствии напечатаны в журн. «Вестник Европы». кн. 8. Август. 1874 г.).

50. Бонапарт на острове св. Елены.

51. А. И. Михайловский-Данилевский. Описание похода во Францию в 1813—14 г.г.

52. М. Сперанский. Дружеские письма к П. Г. Масальскому.

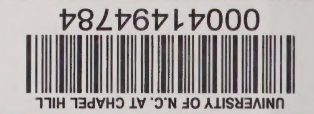
53. Штейгейль. Записки касательно похода СПБ ополчения.

54. L' Empire ou dix ans sous Napolèon.

---

* Звездочкой отмечены найденные нами источники «Войны и Мира».

СОДЕРЖАНИЕ


00041494784
UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL